

# АЛЪМАНАХ БИБЛИОФИЛА

ВЫПУСК  
27





**ВСЕСОЮЗНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«КНИГА»**

**«Альманах библиофила»  
рассказывает  
о книгах и книжниках  
прошлого и современности,  
библиотеках и библиофилах,  
о поисках и находках в книжном мире,  
о делах минувших и современной жизни  
книголюбов  
в разных концах нашей страны  
и в других странах**

# АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА

*ВЫПУСК* **27**

*МОСКВА*  
*«КНИГА» 1990*

ББК 76.106  
А57

Главный редактор  
Е. И. Осетров

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

И. В. Абашидзе, К. С. Айни, О. М. Виноградова,  
Ю. А. Гуллер, В. И. Десятерик, Н. Х. Еселев,  
Е. А. Исаев, А. И. Калашников,  
В. В. Кожин, А. М. Кузнецов, А. Ф. Курилко,  
В. Я. Лазарев, Д. С. Лихачев, Ю. П. Некрошюс,  
Е. Л. Немировский, А. И. Овсянников,  
Л. А. Озеров, П. В. Палиевский, С. Ф. Педенко  
(заместитель главного редактора), В. В. Чикин.

Художники:  
А. Г. Антонов,  
И. И. Антонова

А  $\frac{4503000000-077}{002(01)-90}$  — изд. ВСК

ISBN 5-212-00120-X

© Всесоюзное общество «Книга», 1990

# КНИГА И ЖИЗНЬ

*Валентин Берестов*

*ПОЭЗИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДОБРЫХ ЧУВСТВ*

*Эмиль Карлебах*

*КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ*



## Валентин Берестов

### ПОЭЗИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДОБРЫХ ЧУВСТВ

Беседу вела Клара Хромова

Наш собеседник — поэт и прозаик, автор более пятидесяти книг для взрослых и детей. Его перу принадлежат лирические и сатирические стихи, стихи и сказки для детей, «археологические» повести о раскопках в пустынях и оазисах Средней Азии, исследования о Пушкине (две песни, записанные Пушкиным, по Берестову, не записи, а новые стихи Пушкина), статьи и воспоминания о Чуковском, Маршаке, Алексее Толстом, Вс. Пудовкине, переводы из книг бельгийского поэта М. Карема... Это Валентин Берестов.

— И все же, Валентин Дмитриевич, вы в первую очередь детский поэт?

— Морис Карем, раз уж вы его упомянули, огорчился, когда я назвал его детским поэтом; он, мол, пишет для всех, а то, что многие его стихи нравятся и детям, это для него нечаянная радость. Я его понимаю. Как-то принес я К. И. Чуковскому сборник «Опушка», выпущенный Детгизом для младших школьников. А потом увидел «Опушку» на его столе и под каждым стихотворением отметка по пятибалльной системе. Множество троек и даже двойки! А ведь Корнею Ивановичу, я точно помнил, нравились эти стихи, например, про игуанодона и «птицу птеродактилицу», спевшую «первую песню на свете на безлюдной, на дикой планете». Гостям своим заставлял читать и читаты! За что же тройка? «За то, что стихи не детские», — ответил Чуковский. — «Как не детские? Что делается в четвертых классах, когда я их читаю!» — «А в детском саду?» — «Так это же не для малышей!» — «А я, — сказал Корней Иванович, — считаю детскими только стихи для возраста от двух до пяти».

И это так. Чуковский удивлялся, как это Ершов и Пушкин даже не подозревали, что «Сказка о мертвой царевне» или «Конек-горбунок» больше всего полюбятся четырехлетним. А былины, как он установил, замечательно воспринимаются в 8 лет. По себе знаю, как захватывают мальчишку 6—7 лет «Кубок» и «Роланд-оруженосец» Жуковского:

Прости, отец!

Тебя будить я побоялся

И с великаном сам подрался!

Педагог лесного техникума А. Н. Четвертушкин подsunул мне «Илиаду» и «Одиссею», когда мне было 9 лет. Уверю вас, это наилучший возраст для первого знакомства с Гомером! А «Парус» Лермонтова? Пятиклассники сходят от него с ума. Вот идеальное стихотворение «для младшего и среднего школьного возраста».

А Брюсов? Никогда я так не любил его, как в 13—14 лет. Он же всю школьную программу опозитизировал.

— Значит, по-вашему, детские поэты нужны только малышам?

— Нет. В школе, в ее начальных классах, мне много радости доставляли стихи Маршака, Михалкова, Барто, Квитко, специально для нас написанные, особенно если они близки детской жизни, детскому фольклору. Детским поэтом я был, когда писал стихи для самых маленьких. Кстати, больше всего книжек у нас выпускается (я имею в виду тираж) для тех, кто еще не умеет читать. Есть 4 моих книжки и для младшего школьного возраста и для подростков. Но я совершенно не имел их в виду, когда писал свои стихи. Их составляли талантливые редакторы из некоторых моих «взрослых» стихов и кое-каких «дошкольных». Даже «Школьная лирика» составлена редактором Е. М. Подкопаевой. Однажды она потребовала у меня стихи про любовь. Я удивился, Детгиз и вдруг любовь. «Ваша любовь прекрасно укладывается в рамки Детгиза», — сказала Подкопаева. Я даже обиделся...

*Вам часто приходится выступать в детских аудиториях. Что интересует, занимает, волнует юных любителей поэзии? Какие вопросы они задают?*

— Все зависит от их возраста.

Спросишь малышей: «Вопросы есть?»,

И рученок поднятых не счесть.

Спросишь старшеклассников, — таятся.

Глупыми боятся показаться?

Но вопросов глупых нет.

Глупым может быть ответ.

В селах и малых городах, где только одна или две школы, я выступаю трижды: перед малышами, перед подростками и перед старшеклассниками. И в каждой из этих трех аудиторий совершенно разные стихи. С малышами надо играть, вызывая их активность. Подростки перестают шуметь и даже шевелиться, когда читаешь стихи «проблемные»: о жизни и смерти, о войне и мире, о смысле жизни, об их собственном воспитании. Старшим интересны стихи юмористические и любовная лирика.

— *Любители поэзии были во все времена. Скажите, изменилось ли отношение к поэзии у нынешних детей и подростков по сравнению с поколением ваших сверстников?*

— Когда выступаешь, этого не чувствуешь. Контакт как-то находишь. Раз привозят меня к старшеклассникам. Учительница звучным, казенным голосом возвещает: «Ребята! Перед вами поэт, наш современник...» Все тут же отключились, впали в кратковременный анабиоз, чтобы как-то пережить мое выступление, от которого не ждали ничего, кроме рифмованной скуки. Пришлось, хотя это и непедагогично, за спиной у учительницы покрутить пальцем у виска. Контакт был восстановлен.



Но есть и первоклассники, которые говорят о стихах с тем же выражением, что о лекарствах. Увы, поэзия часто бывает всего лишь мероприятием, которое взрослые проводят среди детей. И потом полное пренебрежение к особенностям возраста да и пола. Обращаются к некоему среднестатистическому ребенку. Как-то мне предложили написать предисловие к «детскому» Жуковскому. Спросил, входят ли в книжку «Кубок» и «Роланд-оруженосец». Ни одной баллады, ничего сюжетного, стихотворные пейзажи да «котик помадит свой ротик...». Поди объясни нынешним детям, что такое «помадит». Какое неуважение к могучей фантазии детей, к их богатству!

И при этом в библиотеках, в издательствах, в школах полная зарегулированность, «железная» разбивка по возрастам, как будто детские души делаются на конвейере, ни опережения в развитии, ни отставания, ни личных склонностей, ни талантов, иной раз огромных, как это мы видим иногда на примерах юных музыкантов или математиков, даже не предполагается.

Моей «Читалочкой» заканчивается «Азбука»:

Как хорошо уметь читать!  
 Не надо к маме приставать.  
 Не надо бабушку трясти:  
 «Прочти, пожалуйста! Прочти!»  
 Не надо умолять сестрицу:  
 «Ну, почитай еще страницу!»  
 Не надо звать!  
 Не надо ждать!  
 А можно взять и почитать!

Каков же был мой ужас, когда вместо «бабушку трясти» я прочел «бабушку просить», исчезли и рифма, и характер ребенка. Я же оказался жалким графоманом, рифмующим «просить» и «прочти». Оказывается, и с помощью моих стихов можно воспитывать отвращение к поэзии.

А недели детской книги! Созовут писателей со всей страны и устами детей прочтут им доморощенные риторические стихи, воспевающие «книжкины именины». И все покорно сидят, слушают, томятся.

— *Когда вы почувствовали себя поэтом?*

— Всякий малыш от двух до пяти — поэт, как доказал Чуковский. Как всякий ребенок от шести до десяти — художник. У некоторых это не проходит. В 8 лет, в первом классе, переиначил популярную дразнилку, направленную против всех на свете Борисов:

Иди прямо, прямо, прямо.  
 Там помойная яма.  
 В ней сидит Борис —  
 Председатель дохлых крыс.

А я направил ее жало против конкретного Борьки Кожухова («Там сидит Борис Кожух, председатель дохлых мух»), озорника и задиры. Борька был прямо-таки уничтожен. А я, ощутив власть рифмованного слова, сочинил дразнилки на весь класс. Это была сатира, но глубоко порочная, я бичевал то, чего не исправишь: короткие или длинные носы, веснушки, цвет волос, высокий или низенький рост. За что и бывал бит ученическими портфелями. Тогда я перешел на пейзажную и гражданскую лирику. И за нее меня били, полагая, что это плагиат: списал, дескать, из газет. Но потом я сочинил антиклерикальную и антифеодальную песенку на мотив песенки о Робине Гуде из детской передачи, заработал славу и прозвище Поэт, из-за которого уже сам лез в драку:

«Поэт! Поэт!» — кричали вслед.

Поэту было мало лет.

Он не мечтал о славе.

Мечтал он о расправе

Со всеми, кто поэту вслед

Кричал: «Поэт! Поэт! Поэт!»

— *Как отнеслись к вашему стихотворству родители?*

— Они не сразу узнали. Когда мама видела, что меня бьют, она тигрицей бросалась на помощь: «За что они тебя?» — «Так», — пожимал я плечами. А потом пришел конверт из «Пионерской правды», я туда стихи посылал. Ответили, что стихи гладкие, но холодные и чтоб я писал про то, что лучше знаю. Да и стихи мои валялись тут и там. Но родители не говорили мне о них ни слова, не просили читать гостям, не хвастались мной, никому не показывали и в редакции не посылали, как это делается теперь. Другое дело, будь у меня музыкальные способности.

— *В какой семье вы росли?*

— Отец — учитель истории, мать вела хозяйство, на работу пошла в военные годы. Оба из деревень рядом с Мещовском Калужской области. Они очень любили друг друга, у меня было счастливое детство. У отца был абсолютный слух и лирический тенор, он пел в клубе, а мама играла в драмкружке и участвовала в спортивных состязаниях. Отец пел в клубе по вечерам, а я те же песни пел на детских утренниках, и не было никакой силы, которая могла бы остановить меня и не пустить на сцену.

— *Отец был непререкаемым авторитетом? Он направлял ваши читательские вкусы?*

— Он научил меня читать в 4 года. Он дарил мне книги и всегда очень точно. В 5 лет — сказки Пушкина с рисунками Билибина, в 6 — Сеттона-Томпсона, в 7 — «Геккельбери Финна», в 12 — «Оливера Твиста». И еще Маяковского, рассказав при этом, как сам побывал на вечере Маяковского в Политехническом. Он часто читал вслух, но не нам, детям, а маме. Услышав что-нибудь интересное для себя, я подсаживался. Это были стихи Некрасова,

Никитина, главы из Макаренко, «Неодетая весна» Пришвина и многое другое. О том, что он направляет мое чтение, я узнал, так сказать, от обратного. Нет-нет да и найду высоко на шкафу то «Милого друга» Мопассана, то еще какие-нибудь книги про любовь, казавшиеся мне невыносимо скучными. Только в одном немецком романе мне удалось найти заинтересовавшую меня фразу, с помощью которой я иногда карал своих обидчиков: «Бедный мальчик, бедная крошка, у него, вероятно, глисты». Мама же вырывала у меня всякую книжку, боясь, что испорчу глаза. «Мам, ну можно еще немножко почитаю?» — «Почитай отца и мать свою!» — был неизменный ответ. Глаза я все-таки испортил.

Отец приучил меня пользоваться библиотеками, работать в читальнях. Меня и внутрь пускали, сам рылся на полках.

— *Валентин Дмитриевич, когда вы впервые приобщились к книге?*

— По мнению мамы, года в два, когда растерзал прекрасное дореволюционное издание Сельмы Лагерлёф. Как-то меня отдали в детсад. Не понравилось. Решил сбежать. Гляжу, на шкафу подшивка «Мурзилки». Сказался больным. Влез на стол. Достал тяжеленную подшивку. Первое, что прочел — «Принцесса на горошине» Андерсена. Тогда в детских журналах щедро печатали нашу и мировую классику. Жили на отцовскую зарплату, очень экономно. Книги покупали редко. Привык читать прямо в книжном магазине:

Кто-то молча из рук моих книгу возьмет  
И посмотрит, какая цена,  
И любимую сказку мою унесет.  
Пусть уносит. Она прочтена!

**Бегал в библиотеки, в читальни:**

Крыльцо библиотеки. Чаше всех  
В читальню я еще до школы хаживал.  
Меня, чтоб старшим не мешал мой смех,  
Библиотекарь на крыльце усаживал.

Приходя в гости, рылся в книгах. Эта привычка сохранилась до сих пор. Чужие книжные собрания люблю больше, чем собственное. Знаете, как те дети, что с аппетитом едят в гостях, а дома не очень. В десятом классе увлекся девушкой-москвичкой. У ее отца, биолога, библиотека, а в ней не поощряемый тогда Достоевский. Я про девушку забыл, приду и — к полкам.

— *Кого считали любимым писателем в детстве?*

— Чехова. «Каштанка», «Белолобый» и другие вещи выходили отдельными книжечками в любимейшей моей серии «Книга — за книгой». Юмористические рассказы — по радио! Детиздатовский оранжевый томик с прекрасно написанной его биографией. И наконец, рассказы Чехова в чтении отца. Отец его очень любил и, думаю даже, как учитель и как человек продолжал

какое-то чеховское дело. Любил книги о детстве, начиная с «Детства Никиты» А. Н. Толстого. Мне было 6 лет. Отец принес книгу. Я прочел ее, вышел на улицу, полный счастья, а там была капель, и текли ручьи, и кричали птицы, и все это как-то по-новому.

— *А в отрочестве?*

— В отрочестве я писал стихи. Оно совпало с войной. Пушкин, да еще в анненковском издании с примечаниями первого нашего пушкиниста. Лермонтов, Байрон, Жуковский, Баратынский (во время войны даже писал реферат «Пушкин о Баратынском»), Гюго. «Казачья» Льва Толстого, читал и все видел перед глазами, даже тряс головой, чтобы стряхнуть наваждение и включиться в окружающий мир. В 15 лет мы с Эдуардом Бабаевым записались в лучшие библиотеки Ташкента — публичную имени Навои и университетскую «фундаменталку» — и давай переписывать в тетрадки поэтов XX века: и Хлебникова, и Гумилева, и Сологуба, и Сашу Черного, и Анненского, и Мандельштама, и Кузмина, и Клюева. Есенин тогда не издавался и замалчивался, но во многих домах он был, да и легко запоминался наизусть. Малоизвестных поэтов прошлого и позапрошлого веков тоже переписывали. На это меня вдохновила детиздатовская «Лирика» (от Мерзлякова до Пастернака), составленная Чуковским как раз для отроков и отроковиц 15 лет.

— *А в зрелые годы? Ведь с возрастом вкусы меняются. Не так ли?*

— Меняются и в зрелом возрасте из года в год. Очень увлекался то тем, то другим современным писателем, нашим или зарубежным. Увлечение Сент-Экзюпери даже от стихов меня оттянуло чуть ли не на десяток лет, ездил в пустыни, чтобы постоянно ощущать «землю людей», писал свои «археологические» повести, скрывал подражание любимому писателю юмором, которого у того не так много. И все же В. Турбин заметил, кому я так упорно подражаю. Потом это прошло. Вместе с моей покойной женой Татьяной Ивановной Александровой очень увлекались Джеральдом Дарреллом, веселым, любящим все живое. Но теперь грустно его перечитывать, все напоминает об утрате.

Татьяна Ивановна была «взрослой» художницей и детской писательницей-сказочницей. Только что вышел ее «Кузька», это домовенок семи веков от роду (у них считают веками, как у нас годами). Она жить не могла без фольклора. Вот и я к нему пристрастился. Сейчас мои настольные книги: русские народные песни в собрании Соболевского и «Частушки в записях советского времени», изданные Пушкинским домом. Великолепное противоядие против книжности и того, что я называю «лирическим бюрократизмом» с его велеречивыми оборотами, самовосхвалением и бесконечными отглагольными «аниями» и «ениями».

— *Валентин Дмитриевич, многие ваши сборники адресованы*

*сразу и детям и взрослым. Они, как пишут в аннотациях, о человеческой доброте, о встреченных поэтом людях, о постижении тайн природы. Читатель не может не заметить, что многие ваши стихотворения навеяны памятью детства — предвоенных и военных лет. Расскажите-ка подробнее об этой поре жизни.*

— Детство я пережил трижды. Второй раз, когда тосковал о нем в годы войны, вспомнишь отца — и сразу вспоминается все остальное. Тогда же по совету Чуковского стал писать стихи о детстве. А в третий раз — начиная с одного октябрьского утра 1967 года. Вспомнилось все сразу, быстро записывал в тетрадь сюжет за сюжетом, иногда прямо стихами. Вот стихи, которые сочинялись ровно столько же мгновений, сколько потребовалось на то, чтобы их записать:

Любили тебя без особых причин  
 За то, что ты — внук, за то, что ты — сын,  
 За то, что малыш, за то, что растешь,  
 За то, что на маму и папу похож.  
 И эта любовь до конца твоих дней  
 Останется тайной опорой твоей.

Дочь моя смеялась, перефразировав слова популярной песенки: «Дайте до детства сезонный билет». Двадцать лет писал о детстве (тут мне задали тон мои наброски 1943 года). Застой? Может быть. Но и сопротивление ему. Сразу две драматичные эпохи: детство и тридцатые годы. И потом меня испугало то, что поэзия начала уходить из отношений между взрослыми и детьми. Вот и держал свой фронт, напоминал и тем и другим, как все это бывает и должно быть. Детство мое было счастливым, а опыт счастья, если верить Пушкину, важнее даже, чем опыт несчастья!

Важен опыт невеселый,  
 Но, быть может, прав поэт:  
 Горе — жизненная школа,  
 Счастье — университет.

Видите, я отвечаю вам в обобщенной форме. Подробности — в стихах. А еще одним счастьем моего детства были книги и журналы для детей. Детская литература, которая как раз тогда и создавалась, была поддержана изданиями классики. Так, например, в «Пионере» из номера в номер печатался «Витязь в тигровой шкуре» Руставели (перевод Цагарели). Наверное, и вы помните строки оттуда, они мгновенно и навек входили в сознание: «Что отдашь — твое, что скроешь, то потеряно навек», или «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», или «Дружба бескорыстней, чем любовь»... Даже предисловия и комментарии писались тогда с учетом психики детей и подростков, возникало целое литературоведение для подростков.

Кстати, Чуковского, Маршак, Алексея Толстого при встрече со мной, возможно, заинтересовало и то, что они как бы видели

перед собой один из первых результатов социально-эстетического эксперимента, поставленного ими с легкой руки Горького. Человек вырос на той духовной пище, которая тогда создавалась, чтобы мы, говоря словами Чуковского, росли богатырями!

— С Корнеем Ивановичем вы встретились во время войны в Ташкенте. Какую роль сыграл этот человек в вашей жизни?

— Решающую. Прежде всего, он эту жизнь спас. Не будь его, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Я был в 1942 году доходягой — дистрофиком, падал в голодный обморок. Иду в читальню Дворца пионеров, а кажется, что плыву, растворяясь в зное. А на деле едва плелся. Но если б не дошел до читальни, то умер бы. Я ведь нарочно хлебную карточку «прикрепил» в магазине на подходе к читальне:

С голодухи не хватало сил.

И чтоб крепнул дух в дороге дальней,

Карточку на хлеб я прикрепил

В магазине рядом с той читальней.

Чуковскому понравилось, что в своих стихах я подражаю не одному, а многим авторам. Такое подражание, как однажды он написал Горькому, он считал плодотворнейшим способом литературной учебы.

А еще он обратил внимание на то, как я выгляжу, рассказал обо мне Алексею Толстому, и они вместе пошли к Усману Юсупову, руководителю Узбекистана. Юсупов как раз в это время познакомился с выставкой детского рисунка, устроенной московской художницей Е. М. Фрадкиной. Эвакуированные дети нарисовали бомбежки, воздушные бои, степные разъезды по пути в Ташкент, а узбекские дети — глубокий тыл. Помню, как один мальчик ярчайшими красками изобразил площадь, куда все несут металлолом, а парикмахер в белом халате мчится с гигантскими ножницами к плакату «Металл — фронту!». Выставку показали в Англии, в США, есть каталог с указанием «Нью-Йорк — Оксфорд». А потом выставка, как я слышал, погибла по пути в СССР, немцы торпедировали корабль. Совнарком Узбекистана принял участие в судьбе 20 маленьких художников, а Чуковский с Толстым добавили к ним меня. «Это — зерно!» — сказал Усман Юсупов Чуковскому и, рисуя в воздухе человечка, начиная с ног, добавил: «Обуть его! Одеть его! Накормить его! Лечить его!» Так и было сделано.

В 1943 году я удостоился чести вписать свои строки в «Чукоккалу», «Автору и Деду моему» — написал я. Странно, но почти у всех моих ровесников бабушки были, а дедушка был только у одного. И не то чтобы погибли в мировой или гражданской войне, просто умерли до нашего рождения. Вот Корней Иванович и был для меня, сам того не подозревая, дедом, мудрым, всезнающим и строгим. Придешь к нему, даже в 15 лет, просто

так, без новых стихов и мыслей, а он: «Гляньте. У Вали улыбка, как у японского дипломата, повернулся и пропала». А когда лет в 35 я приехал к нему просто так, пустой, он взял меня на прогулку и провозгласил: «По берестовским местам Подмосковья!» И повел меня со своими гостями как экскурсовод по местам, где мы с ним когда-то читали друг другу любимые стихи. Крепко он меня пристыдил! Русской поэзией он дышал, как воздухом. Каждая третья фраза была цитатой из любимых стихов. То и дело читал вслух даже целые поэмы, например «Сон Попова» А. К. Толстого или «Студент» Фета. Так и слышу его голос: «Гляжу на вас я, умница моя»...

Как-то я посоветовался с ним, издавать ли мне свой сборник или подождать. Он созвал студентов-химиков, однокурсников своей внучки, они и решили судьбу книжки. А как он разговаривал с детьми, особенно с малышами! Жить без них не мог. Я, увы, не всегда его слушался. Очень жаль!

— *Как отнеслась к начинающему поэту Анна Андреевна Ахматова?*

— Как к мальчишке, из которого неизвестно что получится. Пусть хоть вырастет образованным человеком. Я тогда учил английский в кружке. «Английскую грамматику читали?» — «Анна Андреевна, это же учебник!» — «Бог мой, какое школярство! Учебник — такая же книжка, как «Три мушкетера», только скучнее, прочтите ее залпом». Как это помогло мне и в школе и в МГУ, сколько сберегло времени! А про стихи при первом знакомстве сказала загадочно: «Вы знаете, что я вам хочу сказать». Вот я и гадал, что ей не понравилось, а это уже была самокритика. Никакой трагедии, по ее мнению, быть не должно, если поэт из меня не выйдет. Можно стать критиком или прозаиком: «Вчера стала делать прозу — блаженное занятие. А Гумилеву так нравилось писать короткие статьи о русской поэзии».

Как-то она читала мне и Бабаеву «Оду к соловью» Джона Китса. На каждой английской строчке голос ее как бы разбежался и в конце взлетал. Она сказала, что у нас в поэзии такой интонации давно не было. «Ну, думаю, разобьюсь, а научусь передавать эту взлетающую интонацию по-русски». Переводы не удались, но в стихах о весеннем Ташкенте нечто похожее прибилось:

Какой-нибудь прутик, корзиночно-голый,  
Торчит, чуть заметный, а тоже в цвету.

— Да, это Ташкент, каким я вижу его сейчас. Я ведь тоже живой человек, — сказала Ахматова. — Это уже стихи. Теперь все зависит от судьбы.

А через много лет при встречах она заметила, что я мимоходом сочиняю и тут же забываю смешные двустишия:

Соразмеряйте цель и средства,  
Чтоб не дойти до людоедства!

Или про педагогику:

Что делать, чтоб младенец розовый  
Не стал дубиной стоеросовой?

Ахматова сказала, чтобы я как можно серьезнее относился к таким легким ироническим стихам, это мало кто умеет. Юрий Белаш считает, что я напрасно не послушался Ахматовой и не бросил все, чтобы писать одни иронические стихи. Но ведь это скучно — быть обязанным все время писать смешное.

— Эпиграфом к вашему творчеству я бы поставила слова А. Н. Толстого: «Поэзия начинается не с рифм, не с образов, а с добрых чувств». Вы ведь испытали на себе влияние этого маститого писателя? Как вы познакомились с Алексеем Толстым?

— Не хочется пересказывать уже опубликованные воспоминания. В 1944 году, в доме у Пешковых. Прямо в дверях сказал мне единственную назидательную сентенцию, но при этом весело подмигнул: «Много знать! Много читать! Много видеть!» Я, конечно, ее запомнил на всю жизнь. А ведь это как бы математическая формула. Много знать, много читать, мало видеть — выйдет литературщина. Много знать, много видеть и мало читать — и ты обречен на одиночество и невольное повторение того, что другие уже сказали до тебя. Много читать, много видеть, но мало знать, — значит, не то читаешь и не туда смотришь.

— Какое впечатление на юного поэта произвел автор «Петра Первого»?

— Ошеломляющее. Труженик, не пропускающий ни дня для сосредоточенной работы, но это в кабинете или на одиноких прогулках. А на людях — озорник, балагур. Пока он работал, я рылся в его библиотеке. Жирные подчеркивания в сборниках фольклора или исторических документов. Я глядел на них как зачарованный. Волшебные слова народной речи! Он и сам говорил такими волшебными словами и всегда вслушивался, искал их. И меня выспрашивал. Стал записывать вагонные разговоры, частушки. Вот первая, привезенная Толстому:

Подойду я к синю морю  
И галошей постучу.  
Разреши мне, сине море,  
Утопиться я хочу.

А там пошло-поехало. Поразительные частушки были о войне:

На Смоленском направлении  
Залетка умирал.  
Глаза черные, красивые  
Навеки закрывал.

Нельзя жить без великих произведений, каких раньше не было, какие только при тебе создаются. Это я отношу и к иным частушкам.



— Вам приходилось наблюдать А. Н. Толстого даже в процессе работы над словом. Как ему работалось?

— Ходил по саду и сочинял в уме. Да еще и любимые цветы успевал полить. А потом — стук машинки: Лучшая бумага шла на черновики. Третью часть «Петра» писал легко, сама писалась, а над статьями, особенно о литературе, мучался. Я его понимаю.

— Известны слова А. Н. Толстого о вас: «Этот цыпленок очень талантлив». Не в те ли годы окрепло у вас желание стать литератором?

— Это он обо мне сказал Михалкову. Литератором я хотел стать в 13 лет, а тогда, в 16, зарождалось желание стать кем-то еще. «Тебе нужно пожить растительной жизнью, — ворчал Толстой. — Иначе у тебя зайдет ум за разум». Он просто потребовал, чтоб я не смел поступать ни в Литинститут, ни на филфак. В конце концов, я выбрал археологию.

— Кого вы считаете своими учителями в литературе?

— Если назвать только одно имя, то это, конечно, Чуковский. А если несколько, то о них, включая моего отца, я уже вам говорил. Лишь про Маршака и Пудовкина не сказал. А еще про мою дочь Марину. Лучшие стихи для малышей сочинил прямо для нее, во время игры. А потом она лет в 6 сама научилась читать и говорит: «Как хорошо уметь читать!» Я счел это первой строкой стихотворения, и вышла моя «Читалочка», последнее стихотворение для дошкольников. А дальше уже влияние моей жены Татьяны Александровны. Как-то входит ко мне: «Что поешь?» — «Про любовь к тебе» — «Если ты и вправду меня любишь, — и протягивает рисунок, — то напиши для меня про эту козу». Это она в борьбе против вещизма придумала сначала библиотечку для кукол, а то у них нет самого главного — книг, а потом — и серию игрушечных учебников. Козу она поместила в учебник зоологии.

А потом усадила меня за стихи к ее повести-сказке «Катя в игрушечном городе». Дети очень полюбили книгу, а некоторые взрослые испугались наших шуток. Участие в создании этой книги — самое главное, что я сделал в детской литературе. Татьяна Ивановна то и дело заказывала мне стихи для детей. Однажды, развлекая больную девочку, что-то ей нарисовала, показывает мне: «Подпиши стихами». И я радостно пишу:

Открывай, Лиса, калитку,

Получай, Лиса, открытку... и т. д.

Она не только мне дарила сюжеты. По ее картинкам писали и Борис Заходер и Роман Сеф. Эдуард Успенский решил испытать ее сюжетный дар, прочел ей начало сказки и попросил совета, как ее продолжить. (На самом деле он давно ее кончил.) Ну, Татьяна Ивановна предложила сразу три варианта развития сюжета, один другого лучше, и лучше того, что нашел сам автор. У меня нет та-

кого сюжетного дара, в детских стихах я в основном лирик, а этого для детей мало. Да и для прозы нужен вымысел, а я почти всегда держусь документальной основы. Зато в лирике я еще, кажется, не достиг своего «потолка». Мне и тут помогла Александрова. Както прочел ей новые стихи. Она в ужасе, смотрит на меня с отчаянием: «Зачем ты это написал?» Объясняю, что хотел сказать то-то и то-то. «Ты бы это и сказал!» — обрадовалась Татьяна Ивановна. С тех пор нет у меня подтекста. Все главное идет напрямик в текст.

Ну, а подтекст в отличие от подвоха  
Стихам дает не автор, а эпоха.

— *Вернемся к вашей юности. Многие люди принимали участие в вашей судьбе. Вспомните, пожалуйста, о встречах с ними в доме А. М. Горького. Впечатления о встречах с ними.*

— Об этом можно написать целую книгу. Но я долго скрывал эту страницу в моей биографии. Такую биографию надо еще заслужить, вернее, оправдать тем, что сделал и еще сделаю. Пока что я столь роскошной биографии не очень заслуживаю.

Дом Горького... Там я жил первый месяц после приезда из Ташкента. Чуковский позвонил Екатерине Павловне Пешковой (они вместе работали в Ташкенте в комиссии помощи эвакуированным детям): «Вы — ташкентская богородица!» Николай Тихонов (меня привел к нему Эренбург) позвонил Надежде Алексеевне Пешковой. Ах, как было интересно с Тихоновым в его номере гостиницы «Москва»! Он мне, шестнадцатилетнему, читал те стихи, какие сам писал в 16 лет. А потом изображал пляску айстов на мечетях Бухары. Я пришел к назначенному часу. Звучи падеграса. Внучки Горького Марфа и Дарья вместе с сыновьями Всеволода Иванова Мишей (он теперь известный художник) и Комой (ныне знаменитый языковед Вячеслав Всеволодович, мы с ним тогда очень подружились) учатся бальным танцам. Меня встречают Надежда Алексеевна и кумир моего детства полярный летчик Б. Г. Чухновский. Оказывается, Ахматова написала ему письмо про меня, и он тоже обратился к Надежде Алексеевне. Где теперь это письмо? А потом Надежда Алексеевна вместе с Тамарой Владимировной Ивановой отвезли меня в школу-интернат памяти Ленина в Горках Ленинских. Там я пахал, и боронил, и косил. А у Пешковых ночевал, когда приезжал в литобъединение «Молодая гвардия» к Дмитрию Кедрину. И всегда в доме Пешковых читал стихи многочисленным и таким замечательным гостям. Там и День Победы встретил. Однажды мне очень досталось от академика А. Д. Сперанского: «Тебя выпьют с чаем. Ты выродишься. Будешь читать бабам томные стишки. Современный поэт должен профессионально знать науку. Лучше всего — биологию». Я послушался, но выбрал археологию.

Больше всех в доме Пешковых я подружился с Риной Зеленой и ее мужем архитектором К. Т. Топуридзе. С раскопок со всеми новостями бежал прямо к ним. Выбиваю на их балконе азиатскую пыль из своего ватника, дверь открыта, и я рассказываю про находки и приключения в пустыне.

— *В детские годы вы вели дневники. Какова их судьба?*

— Это вы из моих стихов узнали?

О, тетрадка в линейку в обложке лиловой,

Собеседник, всегда меня слушать готовый.

Ставлю дату и душу открою тайком.

Первым в жизни была ты моим дневником...

Тот довоенный дневник пропал. Последним, перед боем, его успел прочесть заглянувший в опустевший дом отец. И несколько виновато написал мне об этом с фронта. А ведь дневник валялся где попало. Но отец деликатно не заглядывал в него. Сохранились страницы из дневников военных лет. А потом это был скорее развернутый черновик для будущих или несостоявшихся стихов. Теперь я часто им пользуюсь. Он возвращает мне ощущение молодости.

— *Итак, вы стали детским поэтом, но не ограничились рамками одного жанра. Вас интересуют лирика, очерк, фантастика, повесть, сказка, даже детская считалка. Не отвлекает ли это?..*

— От чего? От детской литературы? И опять я детский! «Его запикивают в колыбельку!» — как говорит один поэт. А все же приятно, что вы называете меня детским. Не каждому из нас, не детских поэтов, дается этот жанр. Но некоторым дается, например Григору Виеру. Этот великолепный молдавский лирик стал первоклассным детским поэтом и даже букварь написал целиком стихами; скажем, знает ученик только девять букв, так Виеру, пользуясь словами из одних этих букв, такие прекрасные стихи пишет, будто других букв и не надо. Кстати, я перевел его «Веселую азбуку». Тут мне помогла частушка. Вот, например, буква «Г»:

Гусь купил себе гармошку,

Но дырявую немножко.

Хорошо гармошка пела,

По-гусиному шипела.

А вот «Е» и «Ё»:

Ёжик в бане вымыл уши,

Шею, кожу на брюшке.

И сказал Еноту Ёж:

«Ты мне спину не потрёшь?»

Нет, все жанры — это литература. Отвлекает только бюрократическая суетня. Кстати, детские стихи удаются еще и Новелле Матвеевой, и Александру Кушнеру, и Юнне Мориц, и Ивану Киуру, и Олегу Дмитриеву... Даже у Андрея Вознесенского есть книжка для малышей.

— *«Дети хотят знать все», — говорил Маршак. Он-то, наверное, знал про детей все. Не случайно дети его любили, а современники считают интересным, увлеченным и умным собеседником. Это вы, Валентин Дмитриевич, испытали на себе?*

— Еще бы! Я написал воспоминания о нем. Там столько его мыслей. Так вот они все могли быть высказаны в одной беседе. Да еще при этом читались Некрасов, Хлебников, Анненский, Твардовский. А заодно новые стихи и переводы самого Маршака. И при этом он поразительно рассказывал, скажем, биографию Блейка. А иногда пел и шотландские и русские народные песни. В статьях Маршак-собеседник не слишком выразился, он там строг и последователен. Зато «Лирические эпиграммы», написанные в конце жизни, это и есть Маршак-собеседник, возвышенный и остроумный. А что касается детей, то он везде ими обрастал. Есть любительские кинокадры, снятые его сыном. Маршак приехал навестить кого-то в больницу, сидит во дворе, ждет, когда начнут пускать. И вот уже вокруг него толпа детей, откуда только взялись. Или в Лондоне выходит из гостиницы погулять, а через несколько шагов он уже не один, рядом с ним английский мальчик и девочка, почувствовали своего...

— *Какая, на ваш взгляд, наиболее важная черта присуща автору, который пишет для детей?*

— Талант. Без него остальные качества ничего не значат. «Вот негодяй! Вот мерзавка!» — говорил Маршак про тех, кто пишет для детей плохо. Он считал это безнравственным поступком. И конечно, не только любовь, но и уважение к детям. Огромное уважение!

— *Вы воспринимаете детей всерьез?*

— У меня есть стихи про мою деревенскую бабушку:

Приказала отцу моему,  
Как ребенку:  
«Ты уж, деточка, сам  
Распряги лошаденку».  
И с почтеньем спросила,  
Склонясь надо мной:  
«Не желаешь ли сказочку,  
Батюшка мой?»

Вот уважение простых людей к малым детям! Впрочем, таких ли уж простых? Бабушка Катя была артистичной во всем, сказочница, рукодельница...

Детей надо уважать. Они это ценят. Нужно уметь слушать, что они говорят. Забыв о себе. И видеть то, что они делают. Вот, например, первобытные охотники приносили детям для забавы детенышей убитых ими зверей. И вдруг заметили, что животные, которые становятся взрослыми гораздо раньше, чем дети, продолжа-

ют детишек слушаться, что дети их уже приручили, одомашнили. Так возникло скотоводство, животноводство.

Сколько веков должно было пройти, чтобы взрослые обнаружили, наконец, что дети — гениальные художники, начали изучать их рисунки, восхищаться ими. А то, что все малыши от двух до пяти — неутомимые исследователи языка и пламенные любители поэзии, обнаружил уже в нашем веке Корней Чуковский. И научил взрослых вслушиваться в речения малышей, записывать их. Но я думаю, это далеко не все. Будем вслушиваться, всматриваться в детей разных возрастов, в их дела. И тогда мы еще не то откроем!

Вообще, наверное, мы не знаем о человеке каких-то самых главных вещей. Помните миф? Сфинкс загадывал всем прохожим одну и ту же загадку про того, кто утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах. Никто не угадал, что это он сам, человек во всех его возрастах, малыш на четвереньках, старик с палкой. И всех сфинкс карал смертью, сбрасывал в пропасть. Только Эдип угадал, и сфинкс погиб. Татьяна Ивановна считала, что и нас всех природа сбрасывает в конце концов в пропасть за то, что не ищем ответа в самих себе, а найдем — и чуть ли не бессмертье обретем. Поэзия — особый способ познания человека.

— *Иногда приходится слышать такую фразу: «Этого выдумать невозможно». Фантазия и реальность. Как они уживаются в ваших произведениях?*

— Фантастического элемента у меня меньше, чем хотелось бы. Но можно сделаться фантастом, оставаясь сугубым реалистом. Особенно с малышами. У них все — сказка. «Бабушка, почему опять говорят: «Передаем последние известия»? Ведь вчера сказали, что известия — последние». Вдумывается в смысл слова, осваивается с ним и при этом представляет себе фантастическую ситуацию: известия передают в последний раз, больше никаких известий не будет! Сюжет для фантастического рассказа, такая антиутопия. А как-то я изобразил свою Хорезмскую экспедицию в виде античных богов, которые на самом-то деле инопланетяне, прилетевшие изучать Землю. Вышло довольно забавно: «Аполлон! Куда смотришь? Девять лаборанток, и никакого порядка». Это я про девять муз. Словом, фантастом я иногда становлюсь именно потому, что я — реалист. А если зарифмовать сон? Все мы фантасты, раз видим сны.

— *Валентин Дмитриевич, с удовольствием вспоминаю, как с вами присутствовала на конкурсе мультфильмов. Их было так много — веселых и грустных, поучительных, нравоучительных, назидательных, всегда почти смешных. Вы даже не выдержали и с присутствующим вам юмором проворчали: «Вот такое обжорство получилось». В связи с этим возник у меня вопрос: помогают ли мультфильмы литературе?*

— Тогда выиграл «Дом для Кузьки», мультфильм, поставленный Аидой Зябликовской по сказке Татьяны Александровой. Он очень помог книге. Татьяна Ивановна не дожила даже до включения этой сказки про домовенка в план. А тут мультфильм. Издатели увидели, что никого за это не снимают с должности, наоборот, хвалят, и решились наконец выпустить книжку про нашего российского домовенка. Мультфильм помог литературе!

А если серьезно, то вы задали хороший вопрос. Тынянов пришел у Чуковского поэтику мультфильма. Тот мыслил кадрами, и персонажи перетекали из сказки в сказку. Мультфильмы дают писателю возможность мыслить динамично, стремительно переходить от события к событию, как этого требует психика малыша, изобретать обаятельных персонажей. Но, увы, это редко получается не только у нас, но порой даже и у самих мультипликаторов.

— *Как нужно писать для маленьких?*

— Если речь идет о стихах, то нужно принять 12 заповедей для детских поэтов в книге Чуковского «От двух до пяти» сразу и как техническую инструкцию и как символ веры. И добавить к этому последнюю заповедь, какую Чуковский вывел для себя уже в последние месяцы жизни, работая над «Признаниями старого сказочника»: «Пишущий для маленьких детей непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит». Поэзия для самых маленьких — пока единственная отрасль литературы, опирающаяся на четкие и точные научные основы. Не знать их, не считаться с ними — это разгильдяйство, приводящее к мелкотемью, скуке и халтуре.

В учебнике «Детская литература» для институтов культуры я попробовал на примере «простенькой» загадки показать, как сам Чуковский следует этим заповедям, и подробно в них разобраться. Кстати, Чуковский считал фольклор, народную поэзию единственным компасом для всех детских поэтов, как он выразился, сильных и слабых.

— *Вы любите рассказывать и делаете это лаконично, звонко. И говорите с ребенком как с равным — свободно, непринужденно, весело. И непременно образным языком. Щедры на метафору. Всякая метафора — маленькая игра?*

— Разве я такой уж имажинист? А как с равным, свободно, непринужденно, весело, нужно говорить и со взрослым. Метафорами пользуюсь в меру. Бывает так, что в маленьком детском стихотворении нет метафор, но оно само — метафора к чему-нибудь. Например:

Петушки распетушились,  
Но подрасть не решились.  
Если очень петушиться,

Можно перышек лишиться.  
 Если перышек лишиться.  
 Нечем будет петушиться.

Реалистический эпизод из жизни птичьего двора. А заодно и описание деревянной игрушки художника Федора Глебова, дикторский текст к одному из сюжетов киножурнала «Хочу все знать». А стихотворение в целом — метафора, имеющая в виду драчливых, но не потерявших благоразумия мальчишек. В Швеции, в Гетеборге, когда я там был, эти стихи сочли антивоенной агиткой, обращенной к разуму воинственных, но еще не потерявших рассудок политиков. Замысел мой был не столь глобальным, но спорить я не стал.

— *Дети любят природу. У нас много писателей, которые учат этой любви. Пришеин. Соколов-Микитов. Бианки...*

— Дивные писатели! При них еще не ощущалась такая страшная и такая привычная, вошедшая в быт опасность для природы. Нужны еще и новые книги, иной раз совершенно неожиданные, нужна и сатира, и гимны чуть ли не каждой былинке.

— *А вы, Валентин Дмитриевич, учите видеть и слышать природу?*

— Учусь этому сам. В молодости я многого не понимал. Не думал о последствиях «покорения природы». Учусь не только воспевать природу, но и видеть ее в процессе, в движении, думать о последствиях каждого шага. Прохожу, как многие, своего рода ликбез.

— *Ваши произведения всегда оптимистичны. Вы всегда стремитесь, чтобы в конце книги была надежда?*

— Всегда ли? Вот стихи памяти Татьяны Ивановны:

Розы в блеске морозного дня.  
 У могилы стою на ветру.  
 И впервые утешит меня  
 Мысль о том, что я тоже умру.

Но Рина Зеленая как-то сказала: «Нельзя оставаться живым и не жить». А значит, верить, надеяться, радоваться, мечтать. Поэт должен быть победителем. Поражение читатель может потерпеть и без него. А с поэтом пусть уж лучше побеждает. Пришедшие в голову строки поэтов, классических и современных, спасали меня в самые страшные минуты.

— *Ваши книги для детей. Ставите ли вы в них задачу воздействовать на взрослых?*

— Наверное. Во всяком случае воздействие это таково, что многие из них убеждены, будто я вообще детский поэт. Значит, дадут книжки детям, а малышам охотно прочтут вслух. А вообще, моя мечта, моя сверхзадача — повысить уровень общения взрослых и детей всех возрастов. Даже в моей «взрослой» лирике присутствует это желание, в детских стихах и подавно.

## *Эмиль Карлебах*

### *КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ*

Два молодых человека, оба из «приличных» семейств. Одному — чуть больше двадцати, другому едва перевалило за четверть века. На этом сходство кончалось. Однако нельзя было не заметить различия.

Старший восседал за огромным столом в огромной комнате, украшенной столь же огромным толстым ворсистым ковром; он был в черной форме с серебристыми петлицами и нашивками — в форме СС. Другой, если описывать его снизу вверх, был в деревянных сандалиях, грубых хлопчатобумажных носках, в холщовых штанах и куртке, которые некогда были синими, в столь же поношенной рубашке без воротника и с наголо остриженной головой.

Время и место действия — 1935 год, Ганновер, или, точнее, тюрьма в Ганновере. Господин директор тюрьмы был в отпуске, и его замещал этот молодой человек из приличного семейства, будущий юрист, проходивший здесь свою практику и в качестве эсэсовца показавший себя достойным доверия и продвижения по службе.

Его визави в тюремной одежде — читатель, вероятно, уже догадался — был я. Позади — допрос в гестапо, предварительное заключение, приговор, три года лишения свободы за «подготовку государственной измены» (я издавал газету запрещенного «свободного» профсоюза) и около 18 месяцев в одиночной камере. Теперь я оказался напротив человека в черном. Это имело свою предысторию.

Несколько лет назад, когда мне было только семнадцать, я нашел в одной из работ Ленина такую фразу: кто не изучал Гегеля, не постигнет диалектики. Не долго думая, направился я во франкфуртскую городскую библиотеку на берегу Майна (впоследствии библиотека была разрушена бомбой) и взял «Философию истории» Гегеля. Однако — о, ужас! — несмотря на все старания, я так и не разобрался в том, что хотел сказать автор своим искусным стилем, разнообразным словотворчеством и сопоставлением понятий. Я капитулировал и с тяжелым сердцем вернул книгу.

Потом я попал за решетку, в одиночку. Моя мать, сокрушавшаяся, что ее единственный сын стал не врачом или адвокатом, а «преступником», написала мне: «По крайней мере проведи это время с пользой, изучи что-нибудь». Месяц спустя, когда мне, по тюремным правилам, можно было написать письмо, я ответил: «Пришли мне учебники стенографии и английского, а также книгу Гегеля». Ибо, думал я, здесь, в полной изоляции, можно интенсивнее заняться личностью Гегеля и его высказываниями.

Чего не делает любящая мать; она, конечно, подозревала,



что этот Гегель как-то связан с мятежными мыслями наказанного сына, но вместе с учебниками в тюрьму поступила и «Натурфилософия» Гегеля.

Затем вступил в действие государственный воспитательный процесс: Гегеля не вручили мне, а сдали на хранение. Я обратился с заявлением о том, чтобы мне выдали книгу — отказ. После предусмотренного правилами вторичного — через три месяца! — заявления (а время в заключении тянется медленно) — тот же результат, отказ.

Так продолжалось бы и дальше, если бы вдруг не вмешался случай — или, может быть, моя настойчивость вознаградилась? Короче говоря, директор тюрьмы был в отпуске, и мое заявление оказалось на столе эсэсовского молодчика из «приличного семейства». А он, очевидно, еще не настолько отупел, как его шеф. Его подзуживало любопытство: что это за редкая птица, которая, занимаясь склеиванием пакетов (обычная работа заключенных), хочет еще читать Гегеля. И он велел привести меня.

Когда я в жалкой тюремной одежде появился в роскошном кабинете господина директора, его временный хозяин уставился на меня, словно никогда в глаза не видел заключенных. А может быть, это и вправду было так? Кто знает? Во всяком случае я должен был представлять собой нечто исключительное. Затем начался наш разговор.

— Вы хотели читать Гегеля? — Вопрос прозвучал так, как если бы он спросил: «Умеете ли вы вообще читать?»

Я не дал ввести себя в заблуждение:

— Так точно! — ответ был короток и вполне в «прусском» духе, как и полагалось в тюрьме.

— Сколько же классов вы успели окончить?

— Получил аттестат зрелости. — Опять коротко, без дополнений.

Он начал листать мое дело.

— Действительно... — Он был явно удивлен, что такая жалкая личность смогла получить столь «высокое» образование. После этого он все же позволил себе перейти к обсуждению вопроса по существу — это оставляло мне надежду. И он задал главный вопрос:

— А зачем вы, собственно, хотите читать Гегеля?

У меня было достаточно времени для подготовки ответа на этот вопрос. Я соорудил самую покорную мину и положился на невероятное невежество фашистских бонз:

— Суд приговорил меня к трем годам заключения за подготовку государственной измены и потребовал, чтобы я изменил свое поведение, — начал я. — Но наше национал-социалистское государство не желает, чтобы я стал национал-социалистом, потому что я еврей. Тогда я стал размышлять, что же мне делать, —

подумал, что существует государство, родственное национал-социалистскому, которое не поднимает еврейского вопроса, фашистское государство в Италии. А так как я читал, что фашизм основывается на идеях Гегеля, то и хочу заняться изучением Гегеля.

Возможно ли было устоять перед такой готовностью к исправлению? Невозможно!

— Не возражаю!

И я вернулся в камеру с «Натурфилософией» официального государственного философа Пруссии. Ибо лишь один из нас двоих знал, что этого Гегеля некий Карл Маркс «поставил с головы на ноги», — и этим одним был я. И опять-таки только я знал, как настойчиво рекомендовал изучать Гегеля некий Владимир Ильич Ульянов, и что этот Ульянов под именем Ленин стал кошмаром всех фашистов и их пособников. Оказалось, что невежество фашистов является важным фактором в полемике с ними.

Затем, в строгой изоляции одиночного заключения, я мог в течение следующих 18 месяцев разбираться в диалектике Гегеля и преодолевать сложности его стиля и формулировок. «Делай что-то полезное», — писала мне мать. И я делал нечто полезное, хотя и не совсем в том стиле, который она имела в виду.

Прошло десять лет. Шел уже 1945-й год. За допросами в гестапо, за предварительным заключением и тремя годами в одиночной камере последовали более семи лет в концлагерях Дахау и Бухенвальд. Томик Гегеля повсюду следовал за мной. Конечно, в концлагерях книга обычно лежала в складе — не хватало только, чтобы политзаключенные читали книги, вместо того чтобы приумножать богатство Сименса или Флика либо совершать коленопреклонения по команде эсэсовцев!

Однако произошло нечто неожиданное и в то же время типичное. Речь идет об алчности служителей лагерей.

В лагере Бухенвальд была библиотека. Она содержала обычные книги Гитлера, Геббельса, Розенберга, книги восхвалителей войны, таких как Двингер, Цоберлейн, и тому подобную романтическую чепуху — все, что показывали в случае надобности официальным посетителям, итальянским либо японским фашистам, а еще раньше — британским консерваторам: как же, забота об удовлетворении духовных потребностей заключенных! Чтобы все это поддерживать в истинно прусском порядке, здесь кантовался некий герой-эсэсовец, а финансовое управление СС ежегодно выделяло на содержание библиотеки определенную сумму.

Наряду с эсэсовцем-заведующим был здесь, конечно, и библиотекарь из заключенных, выполнявший всю работу. В Бухен-

вальде это был Тони Геблер, коммунист из Ашаффенбурга\*, который потом, после освобождения, работал в комитете КПГ Рурской области. Тони дал понять господам из «элиты третьего рейха», что дотации финансового управления можно «экономить», т. е. использовать для клуба офицеров СС, если заключенным будет разрешено получать книги от родственников, и эти книги будут приходиться как вновь приобретенные. Не стоит говорить, что предложение было принято эсэсовцами с энтузиазмом. Не стоит, пожалуй, говорить и о том, что предложение Тони Геблера было внесено по решению нелегального комитета КПГ — чтобы легально заполучить в лагерь определенную литературу. Что же касается меня, то я проявил «щедрость» и подарил «Натурфилософию» лагерной библиотеке. Тони занес книгу в картотеку под моим номером — и таким образом официальный государственный философ Пруссии через сто лет после своей смерти тоже получил лагерный номер; я же мог лишь брать книгу для чтения. Но это имело скорее морально-символическое значение: кто мог в тех условиях всерьез изучать Гегеля?

Книга лежала в моем шкафчике в блоке номер 21 и ежеквартально передавалась в библиотеку «на проверку»; Тони ставил пометку с датой и возвращал ее в мой блок.

...Наконец наступил апрель 1945 года, именно 4 апреля, день, когда началось восстание узников. Именно в этот день эсэсовцы отдали приказ отправить из лагеря всех евреев, около шести тысяч человек. «Отправить» — означало на тот свет.

Партийное руководство решило саботировать «отправку»; все евреи сорвали со своей одежды желтые шестиконечные звезды, все старосты блоков сожгли картотеки, все евреи распределились по баракам «арийцев» — мы решили посмотреть, как господа расисты отличат евреев от неевреев!

Несмотря на угрозы, подкрепленные наведенными пулеметами, узники выполнили эти решения безоговорочно. Никто никого не предал. Об этом следовало бы рассказать особо, как об одном из героических подвигов Сопротивления.

Как и все товарищи, я должен был исчезнуть из блока номер 21 — еврейского блока. Товарищ Якоб Киндингер, староста блока номер 62, принял меня и спрятал в своем бараке под полом. Следовало бы рассказать подробнее и об этом: о мужестве, о чувстве товарищества, о солидарности, об истинном героизме.

Мой томик Гегеля оставался в пустом бараке — кто будет тащить книги, когда речь идет о самой жизни! Ночью уголовники разграбили пустующие бараки, унесли посуду, одеяла, ложки и прочие «ценности» узников: кто думал об этих вещах в нашем

\* Город в Баварии, порт на реке Майн.

положении! Затем, 11 апреля, мы достали годами припрятывавшееся оружие — наступил день самоосвобождения!

Никто не станет ожидать, что я буду разыскивать свой томик Гегеля. Избранный делегатом от моих гессенских\* товарищей, я имел куда более важные заботы. Несмотря на запрет американцев, я должен был нелегально организовать отправку бывших заключенных по домам — они не хотели ни одного дня оставаться на положении интернированных!

Но об этом тоже можно было бы рассказать особо.

Прошло еще 6 лет. Наступил 1951 год. Я стал одним из создателей и главным редактором газеты «Франкфуртер рундшау» в моем родном Франкфурте-на-Майне. Через два года меня по приказу генерала Клея в течение одного часа вышвырнули на улицу. Потом я был депутатом ландтага от КПП, секретарем партийной организации и работал в Дюссельдорфе в качестве редактора центрального органа нашей партии. Там я и познакомился с моей женой Урсель.

Через несколько месяцев после нашей свадьбы наступило рождество. Урсель обратилась к одному товарищу из нашей редакции, Гюнтеру Лютцу: она хотела бы сделать мне рождественский подарок; лучше всего, пожалуй, книгу; не поможет ли он ей подобрать хорошую книгу?

Сказано — сделано. Они вместе пошли к дюссельдорфским букинистам на Фридрихштрассе, и после некоторых поисков Гюнтер сказал:

— Вот, пожалуй, томик Гегеля, который будет приятно получить Эмилю.

...Рождественским вечером, вернувшись домой, я открыл дверь — и не поверил своим глазам: книга, лежавшая на столе, была мне хорошо знакома!

Да, это была «Натурфилософия» Гегеля. На книге от руки было написано число 4186, мой номер в концлагере Бухенвальд. И номер моего блока, 21. А на обороте титульного листа одна под другой контрольные пометки, сделанные рукой Тони Геблера.

Так погибший было Гегель отпраздновал свое возрождение, хотя — или, точнее, потому что — я вовсе не стал фашистом.

*Nabent sua fata libere* — книги имеют свою судьбу, как говорили древние римляне.

*Перевел с немецкого  
Ал. Яковлев*

\* Гессен — одна из федеральных земель в центральной части Западной Германии.

---

## Николай Гумилев

### ОБОРВАНЕЦ

Я пойду гулять по гулким шпалам,  
Думать и следить  
В небе желтом, в небе алом  
Рельс бегущих нить.

В залы пасмурные станций  
Забреду, дрожа,  
Коль не сгонят оборванца  
С криком сторожа.

А потом мечтой упрямой  
Вспомню в сотый раз  
Быстрый взгляд красивой дамы,  
Севшей в первый класс.

Что ей, гордой и далекой,  
Вся моя любовь?  
Но такой голубоокой  
Мне не видеть вновь!

Расскажу я тайну другу,  
Подтруню над ним,  
В теплый час, когда по лугу  
Ветер стелет дым.

И с улыбкой безобразной  
Он ответит: «Ишь!  
Начитался дряни разной,  
Вот и говоришь».

# БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОФИЛЫ

*Юрий Ерофеев*  
ДРЕССИРОВЩИК КНИГ

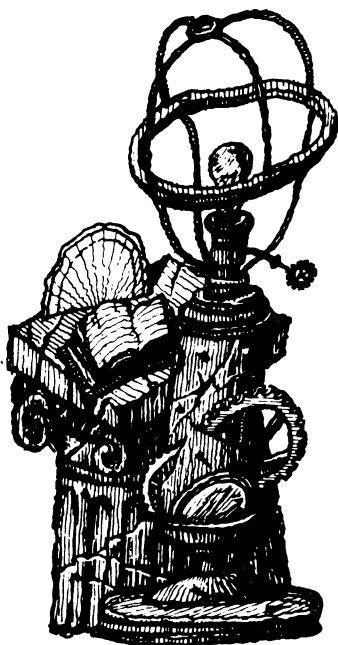
*Ян Пазар*  
КНИЖНИК МАВРУШИН

*Виктор Панов*  
ПАТРИАРШАЯ И ДРУГИЕ

*Леонид Юниверг*  
БИБЛИОТЕКА А. С. СУВОРИНА

*Валентин Лавров*  
ХРАНЯ СВЯЩЕННУЮ ЛЮБОВЬ

*Лидия Антик*  
ВСПОМИНАЯ ОТЦА



## Юрий Ерофеев

### ДРЕССИРОВЩИК КНИГ

Однажды в ЦГАЛИ я наткнулся на неопубликованные воспоминания Ефима Вихрева, о которых и хочу сейчас рассказать<sup>1</sup>. Е. Вихрев — певец одной темы. Палех, история и быт палешан всецело занимали его в последний период недолгой жизни. Вот и к В. Б. Шкловскому в тот довоенный день он шел за тем же: при встрече в «Литературной газете» Шкловский сказал, что у него дома есть кое-что о Палехе.

Виктор Борисович Шкловский — уже знаменитость. О его остроумии, непредвзятости говорит Андрей Белый. Он в переписке с Фадеевым. Ефим Вихрев куда менее известен и потому чуть-чуть робеет.

Дверь с дощечкой: «Виктор Борисович Шкловский». Звонок. «В эту минуту дверь открывается и в полутемном коридоре, как месяц, засветил обнаженный лоб...

Книжными полками уставлен весь коридор. Книги, пахнущие столетней кожей, подступают к самой двери, выглядывают со всех углов. И кабинет ломится от книг... Я всегда отношусь к таким библиотекам несколько недоверчиво и пугливо.

Шкловский меня сразу не узнал, ибо коридорный полумрак скрыл меня от него. И когда мы сели друг против друга в его кабинете, он спросил меня сухо и несколько настороженно, как Шерлок Холмс:

— Ну и что вы можете мне сказать?

— А помните, мы говорили о Палехе. У вас есть что-то мемуары.

— Ах, да!

И тут происходит нечто волшебное, удивительное, трудно припоминаемое. Я почему-то очутился в кресле Шкловского, а он на моем стуле. Потом он вскакивает, как мальчик, и устремляется к книжным полкам.

Книги волшебным образом перелетают со своих наместов на стол, сами раскрываются на нужном месте, вновь закрываются. Это не Шкловский их берет, нет, ему стоит только повелительно, соображающе вскинуть палец ко лбу — и книга, послушная своему дрессировщику, весело летит с этажерки сама. На столе их уже гряда, и я не успеваю записывать. «Русская старина», Ровинский, Кондаков...

Разговор, подобно летающим книгам, перепархивает с одной темы к другой. Может быть, мы о Палехе вообще не говорили?

— Вы спрашиваете, чем занимаюсь? Вот видите, кроме большой литературы существует другая литература, народная, которой мы не занимаемся. Вот, например, в восемнадцатом веке был писатель Матвей Комаров...

Я составил биографию Комарова на основании его предисло-

вий и на основании объявлений о его книгах. Оказывается, Комаров был дворовым человеком у госпожи Эйхлер... Господин Эйхлер упоминается у Лажечникова в «Ледяном доме». Он был в заговоре Волынского против Бирона. Комаров, будучи лакеем у госпожи Эйхлер, выучился грамоте по церковным книгам. Это был антиклерикально настроенный человек. Он был убит в 1812 году.

Теперь посмотрим, что получилось в литературе. Во-первых... (если Шкловский говорит «во-первых», это еще не значит, что он скажет и «во-вторых»). Наряду с Комаровым были писатели его типа. Писательский состав восемнадцатого века был несколько иной, чем мы думали до сих пор. (Из разных этажерок слетаются новые книги и стаей садятся на стол: Филиппов, Михаил Чулков, «Ванька Каин».) Низкая литература работала на мещан, на купечество, на дворовых людей и верхние слои крестьянства. И посмотрите, как читали эти книги — буквально до дыр! Вот на этой-то литературе и выросла великая русская литература. Моя книжка, объемом листов в пятнадцать, которая скоро выходит, называется «Матвей Комаров, житель города Москвы»<sup>1</sup>.

Тут я на минуту прерву рассказ Ефима Вихрева. Интерес к тем или иным слоям литературы циклически, через какие-то интервалы времени, оживает. Не так давно газета «Московский комсомолец» печатала длиннющие, с продолжениями, «Загадки Ваньки Каина»<sup>2</sup>. В них все рассуждения В. Б. Шкловского о Матвее Комарове, все его выводы были заново пересказаны. Так что рассказ Ефима Вихрева — для сравнения — злободневен, можно сказать, и сейчас.

«Завязывая галстук, Шкловский вдруг переходит к современности.

— Да, этот самый... критик-то... полысел уже, а ничего еще не написал. Сколько лет треплется, а ничего не написал...

Между тем книги одна за другой вспархивают со стола и садятся на свои места. На столе остается только объемистая рукопись с разрисованной обложкой, присланная каким-то провинциалом.

— Вот видите? Обложка разрисована — значит, книжка плохая.

И наконец, успокоенно сев на стул, Виктор Борисович задает мне вопрос: «Ну, а теперь расскажите, чем вы занимаетесь?..»

...На улицу мы выходим вместе. Зачем я, собственно, ходил к Шкловскому? Да за материалами о Палехе. Я кое-что отметил в записной книжке и достану некоторые книги в Румянцевке. Но ведь он хотел подобрать и какие-то другие материалы..

Мы идем по раскаленному переулку, садимся в номер двенадцатый и едем к Страстному. Мы говорим о палехской



живописи — Шкловский хочет побывать в Палехе, — о первых рисунках первых ивановских ситцев.

— Если вам придется побывать в Персии, то...

Как жаль, что я не обладаю памятью Виктора Шкловского: никак не могу вспомнить, что я тогда увижу в Персии...»

Почему разговор перекинулся на Персию — нам сейчас, конечно, можно только предполагать. Вероятнее всего это было продолжение темы о Палехе — в те годы многие литераторы и искусствоведы искали, с чем бы сравнить палехский феномен. Сопоставляли палехскую живопись и с миниатюрами Персии<sup>3</sup>. «Это выше, конечно, персидской миниатюры, если не брать их лучшие образцы», — восторгался Алексей Толстой.

Виктор Борисович Шкловский, критик и писатель, близкий к «Серрапионовым братьям», прожил долгую жизнь и, конечно, оставил память о себе собственными литературными трудами. Но и эта зарисовка ивановского литератора — тоже живой отпечаток одной из страниц довоенной биографии Шкловского-книжника.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Вихрев Е. П. Час у писателя (у В. Шкловского) // ЦГАЛИ, ф. 94, оп. 1, ед. хр. 41, без даты.

<sup>2</sup> Евдокимов Д. Загадки Ваньки Каина // Моск. комсомолец. 1988. 27 апр.

<sup>3</sup> Куприяновский П. В. Соприкосновенья. Ярославль, 1988. С. 194.

## Ян Пазар

### КНИЖНИК МАВРУШИН

Он возник у прилавка внезапным видением перед самым закрытием букинистического магазина, словно шагнув в торговый зал из какой-то старинной легенды. Не высокий, но и не низкий, с непокрытой головой, хотя уже октябрило, в потертой куртке, тяжелых пыльных башмаках и с огромным зеленым рюкзаком за плечами.

Высокий мощный купол лба. Длинные желто-русые волосы клокочущей лавой низвергаются на шею, стекают по щекам и сливаются с рыжими усами и длинной, как бы выцветшей желто-рыжей раздвоенной бородой. Будто бы старик, но будто бы и нет. Только внимательно приглядевшись, можно дать ему, все еще колеблясь, никак не более тридцати восьми — тридцати девяти лет.

Задрал голову кверху. Повел носом:

— Букинистический воздух!

Помолчал.

— А это что — толстенное — у вас?.. — он ткнул крупным красным пальцем в двухтомник *Сказания русского народа*. Голос у него — густого и сильного звону, с богатыми модуляциями, с паузами, выразительнее звуков.

Подаю.

— Трогает и удаляет!

— ?

— Трогает содержанием... хотя, может быть, там два слова только и есть нужных... Удаляет ценою... — Знаком показал, что книги можно убрать. — А надо, надо поддерживать сердце в постоянном веселии. — Хитро устремил на меня широко распахнутые глаза.

Оглядел заставленные старыми и новыми изданиями полки. Остановил взгляд на маленьких коричневых томиках.

— Потехина? Купить ради потехи, что ли? — каламбурит он. — Нет, сейчас я собираю только брильянты.

— Тогда вот этот автор, — мой палец скользит по корешку, — далеко не глуп...

— Лучше бы он был близко умен.

Этот бахарь все больше и больше возбуждал мое любопытство.

Он купил старую книжицу о сновидениях. Снял и развязал рюкзак. Оттуда выглянули отдельные тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, черно-золотые переплеты *Истории живописи всех времен и народов* Бенуа, хвост селедки, торчащий из газетного обрывка, и четыре бутылки кефира. Запихал покупку в рюкзак. Согнувшись, взваливает его на плечи.

— Инфаркт получишь! — кидает какой-то трезвомыслящий доброжелатель.

— Если в охотку, так то в радость! — с лукавой усмешкой отвечает книжник.

Звонок. Рабочий день окончен. Уходят последние покупатели. Продавщицы подсчитывают чеки. Уборщица протирает пол намотанной на швабру мокрой тряпкой. После напряженного дня в торговом зале наступает тишина.

Выхожу на улицу. На углу, в броуновом завихрении людей, внезапно сталкиваюсь с книжником, купившим *Сновидения*.

— Великое дело сон! Там такие чудеса бывают... — подмигивает он мне неожиданно.

— Да?.. Мне одна сказала: «Твои сны забирают тебя у меня...» Меня зовут Иван Иванович, — говорю вдруг.

— А меня Василь Васильичем... Маврушин я... — Протягивает ладонь.

— Мы будто два чудака...

— Это-то и интересно! — перебивает он. — Шли мы по улице. Незнакомые. Взглянул я на вас, вы на меня, и мы почувствовали, что нам нужно познакомиться. Вы меньше чудаковаты, я больше!.. Но оба чудаки мы! Жертвы книги!

Мы — попутчики.

Василий Васильевич наклоняется ко мне всем корпусом, искося поглядывая:

— В движении, на бегу, в людской сутолоке, как-то особенно хорошо говорится. Иду и вижу мельканье чьих-то ног, возникновенье и исчезновенье каких-то фигур, и все это меня возбуждает, и мне хочется точно, выпукло и поэтично выразить свою мысль. Далеко не каждый из нас пишет стихи, но все мы должны говорить поэтично и думать поэтично.

Мы проходим мимо закрытого газетного киоска, около которого стоят двое. Юноша опустил голову на грудь девушки.

— Это еще не мужчина, — снова говорит Василий Васильевич. — Он не вник в смысл встречи. Он склонился. А мужчина это фундамент (последнее слово он произносит с ударением на конце, тем самым придав всей фразе неожиданную окраску)... это камень... это глыба... Мужская параллель не смеет искривляться.

Вижу только его огромный лоб в обрамлении клочковатых волос да близко поставленные к утиному носу, но зато большие серо-голубые — не глаза — очи. И слышу его чуть окающий, наполненный внутренней силой, говор:

— Кровельщик я. Это мое ремесло. Реставратор. Это мое призвание. Сегодня был в Середникове, бывшем имении брата бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова, реставрировал там старинные конюшни. Но чтобы реставрировать, восстанавливать памятники, надо самому работать над своим я, делать его лучше, доб-

рее, светлее, очищать от грязи, где нужно — менять балки и перекрытия, а где разбирать и перебирать фундамент, ибо тот или покосился или не может выдержать того груза, который теперь заставляют нести его. Вот я и рассказываю молодым рабочим, что значит быть реставратором. А они слушают, разинув рты, многого не понимают, но ничего, авось со временем поймут.

— Лестница там была...

— Великая лестница! — загорелся он. — Я упал на колени и плакал от радости, когда впервые увидел ее. Спускается вниз пандусами, широчайшая... По обеим сторонам — леса... А внизу — пруд, а в нем — островок.

— Поэзия!

— Облака-а!.. облака-а!.. там — в этом пруду — плавают!..

— И какое облако бывает!..

— Целоваться полетел бы с ним! — целоваться!

Они приходили сюда со всех троп жизни: книжники, собиратели, писатели, художники, студенты, рабочие, музыканты, домохозяйки...

Околдованные интеллектуальной атмосферой букинистического магазина, приглашавшей к доверительной беседе, они здесь, у волшебного прилавка, завязывали знакомства, которые, бывало, внезапно обрывались, но с жадностью возобновлялись при новой встрече — и так на протяжении многих лет. Я стою на этом перекрестке, откуда далеко видно.

Кипит сказочная ярмарка книг. Толпа. Без конца сыплются вопросы.

Женщина на костылях:

— Есть что-либо фантастическое?

— *Машина времени.*

Рядом стоящий покупатель другому:

— Вас она не интересует?

— Абсолютно! Жизнь настолько фантастична, что я все время хожу как пьяный.

Голубоглазая девушка (которая мне напоминает, что голубизна — это не цвет, а тайна):

— *Жар-птица* у вас не появляется?

— Иногда прилетает.

Молодая мать:

— Скажите, для ребеночка ничего нет яркого?

Глуховатый старик в полинявшей гимнастерке и стоптанных сапогах, подпоясанный кожаным ремнем, лысый, с шишкой на темно-сизой бритой голове. Ссутулившись, загребая ногами, он подходит к прилавку, смотрит на книги, почти уткнувшись носом в стекло витрины, и загробным голосом:

— Нет ли чего-либо доисторического?

Мальчик с густо разбросанными веснушками:

— Дайте что-то почитать. Я неделю без книги... у меня душа болит... я не могу без книги жить!

Косой студент с залитым кровью зрачком:

— Мне что-нибудь приключенческое. И чтобы переплет был таинственный, мрачный...

Пенсионерка:

— А мне, наоборот, что-нибудь легонькое — приятное — без волнения. Розовое! Мне врач запретил волноваться. Книжку только со счастливым концом! Иначе у меня давление подымается.

Юноша рассказывает своей девушке:

— Хочу книгу старую, старую, и чтобы всюду был твердый знак.

Мужчина средних лет с приглупью и склонностью к живописи купил *Итальянский маньеризм*, чтобы украсить спальню сделанной по репродукции копией одной из Венер.

— Я уже договорился с художником, — лживо радуется он.

Чудак! Ну, зачем ему Венера в спальню!

Еще один:

— Есть ли у вас что по кости, мелкой пластике, ювелирному делу?

Другой:

— По мифам... мифологии древних?

Третий (лет семидесяти пяти):

— Нет ли у вас новой книги о супружестве?

Иностранка:

— Пожалёста — есть у вас — за-писки о-хотника — Тургенева? Антиквариш? Э-э... и стихи — по Евтушенко? Etwas?\* Не-ет? Спаси-бо!.. Спаси-бо!!!

Высокий худой аскет, упорный в своих умомечтаниях:

— Что-нибудь по тропикам, Африке, заповедникам? Вот такой широкий диапазон...

Гость с палочкой:

— Есть у вас курс водолечения Себастьяна Кнейпа?

— Нет.

— И не было? Так я и не дождусь? Умру?

Некто:

— О банях? О термах?

Его перебивает сразу несколько человек:

— О йогах?

— Детективы?

— По спорту?

— Старые изречения, афоризмы?

— Библия есть?

— Музыка? Джаз?

\* Что-нибудь (нем.).

- Корабли? Парусники?
- О тайнах исчезнувших цивилизаций?
- Об инопланетянах?
- О приметах? Черная магия?
- Что есть по гвоздям?
- Лечебные травы?

Неуверенный мужской голос любопытствует:

- У вас *Женщина в белом* случайно не завалилась?
- Ну, как же. Есть.
- Заверните!

Получая попку:

- Один раз ее у меня украли. Второй раз я ее сам потерял.

Больше не выпущу!

Кто-то пискливо:

- Пи-писы мне...

Любитель-цветовод с фигурой и лицом русского доброго молодца:

- Есть что-нибудь об орхидеях?

Толстяк в круглой шляпе, с кирпичной физиономией:

— Приятель! Мне по жучкам и бабочкам давай все, что у тебя есть! Ну, это я примитивно спрашиваю, понимаешь?

Театральный бутафор, с маленькой головкой, на длинных и тонких ногах, с узким лицом и черными усиками на сильно выпяченной некрасивой губе, в обшарпанных штанах, в кепочке, нагнутой глубоко на глаза, просит у жены деньги на книгу об Оскаре Уайльде. Та ни в какую. Положив правую руку на сердце, а левую безвольно опустив вдоль тела, он стоит с застывшим взором, вперенным в прилавок с книгами.

- Если я не куплю ее, я буду больной.

— Ты бы все спустил! У меня рубашки нет! Десять лет в одной и той же сплю!

- И это называется жена! Змея со сверкающим хвостом!

- Ты хочешь, чтоб тебе такая попалась?

- Уже есть!

- Разве я змея — я душевная... незабудочка... цветочек...

- Дай рубль тридцать, раз душевная...

Одноглазый художник (другой глаз у него стеклянный) с копной густых седеющих волос:

— Всякий раз, как прихожу сюда, волнуясь. Тут все — волшебное! И этот прилавок, и книги, и работы мастеров, и даже лампы под потолком. Видишь такую красоту... Ой-ёй-ёй! Какие художники! Один не заменит другого... Только один ближе, а другой дальше... (*Листает альбомы.*) Пизанелло прекрасен. Тут человеческий дух запечатлен. Мощь его. Боже мой! А это? Андреа дель Кастаньо. Какая прелесть! Я чувствую, в чем их величие.

- В чем?

— В познании вечного. Кто-то посмотрит, отвернется и забудет. А мне они всю душу переворачивают. Плохо быть бедным духом. Надо приобщаться к таким богатствам. Ведь если к ним не прикоснуться, это...

— Облапошивание своей жизни, — весело подхватил только что размашистым шагом подошедший к прилавку Василий Васильевич с зеленым рюкзаком за плечами. — А ведь все мы, как-никак, хоть крохотные, но художники. Плохо ли, хорошо ли — вторим себя! Смешно, друзья! Человек ест, пьет, спит, а в конце дороги, перед тем как его вселят в действительно вечную квартиру, где вся его фигура перейдет в таблицу Менделеева, схватится за голову: «Ой! как я этого не знал? Почему не увидел? Как я ограблен! Правда, пожрать я любил, был знатный подпивала и веселый объедала»...

Надпись на книге:

Посылает папа Инне  
«Годы детские Багрова»:  
Читай, детка, их отныне...  
До свиданья, будь здорова.

Со времени, когда была подарена книга, прошло шестьдесят лет. Давно уже нет папы. Что-то стряслось с Инной, раз книга попала к букинистам. А может, нет уже и Инны. Но пахнуло из этих неприятельных строчек теплым человеческим участием, мягким, любовным отношением к людям и к миру; и чувствуешь, как благородные движения сердца порождают духовные волны, докатывающиеся до тебя через многолетия.

Зима.

Снегу навалило.

Сняв шапку, Маврушин с величавым видом читает у прилавка книгу. Когда он молчит, губ не видно за усами и бородой.

— Куплю сегодня! — шепчет он мне.

— Да? А что?

— *Сказания русского народа.*

— Там, где два слова только и есть нужных?

— Но какие слова! Над ними можно думать два года!

— И притом их еще надо найти!

— Листаю — чувствую — книга для меня!

Сорок пять нехвативших копеек занял у меня Василий Васильевич до завтрашней полочки, чтобы купить один из выпусков роскошно иллюстрированного издания *Москва в ее прошлом и настоящем.*

— Денег не будет — все равно покупать буду.

— Как так?

— Выкручиваться надо будет. Но разве это не интересно? Постеснялся бы я сегодня подойти к вам — и не купил бы этой книжечки, а ее может потом и не быть.

Маврушин читает *Любовь сильнее смерти*, разрезая страницы сборника взятым у меня из ящика прилавка кухонным ножом с широким лезвием и деревянной ручкой.

И книга с таким названием оставалась неразрезанной шестьдесят шесть лет!

Чужая женщина ввела его в дверь. Подошел, ощупал прилавок.

— Я книголюб слепой...

— ...

— Когда я буду такой, как он, я все равно (даже слепой!) буду покупать книги, — сказал Маврушин.

Оттепель.

Весь день падал снег. И таял. Падал и таял.

— Слякоть, — поеживаюсь.

— Это хорошо! — говорит он. — Это для нас.

— Что ж тут хорошего? В этой жиже? — смотрю на него удивленно.

— А послушайте, как поет мокрый снег под нашими ногами... Это вода поет. А капля... вот она падает с крыши во вмятину, от подошвы башмака, полную воды... (Он спел несколько нот, изображая падение капли в лужицу.) Это тоже вода поет. Для нас! Всё для нас!

— Неужели-таки всё? И сосна растет для нас?

— И сосна! И относиться надо к ней бережно, как к сестре.

— А может, она живет себе своей жизнью, не зная и не желая знать нас?

— Нужно стараться понять ее. Это памятник... Памятник природы!

В другой раз:

— Пойдем ко мне, а? Сварим чугунок картошки. Высыпем его не на стол, на пол! Селедочка! Краюха хлеба! Будем ломать его. Не резать! ломать руками!.. кромсать!.. всюду крошки... поэзия!..

— Поэзия! — повторяю я.

— Она серебрится, селедка-то! Чудо! Брось около нее цветную тряпку для фона и пиши!.. Коровин так и делал. Славные натюрморты получались! Говорят, жительница Ярославля побывала у него в Париже, где он нищенствовал, и купила десять натюрмортов, а потом подарила ярославскому музею, где они и доньше.



Около семи с дальнего конца прилавка поднимает высоко шапку в воздух, приветствуя меня, Маврушин.

Пока я раздумываю, что же показать такое, чтобы было ему интересно, он:

— Чуть не сорвался сегодня с крыши. Снег валил. Поехал со страшной быстротой... Задержался... А, бывает, срываются... Особенно с куполов.

— А как же подвязка?

— Рвется. Гнилые веревки попадают... Выпьют иной раз...

Лупоглазая — не покупательница — посетительница, грузная, толстая, с переполненной хозяйственной сумкой в руке, сладко зевая, подходит к прилавку и, забыв от изумления захлопнуть рот, воззрилась на оказавшегося тут же Маврушина. Тот безмятежно листает книгу. Наконец, не выдержала, агрессивно:

— У!.. О!.. Какой ты страшный!.. Бородатый!.. Лохматый!..

Откуда ты взялся?

Маврушин, отрываясь от книги:

— Я?

— Да.

— Ниоткуда.

— Оно и видно.

Не отходит:

— Что за книга?

Маврушин называет.

— Сколько стоит?

— Двенадцать пятьдесят.

Никакой реакции. Потом с визгом:

— Двенадцать рублей пятьдесят копеек?

— Да.

— Убийство!.. Тихий ужас!..

Через минуту снова:

— Экая борода! Не мешает?

— Напротив.

— Но почему такая длинная?

Маврушин мягко:

— Вы — женщина. Не могу вам мужскую тайну открыть.

Она с ненавистью:

— Издеваешься! Документики бы у тебя проверить!

— Да за что проверять-то?

— Какой-то ты не такой... необычный.

И рукой в перчатке за бороду — хватя.

Маврушин усмехнулся:

— Горе и увы!

— Юродство! — злилась она, отпуская бороду.

Маврушин пожал плечами. Помахав всем рукой, быстрым, лег-

ким шагом идет к двери и исчезает. Последним мелькнул зеленый рюкзак на спине.

Вдогонку летело:

— Дикарь! Неандерталец!

*Счастлив тот, кто наслаждается хорошей музыкой, хорошей картиной, хорошей книгой, но всех счастливее тот, кто наслаждается обществом истинно хорошего человека.*

Эта фраза ткнулась мне в глаза, когда я по просьбе Василия Васильевича поставил перед ним на прилавок стопочку книжек в одинаковых темных переплетах (то был *Исторический вестник* за 1898 год), взял верхнюю и раскрыл на первой попавшейся странице.

Я прочел это место Маврушину.

— Врезано! — сказал тот, понимаяюще смотря мне в лицо распахнутыми серо-голубыми глазами.

— Нет ли сказок с иллюстрациями Дюляка? — спросил негромкий голос. Черные глаза, в которых притаилась улыбка, смотрели на меня.

Фло!

Она приходила в букинистический магазин уже несколько раз и неизменно спрашивала знаменитого иллюстратора книги.

Из-за тяжелой пышности прически ее вдумчивое, умное лицо казалось хрупким; певучий бег линий тела звучал мелодией, повторенной во множестве отголосков. В этой двадцатидвухлетней женщине с профилем леонардовской венецианки была такая грация жестов и движений, такая открытость в речах, такое неистовое стремление к сказочности, что невозможно было не поддаться ее обаянию, ее драгоценной настроенности на радостное общение с другими людьми.

Фло! Она ждала знамений! А знаменья бывают только в большом мире, в котором душа тянется к высокому.

— Я голодна.

Стала рассматривать иллюстрации Акбара Таджвиди (в которых был отсвет Дюляка) к катренам Омара Хайяма. Глаза блестят, щеки пылают, волосы в золотой дымке солнечного сияния.

Вместе с ветром и снегом ворвался в торговый зал Маврушин. Потирая замерзшие руки, он стремительно подходит к прилавку, поднимает, приветствуя, высоко в воздух мохнатую шапку, обнажив мощный лоб в морщинах. Уже издали громогласно:

— Природа смеется, хохочет, шут, говорит, ты...

— ?

— Земля одна, воздух один, а мы все разные! Почему? По-раз-

ному на всех светит солнце! Одному — в зад, другому — в лоб, третьему — в бок, а четвертый вообще от него отмахивается, рукой загораживается... Всё от солнца! Даже в серую погоду. Солнца нет, он и мрачен, а солнце появилось: «а!..» Но хоть серенький денек, а солнце все равно сияет... там... за пеленой...

— Две руки — два портрета! — сказал Василий Васильевич, показывая мне глазами на руку Фло на прилавке, рядом с которой он незаметно положил свою. Белая, узкая (перстенок с зеленым камушком на среднем пальце) и — тяжелая, широкая, обветренная.

— Руки все разные! — продолжал Василий Васильевич, убирая свою с прилавка. — Рука требует и рука прощает, рука возносит и отдает, привлекает и отпускает...

— Кто это? — спросила Фло, приставив кончик указательного пальчика левой руки к подбородку. — Какой умный взгляд!

— Необычный человек, — ответил я.

— Кто он?

В этот холодный зимний вечер они встретились.

Я был тогда с ними.

Мы стояли под голой липой у входа в закрывшийся букинистический магазин. И целый час (о, какой это был час!) говорили о книгах, поэзии, памятниках... невольно выдвигаясь на середину тротуара, так что вокруг странной троицы закипал людской водоворот, пока мы снова не отходили под спасительную липу. Троица — это я, замкнутый в суровую шинель, Фло — в голубом пальто и голубой шапочке, отчего черный свет ее глаз казался еще чернее, и излучающий вокруг себя поле высочайшего напряжения Василий Васильевич, в пальтишке поверх фуфайки, остроконечной шапке и набитым рюкзаком за плечами.

Разговор, вспыхнув, суматошно метался с предмета на предмет.

— ...Всю жизнь я поклонялся солнцу, — витийствовал Василий Васильевич. — Высокому! Так давайте же будем говорить только о самом дорогом, сокровенном, высоком. Вот Иван Иванович наблюдатель, аналитик и логик. Прям и тверд. С отчужденным лицом. Шагает, не сгибаясь. Замкнут. Но я уверен, что он может говорить стихами. Своими. Или не так?

— Верно, — сказал я, удивляясь, как он дошел до этой догадки. Ведь я жил, веря, что когда-нибудь создам нечто неординарное.

— Тогда, ради бога, разразитесь скорей экспромтом! Чем-нибудь сверкающим, влекущим, неизвестным, может быть, даже опасным, напоминающим о существовании, несмотря ни на что, чуда, подходящим по настроению, по атмосфере к нашему неожиданному, но пленительному словесному пиршеству.

— Ну, что ж, — сказал я.

И, помолчав:

Отлетал златострельчатый вечер,  
И с последним лучом золотым  
На великую встречу — невстречу —  
Мчался всадник, задумчив и дивен.

И ждущая знака далече  
Сказала, зардев под лучом:  
— Не к нам ль в догорающий вечер  
Кто-то мчится над красным ручьем?

Сначала старуха остановилась, прислушалась; потом коротенький человечек — шел мимо и будто споткнулся, прислонился спиной к липе. И опять пошли себе.

— Тут сказка, — сказал Маврушин. — Тут тайна большая есть.

— Сказка — это начало всего, — откликнулась Фло.

— Я в сказку верить хочу, — подхватил Маврушин. — Жизнь начинать надо с Солнечных Гор, и тогда человек, когда вырастет, будет Солнечным и духом и телом. Жизнь на Горах духовно возвышает, и возвеличивает, и дает счастье и радости. И исходят эти радости, это счастье от стрельчатых лучей любимого моего Сияющего Солнца.

Маврушин вспомнил о сказочной лестнице в Середникове, поросшей цветущими подорожниками и короставниками.

— Были вы там? — спросила Фло.

— Много раз!

Он стал рассказывать, как, босой, ехал туда, как его задержали в поезде: «Что ж босой-то? — Да так здоровей! — Хоть бы тапочки надел, а то подумать можно, что и заплатить тебе за билет нечем».

Когда мне плохо, я иду к великой лестнице.

— И я хочу пройтись по ней, — сказала Фло.

— Так за чем же дело! Втроем и пойдемте.

Через минуту он своим расцветенным языком, завораживая, уже рассказывал о Шляпинне:

— Какой талантище упал на русскую землю! Из мужиков, а как сказал — то, что хотел... один за всех! Как он поет *Очи черные!*

— А мне не нравится, — возразила Фло.

— Это вам не приходилось терять любимого человека. *Очи черные* — песня о потере любимейшей. Я видел, как, слушая эту песню, плакал тридцатипятилетний мужчина. («Не сам ли Маврушин?» — подумал я.) Тяжелая у него была судьба: в тюрьме сидел, художником стал, многое видел... Жизнь в колодцах, в пробоинах, в закорючках. Он — дурак? Нет, братец, ты загляни в душу ему! От такой жизни один плачет, а другой *ха-ха-ха-ха!* Мне не нравятся те, которые живут легко, устроенные, сытые, избалованные... Мне

нравятся битые... которые побиты, и еще смеются... Это *фигура*... Из этого может что-то высветиться.

— ...Можно я вам романс спою, — вдруг сказал Маврушин, колеблясь.

— Ждем! — воскликнули мы.

Он наклонился вперед, приблизил свою фантастическую голову к нашим, тоже сблизившимся, головам и набрал в грудь воздуху.

Меня поразил зазвучавший на морозе глубокий тенор вместо ожидаемого баса. Он брал за сердце, и я слушал, холодея от какой-то внутренней дрожи.

А приглушенный голос рыдал:

*...Она мое сердце разбила на части,  
Но пла-акал об этом один только я.*

— Василий Васильевич, кто вы? — спросила Фло, не мигая смотря ему прямо в глаза.

— Как кто? Рабочий человек! Он вот (кивок на меня) книжки продает, а я памятники архитектуры реставрирую...

— Что вы на меня так смотрите? — перебила вдруг Фло.

— Сияете вы мне... Будь у меня впереди миллион лет — я и то тревожил бы вас. Вы чудо! Я хочу успеть наглядеться на вас... — отвечал новый солнцепоклонник.

Я глядел на Василия Васильевича, на которого падал жестокий свет загоревшихся уличных фонарей и освещенных витрин, на грубые черты его лица, некрасивый нос, несколько сплюснутый на конце, но только такой нос и должен был быть на этом удивительном лице. И утиный нос, и длинная желтая борода, и рыжие усы, и даже длинный пояс пальтеца, который он лихо завязывал узлом наперед, то ли потому, что оторвалась пуговица, то ли так казалось ему спортивней, — все было самобытно, естественно и шло этому своеобразному человеку.

Позже, когда мы шли с ним, уже одни, Василий Васильевич вдруг остановился, взметнул руку над головой, проткнул вытянутым указательным пальцем черноту ночного неба и сказал, глядя блестящими глазами на меня, но адресуя слова ей, уехавшей:

— Полная чаша источников любви... Вот уж счастлив будет, кто прикоснется к ней... и творить будет, творить... не остановится...

Шагая со мной по улице, он бормотал:

— Огромная чаша... огромная...

Ах, женщины, женщины! падки вы на яркое слово — отблеск мужской красоты, чувства и силы; редкая устоит против его летучих эманаций, дурманящих, как резкий запах непальской орхидеи, привлекающей первоначально ваш ищущий взор гротескной фантастичностью лепестков.

На другой день.

Он:

— Во мне осталось что-то прекрасное от встречи с вчерашней феей...

Усмехается в рыжие усы.

— Сколько музыки скрыто в ней!

Пауза.

Потом снова:

— Идет женщина и — вдруг взглянула на тебя, а пройдя мимо, — оглянулась, и еще — и еще — и все смотрит... Она взором своим, обаянием лепит тебя, строит, создает в своем воображении и, создавая, понимает тебя. И уже между ею и тобою образовалась связь, какие-то нити протянулись между нами, и они все крепче и крепче, пока не начинают тянуть нас друг к другу. Великое дело взгляд!

Студеный ветер, сыпя мелким снегом, дул ему в лицо. Но он будто не чувствовал этого.

— Фло само вдохновение. В ней огромная сила. Я сам не знаю, что скажу и что сотворю в ее присутствии в следующую минуту... Даже страшно становится! У-у!..

И удивленно:

— Бешеный я на красоту.

Кашляет. Этот леший простужен.

— Сегодня опять работал наверху. Крыл железом крышу. Порой в одной рубахе да шапке. Вот под лопаткой и закололо. На обуви да одежке приберегал. Все хочется больше на книги.

Стоптаные валенки на разъехавшихся галошах. Отчаянное пальтецо из дерюги схвачено высоким кушаком, завязанным спереди на двойной узел с болтающимися концами. А кажется, что огнем подпоясанный!

Весна!

Отцвели одуванчики на полянке перед моим домом. Только множество пушистых и полуоблетевших головок покачивается на высоких стебельках среди травы и лопухов. А над ними, высоко-высоко, громады облаков, похожие на причудливые горы. Любопытно, что у гор и у облаков есть много общего.

— Нам нужно чаще встречаться друг с другом. А то — какие-то рваные встречи, — сказал однажды Маврушин. — Поедемте-ка в воскресенье за город. Самовар упрячем в рюкзак и — в лес, чай пить. Наберем сосновых шишек, осыпанных белкой. Ожидая, пока закипит самовар, будем березовый сок пить. Какая благодать!..

— Куда же? — спрашиваю.

— Где не были ни вы, ни я, — там самое интересное место. Поставим мольбертик, этюдник напишу.

Лето.

Маврушин о лесной сирени:

— Принес я ее домой. А жара. Задавил я ее. Все потухло, поникло, повисло. Я ее — в ведро, на середину-то комнаты. И такой аромат от нее пошел! Ожила!

Мы разговаривали с Маврушиным, когда появилась актриса 'З. С цветами. Только что вернулась из Италии. Была в Риме, Флоренции, Помпеях.

— Теперь я еще более жадная стала к книгам. Хочу читать о том, что видела. И снова видеть — хотя бы в фотографиях и репродукциях.

Маврушину, уходя:

— Зайдите к нам в театр. Хоть небольшой отрывок из пьесы произнесете. Пусть другие почувствуют, как говорить надо. Нам по пьесе нужна как раз такая речь, как у вас.

### *Рассказ подруги Фло*

...Вы ее еще не знаете! Как-то кончили мы с Фло работу (она со мной в одном НИИ, только в другой лаборатории). Идем домой. Видим, по тротуару шествует птенец голубя, нелепо переставляя лапки, наверное, вывалился из гнезда, желтенький еще, не летает. И вдруг поворачивает и начинает переходить шоссе. А в это время — зеленый свет семафора и все машины тронулись. Я — смотрю, другие — замерли, смотрят. И тут Фло бросает мне свой портфель — и на шоссе. Птенец — скок-скок — убегает от нее, а она за ним, в потоке машин. Те визжат тормозами, водители ругаются. Наконец, она вытащила его из-под задних колес автобуса, схватила, сжала в обеих ладонях и понесла ко мне, а он повернул голову набок и посмотрел на нее глупыми-глупыми глазами.

— Сумасшедшая! — кричу я ей. — Что ты делаешь!?

А она:

— Не могла оставить его, такого беззащитного...

А я бы так поступить не могла. В двадцать два — да! В тридцать два — нет.

Маврушин в лиловой рубашке навывпуск. С распахнутым воротом. Рукава закатаны по локоть. Струятся длинные желто-русые волосы и борода. Кофейный загар тела. Мощные руки и лоб. А за спиной, на лямках, — зеленый рюкзак, из которого выпирало что-то длинное и узкое.

Он наклоняется к моему уху:

— Я пристрастник...

— ?

— Выходишь из книжного магазина с хорошей книгой, не идешь — летишь... и всех-то любишь! От пят до кончиков волос на голове я полон любви к этим старым изданиям... Что ни книжица,

то чудо дивное!.. Она влечет и тащит меня к себе... И не только меня...

Много дней я был влюблен в Василия Васильевича, в его странный облик, в его богато одаренную натуру, неподражаемый тембр голоса, в удивительную русскую речь, от каждого звука которой веяло чем-то необозримо широким, в необычайную выразительность интонаций, манеру говорить, в моменты наибольшего воодушевления отбрасывая и наклоняя несколько набок голову, одновременно откидываясь корпусом и как бы снизу вверх вопросительно смотря на тебя округляющимися, словно сейчас только что-то в тебе увидевшими глазами. Я завидовал его бешеной энергии, направленной на собирательство книг и реставрацию памятников старины, его цельности, непосредственности и самобытности. Мы часто беседовали, иногда у прилавка, но чаще после работы, идя домой по главной улице города. Он был один из тех не так уж часто встречающихся людей, кто говорит, говорит обыкновенное и вдруг скажет нечто такое, что идущий остановится, будто налетев на стену.

Вот некоторые его мысли той поры.

### *Дурак*

Дура-ак бесшабашный!

Он хочет душой дойти до конца — что там за конечной точкой? Он до самого тына прет со своей любознательностью.

### *Пустая голова*

Хорошо тем, у кого в голове пусто — им и так легко и этак. Но такой человек — фишка, пятно, пустое место, закорючки даже нет...

### *Свет*

Человек до тех пор темно живет, пока света не увидит. Ведь хоть мы и лупим на свет глаза — нам все равно темно. А увидит, скажет: вот ведь какая это штука, свет-то!

### *О духе*

На фотографии — рыжеволосая Тохотауа, любимая модель Гогена. Рядом портрет ее, написанный Гогеном.

— Сколько там мяса... — Маврушин описал рукой круг над фотографией. — И сколько здесь духа!.. — Снова круг — над портретом. — А Тело с Духом должно быть в солнечном Ладу.

### *Дочь Гогена*

О дочери Гогена и четырнадцатилетней маркизянки Ваеохо Маврушин сказал:

— Как жаль, что ничего он не смог передать своей дочери из того, что было в его бессмертном сердце!



### *Искусство и любовь*

— Любовь сродни искусству.

— Чем?

— Тоже творческий акт. Вы наделяете объект своей любви качествами, которых у него, может, и нет.

### *О чтении*

Читаем мы не для того, чтобы быть начитанными, а чтобы разделить с ним, автором, его мир.

### *Книги*

Душа моя лежит к книгам: от них тепло-тепло; и я не могу пройти мимо; тем более, если книги эти прошли многие руки, не раз плачено за них, и, может быть, даже золотые рубли, а?

### *Находки*

Он: — С тех пор, как стал книжки собирать, спокойнее я стал. Светлее. Чище.

Я: — Потери?

Он: — Никаких! Одни находки! Надеюсь осознать, что такое жизнь. Что это за штука.

Я: — А другой скажет: «Глупый человек!.. Дни свои на никемные книжки тратит...»

Он: — Какие-то хлева в его душе — хлева-а...

### *Мир как книга*

Бывало, залезешь на крышу, бьешь там, колотишь... приладил накрепко очередной лист железа... остановился, выпрямился во весь рост, глянул вокруг — и мир, как книга, перед тобою... а природа-то — новая! Как будто первый день творения. Да и понятно: раз остановился, то мысль возникла, и мир этот к тебе оттого новой страницей повернулся, а раньше-то не думал... И я с крыши рукоплескаю — помаваю руками — это я природе-то! Летом хорошо. И весной. Далеко с крыши-то видно! И все-то твое-о! И дожди, и птичьи голоса, и туманы, и солнце над головой, и зеленые рожицы вдали, и трава-мурава, всё, всё — твое.

В августе Фло уехала на Кавказ. В горы. Маврушин бросился за нею. Догнал ее на Тереке. Что там произошло между ними, осталось глубоко закопанной тайной. Но через шесть дней Маврушин вернулся один.

Когда он, заросший, с обнаженной грудью, какой-то прямо дикий, оставляя мокрые следы на полу, пришел в букинистический магазин, тот был пуст: лил, не переставая, дождь. Небо обложило низкими, свинцовыми тучами.

### *Исповедь Маврушина*

...Я ей сказал: «Может быть, нам не следует, как двум кометам, сблизившись на некоторое расстояние, снова начинать удаляться друг от друга, чтобы никогда больше не встретиться?»

— Как эта кривая называется? — неожиданно спросила она.

— Парабола.

— Кажется, не так.

— Ну, просто, кривая... Более сложная... И не имеющая названия...

— Какие это мощные солнца, где-то там далеко, тянут нас врозь.

Некоторых людей нашей родной Солнечной Планеты Земля, а может быть, и других Солнечных Планет, всех Солнечных Галактик и всего Солнечного Мироздания — тянет в огромный Синий Океан, в котором и я когда-то летал. Девять лет назад я разбил самолет и разбился сам. Когда я, наконец, вышел из больницы, зная, что не могу больше быть пилотом, нашло на меня словно бы умопомрачение. Во мне родилось глубокое презрение к благополучию. Жена ушла от меня. Я отрастил эту бороду. Много думал о том, что же дальше делать. У всех-то я спрашивал о смысле жизни. И встретил я как-то на улице древнюю старушку, и она на мой вопрос, опираясь на клюку, прошамкала:

— Любить надо, люби-ить!.. ведь это не каждому дано-о!

— Разве?

— Да, да...

Как только я прослышал, что начинают памятники подымать из руин, понял, это -- для меня. Через памятники пришло и понимание книги. Ведь все ради любви.

— *И книга?*

— И она.

Началось мое новое душевное развитие. Всплеск любви к духу. Ветер, капли дождя, гром, запах сена — все лечило меня, с огромной силищей вдохновляло. Но мания стремления к высоте осталась. Всегда тянет — хоть чуточку выше. Высота! — как она прекрасна! Лестница... Крыша... Купола... Горы...

Текли годы.

Приходили новые покупатели. Уходили старые. Пропала Фло. Куда-то исчез книжник. Но в один, ничем не отличающийся от других, день его снова привела в букинистический магазин магическая власть книги. Лицо его поблекло. Низвергающаяся лава желто-русых волос словно бы приостыла. Зато так же высок был купол лба, прорезанного новыми морщинами. Блестели широко открытые недетские усмешливые глаза. И набитый книгами полинявший зеленый рюкзак по-прежнему отягощал плечи.

И он сразу заговорил о той, о которой всегда помнили мы оба.

— Фло так и не появлялась больше у вас?

— Нет. Я слышал, что она уехала в другой город, вышла замуж, но вскоре развелась. Где она сейчас, что с ней, не знаю.

— А я знаю, — сказал книжник. — Мы сейчас с вами у речки Златоструи. И все мы молоды. И на туманистом берегу возникает ее милый образ. В руках у нее томик Омара Хайяма с иллюстрациями ученика Дюляка. Она идет к нам. И я говорю: «Здравствуй, Фло! Сколько лет прошло! Все же довелось свидеться!»

— О! — сказал я.

— И теперь... Пусть она далеко... пусть не любит меня... пусть с другим... но я слышал голос ее... видел ее лицо... поступь... улыбку... Кто отнимет у меня эти бесценные сокровища?

Он смотрел на меня вопрошающим взглядом. Из глаз его в два ручья лился яркий свет.

# Виктор Панов

## ПАТРИАРШАЯ И ДРУГИЕ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Владимир Ильич Ленин, после переезда правительства из Петрограда в Москву, дважды побывал в Патриаршей библиотеке: двенадцатого марта при осмотре Кремля и в мае, не позднее семнадцатого. Удалось ли сохранить редкое книгохранилище с его древностями и рукописями?

Встречал Владимира Ильича пожилой библиотекарь Николай Петрович Попов, под шапочкой спрятавший длинные седоватые волосы. При ответах на вопросы пришлось упомянуть кое-что из глубины веков. Книгами интересовались на русской земле с десятого века, если вспомнить Киев. Чудов монастырь здесь основан в 1365 году. В нем был центр книгопечатания, в семнадцатом — греко-латинское училище.

Патриаршую создавал Филарет, патриарх российский, в миру Федор. Он приехал в Смоленск на переговоры с поляками...

— Вспоминается что-то из гимназии, — Ленин листал страницы рукописи. — Мне легко давалась история. Переговоры с Польшей затянулись, создалась такая военная обстановка, что послы наши были арестованы, и Филарет пробыл в плену около десяти лет. Не ошибаюсь? Нет? Помнится. Проживал он там в доме Сапеги и даже именовался митрополитом Руси. А вот, на кого обменяли, уже и забыл, где-то за Вязьмой...

— Обменяли на польского полковника, дай бог памяти. Не имеет значения. Десять лет пленный там читал, учился, привез в Москву большую библиотеку. Возобновил типографию на Никольской, на старом печатном дворе, тут и было положено начало типографской библиотеке. При Филарете выпустили много изданий, по тем временам, в том числе и полугражданских, полубогословных... Хлопотали патриархи.

— Не сыреют за монастырскими стенами при маленьких окошках? — спросил Владимир Ильич. — Не заводится плесень, грибок?

— Боремся. Проветриваем. Бывают дни просушки. Дезинфекции. Приходилось и утюгом горячим. До монастыря — ханский конюшенный двор. Степные иноходцы сильных кровей.

— Иноходцы? Я с ним познакомился в Сибири. Выносливые. С утра до ночи под седлом, ни шагом, ни рысью, а что-то промежуточное, что ли.

И побегка скорая, и человек в седле не утомляется. Мы берем их в красную кавалерию, а раньше они браковались военным ведомством.

Ленин осторожно листал рыхловатые страницы, вглядываясь

в крючковатые буквы с завитушками, с обликом слов, недоступных пониманию. Попов легко переводил написанное.

— Березовица? Не ошибаюсь? Береза?

— Сок березовый. Парили репой больные ноги, держали их в кадке с березовым соком. Берестянка. Изделие из бересты.

Попов торопился рассказывать о Патриаршей, приподнимая связки на стеллажах. Греческие, славянские рукописи переходили в постоянное ведение патриархов, а патриархи отдавали их в эту обитель.

— Вот евангелие древнейшее...

— Можно поднять обложку? — спросил Ленин. — Евангелие от греческого — добрая весть?

— Да, да... Филарет внес, — Попов жестом указал на полки, — более четырехсот книг и рукописей — по тому времени количество громадное. К нам перевезли сокровища Кирилло-Белозерского, Троицкого монастырей; богатейшие собрания Никона, затребованные со всей Руси в связи с исправлением текстов. Арсений Суханов на одном Афоне приобрел сотни книг. Пополнил нас и Ростов-Великий. В связках Епифаний Славницкий, Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев с его Домостроением. Что еще вам интересно, Владимир Ильич?

— Я бы долго с вами не расставался, но...

— Петр Великий осматривал библиотеку мальчиком. Привел его сюда Зотов, учитель. Они привыкли читать Часослов, Псалтырь, Евангелие. Малому было лет двенадцать, и; понятно, не он, а Зотов от его имени велел разобрать книги, наше богатство, и сделать опись ему. Незадолго до кончины Петра Великого императорским указом велено было собрать из всех епархий и монастырей летописи в Патриаршую библиотеку. Она враз выросла до потолка, разместились в пустых кельях.

С порога Ленин сказал:

— Я еще как-нибудь загляну к вам. Будьте здоровы. Мрачновато все-таки здесь.

Пролетел слух: Ленин пообещал переселить Патриаршую из монастыря к большим окнам, на сквозняки.

— Не было такого разговора, — повторял Попов, но слух держался.

Из Кремля начали постепенно выселять жителей, некоторые учреждения, как бы не выставили и Патриаршую. Ленин где-то, между прочим, сказал, что ему лично Патриаршая не мешает в Кремле, другой разговор — удобства для читателей.

Ленин зашел в Патриаршую второй раз, как известно, в отличный майский день, прогуливаясь поблизости от здания Совнаркома. Пожал руку Попова и, между прочим, спросил, что из себя представляет Мстиславово евангелие.

Попов насторожился, лоб его стал влажным от пота. Мсти-

славец Петр Тимофеевич, вместе с Иваном Федоровым, основатель первой русской типографии в Москве, автор первой книги на русском языке «Деяния и послания апостольские», вынужден был уйти в Литву и в селе основать типографию, а затем с ней переехать в Вильно, в котором он издал «Четвероевангелие» и множество других книг.

— Владимир Ильич, догадываюсь. Оружейная палата просит Мстиславово евангелие. Не отдадим, пока я здесь. Гибель нашу почуяли. Попы присватывались к греческим рукописям. Сами на ладан дышат. Приходил библиограф: передайте то-то и то-то университету, дескать так и так вас похоронят, а то и, в лучшем случае, разбросают по разным точкам.

— Позвольте, Николай Петрович, по-моему, не собираются вас хоронить. Знал бы я.

— Показать вам то евангелие?

— А далековато оно? — Ленин прикоснулся к шершавому стеллажу, заметно изъеденному пилитьщиком сосновым.

— Не близко, но достанем скоро. Там еще любопытная рукопись...

Попову не хотелось расставаться с Лениным, и он торопливо стал рассказывать об истории библиотек на Руси: сперва они были монастырские из книг и рукописей религиозного содержания, потом завелись у бояр, по дворянским гнездам, у придворных чиновников...

Ленин, после двух-трех минут молчания, улыбнулся и посмотрел на свои карманные часы.

— Извините. Ждут меня.

Библиотекари Патриаршей, обсуждая короткий разговор с Владимиром Ильичем, вспомнили заметки его «О задачах Публичной библиотеки в Петрограде». В ноябре семнадцатого, т. е. в первые дни Советской власти, Ленин потребовал, чтобы читальный зал был открыт «ежедневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера». Это требование Ильича было вызвано возмутительным решением саботажников «временно закрыть для занятий читальную залу и отделения библиотеки...». Нашлись саботажники и в библиотеке Академии наук, да и в Москве появлялись они. Началом преобразований в научных библиотеках, борьбы с саботажниками стало заседание Совнаркома 26 апреля под председательством В. И. Ленина, на котором рассматривались вопросы организации Центрального управления архивами и библиотеками, а также о создании архива и библиотеки истории революционного движения в России.

Николай Петрович сказал своим помощникам:

— По всем видимостям он друг нам.

\* \* \*

Застегнутый наглухо, сдерживая волнение, Брюсов вошел в большую приемную с высокими окнами бывшего лица на Остоженку. Длинный стол, покрытый зеленым сукном. Четверо ждут приема. Присел. Еще десять незанятых стульев. Зеркало. В очереди — приезжие из Тулы, Калуги, Коломны, Ярославля, они переговаривались вполголоса, упоминая свои заботы. Томительно время тянулось. Минут через сорок — вторая маленькая приемная. Стол, диван с ящиками, снова — зеленое сукно, четыре стула, кресло... Толстяк искал бумагу в портфеле, отражаясь в громадном зеркале. Брюсов подумал: «Обстановка осталась от вчерашней России... И тот же чиновник...»

Покровский, среднего роста, суховатый, в очках с толстыми стеклами, поднялся за столом, приглашая Брюсова сесть в одно из двух кресел. Брюсов занял стул, бегло глянул на солидный шкаф с книгами.

Замнаркома про себя вспомнил вчерашний разговор с Луначарским о Брюсове: знаменитый поэт, к удивлению многих, сразу принял революцию и пошел служить ей на фронте культурного строительства.

— Мы с вами встречались, Валерий Яковлевич, по делам Книжной палаты в Совете Народных Комиссаров Московской области, — напомнил Покровский.

— Да, и была еще встреча: поспорили о структуре научных учреждений, — Брюсов немного волновался и слегка картавил. — Меня упрекнули вы в академизме излишнем.

Покровский рассмеялся и сказал, что сам он до девяносто пятого был «совершенно академическим» со всем тем, что почерпнул на лекциях любимых профессоров, «насквозь буржуазных». Ведь он занял кафедру, кресло, с которого только что поднялся не кто иной, как Павел Николаевич Милюков. Кадет. Министр иностранных дел во Временном... В эмиграции Милюков будто бы вспоминает Покровского, его первую самостоятельную лекцию, посвященную Киево-Печерскому литературно-церковному памятнику тринадцатого века. Пришлось поработать в Патриаршей и Синодальной. В Патриаршей он встретился с одним из первых переводов на Руси «Истории Иудейской войны», названной «Повестью о полонении Иерусалима», увлек его сборник «Великое зеркало», переведенный с польского, а на польский — со средневековой латыни. Филарету спасибо.

— Занимался и я в Патриаршей, — сказал Брюсов. — Она полнее всех в церковно-славянском мире, а библиотекарь ее, Попов Николай Петрович, редкая личность, тысячи точных справок. Волосатый мудрец.

Покровский сказал, что теперь не просто сходить в Патри-

аршую: в Кремлевский двор обычных граждан пускают по заверенным спискам — кто, по какой надобности, в какое учреждение. А иначе и нельзя! Одни глазают на памятники, а другие высматривают дорожки, по которым Ленин ходит на прогулки по вечерам...

Покровский, протирая платком очки, добавил: есть наметка — убрать Патриаршую из Кремля, а Синодальную — с Никольской.

— Не просто переселить две древних библиотеки, — заметил Брюсов.

Покровский согласился и спросил Брюсова, занимается ли тот дома по вечерам, после напряженной работы в учреждении.

— Пишу немного. Старая привычка. Да поэты и пригодятся, — Брюсов скуповато улыбнулся.

Покровский, облокотившись о стол, вспоминал не столь уж давнее время. В сентябре Москворецкий райком партии выдал ему партийный билет члена РСДРП с 1905 года.

Меньшевики в Совдепе захватили в семнадцатом руководящие посты, не хотели вооружать рабочих, высказывались против создания Красной гвардии. В сентябре удалось потеснить меньшевиков и эсэров и на заседании Совдепа утвердить устав Красной гвардии. Покровскому припомнились большевистские резолюции. Боевой была газета «Известия Московского военно-революционного комитета». Напряженно работали члены редакции, неподалеку от которых, в том же зале на Малой Серпуховской, «штабелями стояли» винтовки. Он там оставался ночевать. Ходил в дружине, привыкал к лязгу винтовочных затворов, готовился к бою, досадуя на свою близорукость.

Вооруженное восстание в Москве победило. Покровского назначили комиссаром по иностранным делам, он устанавливал взаимоотношения с консулами иностранных государств, ему были поручены вопросы печати, издательств. Затем он — первый председатель Совета Народных Комиссаров Московской области, в мае это учреждение ликвидируется и председатель становится членом Совета Народных Комиссаров Республики, заместителем наркома по просвещению. Он сказал Брюсову:

— Про вас что говорить! Глава школы символистов, мыслящий, знаменитый, имя в отечественной культуре, а меня история-матушка из будущего — метлой...

— Да что вы, Михаил Николаевич, верный сподвижник Ленина, автор...

— Хотя вполне возможно, — махнул рукой, — лет через сто, на завершающем этапе строительства коммунизма, в длинных списках упомянут и Покровского, а инициалы перепутают, — он рассмеялся. — Короткие минуты после каторжного дня нахожу для истории. Сняты другие века. Упомянул я об этом при разговоре с Владимиром Ильичем, а он вдруг начал хвалить меня: ученый, историк, с головой ушел в практику революционной борьбы,



стал в ряды восставшего пролетариата, своими руками взялся за коренную ломку государственного аппарата... Сейчас пока, говорит, интереснее профессору делать революцию, чем писать о ней. Поддержал его и Бонч-Бруевич, тут же был. И вас мы пригласили на весьма важное дело.

Заботы Брюсова — собирание брошенных библиотек, подготовка инструкций, проектов, декретов, с которыми будет по пунктам знакомиться Ленин.

— Сам? — удивился Брюсов. — Ленин?

— Да, Владимир Ильич занимается культурой. Журналист взыскательный. Нас правит. Попадете и вы под его руку в проектах. Не терпит лишних слов.

— Постараюсь. Был редактором.

Историк сказал, что каталог всеобъемлющий начался с Петровской эпохи или, пожалуй, немного пораньше — с патриарха Никона, во время исправления богослужебных книг, рукописей. Знаменитый раскол вытащил на свет печатное и рукописное из всех монастырей.

Брюсов позволил себе не согласиться с Покровским. Библиография у нас возникла раньше. Новгородский архиепископ Макарий в шестнадцатом веке задался целью создать собрание «всех книг, чьомых на Руси», и справился с делом книголюбец знаменитый, подарил России «Великие Четьи-Минеи», двенадцать томов, двадцать семь тысяч страниц. Немалая артель поработала. Своего рода первый сводный каталог.

— Я засиживался в Синодалке у Алексея Алексеевича на Никольской, заглядывал и в Патриаршую.

— Не то, не то, — горячился Покровский, шагая по кабинету, — Четьи-Минеи — это тогдашний Брокгауз и Ефрон. Известен ли вам Викул Ундольский — в России первый по-европейски научный труд библиографа? Чиновник Московского архива министерства юстиции, главный библиотекарь в обществе истории древностей российских, автор многих книг. Он есть в Синодалке! Если мало знакомы с Викулом Михайловичем, то не спорьте. Книги расположены в алфавитном порядке имен авторов... Ундольский — ценнейший материал в истории. Надеюсь, Ключевского уважаем?

— Слушал. Увлекался.

— Вы увлекались, а я ученик Василия Осиповича, — глаза Покровского повлажнели за стеклами очков. — Рекомендую статью Ключевского «Рукописная библиотека Ундольского» в «Православном обозрении» за семидесятый год, — волнуюсь, Покровский перекладывал на столе бумаги, подымался с места. — Замкнут был Ключевский. Палата ума! Нетороплив. Храню стопку тетрадей с записями его лекций. Теперь, грешным делом, приходится кое в чем критиковать учителя.

Покровский отодвинул бумаги, задумался, сказал:

— При всех трудностях издаем его «Русскую историю» в трех частях и «Сказание иностранцев о Московском государстве», «Историю сословий». Старик порадовался бы. Не посмотрели на то, что историк он, в общем, буржуазный. В одиннадцатом умер — мог бы дожить...

Покровскому оставалось познакомиться с анкетой Брюсова для ответственных работников и, с разрешения его, заглянуть в аттестат зрелости поэта, — ведь учились они без малого в одни годы.

«Аттестат зрелости дан сей Брюсову Валерию, православного вероисповедания, купеческому сыну, родившемуся 1 декабря 1873 года в Москве, обучавшемуся с августа 1885 года в частной гимназии Ф. Креймана, с августа 1890 года в Московской частной гимназии Л. И. Поливанова,

во-первых, что на основании наблюдений за все время обучения его в частной гимназии Л. И. Поливанова поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и подготовке уроков, а так же в исполнении письменных работ удовлетворительная, прилежание хорошее и любознательность очень хорошая;

во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания: по Закону Божию отметка, выставленная на педагогическом совете, отличная, по Русскому и Словесности хорошая, по Логике отличная, по Латинскому яз. хорошая, по Греческому яз. хорошая, по Математике отличная, по Истории отличная, по Географии удовлетворительная, по физике отличная, по Космографии отличная, по Французскому яз. отличная, по Немецкому яз. отличная...».

До Октябрьской революции занимался литературой, был редактором различных журналов (литературный отдел «Русской мысли» и др.). С февраля 1917 г. — председатель комиссариата по регистрации печати (впоследствии заведовал Московской Книжной палатой).

Окончил историко-филологический факультет. Член Союза поэтов. Женат. Имеет приемного сына. Неработоспособных членов семьи двое. Адрес: 1-я Мещанская, д. 32, кв. 2, тел.: 1—95—33.

Отношение к воинской повинности. Год призыва — 1895-й. По освидетельствовании признан к военной службе совершенно неспособным, в чем (№ явочной карточки) выдано свидетельство за № 182.

В партиях не состоял, участия в революционном движении до 1917 г. не принимал. Репрессиям за революционную деятельность не подвергался. Судим не был. Наиболее подходящей считает для себя работу лектора.

Покровский откинулся в кресле и, сдвинув очки на лоб, закрыл усталые глаза, припоминая университет. Подумал: «Учился

он лет на пять позже меня. Горький назвал его самым культурным писателем на Руси, и что-то там об энциклопедической образованности. «Весы» — тонкий журнальчик русских символистов, шумная слава, туману было много...»

В кабинет вошла Крупская, соседка на этаже. Покровский упомянул Брюсова. Крупская сомневалась: сможет ли поэт заняться реквизицией книг у богатеев, у царских чиновников — требуются крайние меры принудительного характера.

Покровский сказал: рекомендован Луначарским! Пусть, мол, знают: именно Брюсов собирает книги! Еще студентом его выбрали в действительные члены Русского библиографического общества при Московском университете — факт небывалый. Студент сел за один стол с учеными, с докладом выступил. Ему бы поручить переселение Патриаршей и Синодалки.

— В час добрый, — ответила Крупская. — Мне передавали: Луначарский и Брюсов по латыни состязаются. Встретятся — водой не разольешь. Посмотрим его в работе... Нельзя откладывать сбор книг. Идут письма... В деревнях библиотеки нужны...

— Я воздержался сказать ему о жестковатой реквизиции, потом втянется или уйдет с трудного поста. Начнет с библиотеки лица.

Лицей, в нем размещался Наркомпрос, на Остоженке, 53, состоял из восьми классов гимназических, трех лицейских, с большой программой по древним языкам, с дополнительной — по новым; питомцы его часто посещали лекции Московского университета, даже наравне со студентами держали государственные экзамены в нем... Надо подготовить книги к передаче в начальные, средние школы, в институты.

Через день Покровский пригласил к себе Брюсова. Тот, прямой, в черном пиджаке, застегнутом на все пуговицы, прошагал к столу, слегка поклонился.

— Не раздумали? Не испугались? В мою епархию?

— Нет. Я привык работать.

— Присаживайтесь. Возвращаю вам в целостности и сохранности, — Михаил Николаевич передал Брюсову аттестат. — Дохнуло знакомым. Только у меня по всем — отличные. Закончил с золотой медалью. Что же по географии до тройки спустились? — он рассмеялся.

— Извозчики знают географию, — в тон Покровскому ответил Брюсов. — Довезут по адресу любого недоросля. Бывали увлечения, мешали учиться...

Брюсов приготовился к разговору о своей работе, а Покровскому приятно было вспомнить юность.

— Ваши гимназии — Петровка и Пречистенка, требовался извозчик с Цветного, а моя — на Елоховской, ну, а жили мы — на Каланчевке. Пешочком несколько минут. И отец мой там же

учился. Он? Помощник управляющего Московской таможни, статский советник, а дед — чиновник духовной консистории, в отставку вышел в чине надворного советника, со «святым Владимиром» в петлице, оттого и стал потомственным дворянином. А если докопаться до корней, мы, Покровские, — голосистые попы, дьяконы, дьячки. А ваши? — Михаил Николаевич положил руку на бумаги.

— А у меня один дед из крепостных, выкупился, приобрел в Москве пробочный амбар, — пробки делали, а другой — со стороны мамы, тоже самоучка, но увлекался поэзией, издал книжку «Басни провинциала» — Бакулин.

— Приступим к делу, Валерий Яковлевич...

Вечером о беседе с Покровским Брюсов рассказал супруге.

— Я согласна с тобой заняться книгами. Надоело томиться на переводах. Завариваю покрепче.

Жанна Матвеевна закончила французский пансион Сен-Пьер и Поль в Милютинском переулке Москвы, была гувернанткой в семье Брюсовых и вышла замуж за поэта. Замкнутая, работающая чешка не помнила маму свою. Мать умерла в пути из Праги в Москву — семья переселялась к отцу Матвею Францевичу Рунту, мастеру на заводе братьев Бромлей. Дочери-сиротки Жанна, Мария, Бронислава и Ядвига воспитывались в пансионах.

— Валерий, каменные стены пансиона отгородили меня от людей. Я не знаю Москвы и москвичей. Возьми на Остоженку. Поработаем в библиотеке лица. Не хочешь — не знакомь ни с кем.

Жанна Матвеевна взялась за просмотр, сортировку книг, занимавших высокие полки. С лесенки в библиотеке она сказала:

— Брюсов! Новенькие учебники! В руках не бывали. Ты где?

Ответила Крупская, листавшая книгу.

— Брюсова вызвали. Осторожнее — лесенка разохлась. Покажите, пожалуйста, — она взяла из рук Жанны Матвеевны учебник и назвала себя. — А вы жена Брюсова? Помогаете? Я всю жизнь помогаю Владимиру Ильичу.

Жанна украдкой посматривала на Крупскую. Неужели — пятьдесят? Не видно сединки в ее волосах, легких, пышных, цвета темноватого пепла. Только на переносье две короткие морщины словно бы говорили о годах.

— И я, Надежда Константиновна, помогаю. Тоже полки, шкафы, словари... Машинка.

— Составляйте списки на учебники. Желаю вам успеха, — Крупская ушла.

Отвозили учебники в школу, затем — в университет. При наркомате оставили только маленькую служебную библиотеку. Жанна мечтала снова увидеть Крупскую у книг, но та не появлялась.

На Остоженку, в бывший лицей, на чердак с наклонным потолком, к Брюсову явились книжники и библиотекари, приехавшие из Петрограда. Их было пятеро. Пожилые, в дорогих пиджаках. Отдышались, назвали себя, свои занятия. Едва нашлось место сесть гостям; самый молодой из них, Кудрявцев, лет сорока пяти, русый, светлый лицом, сказал:

— Тесновато живете, Валерий Яковлевич, потолочком придавлены, а у нас в академии на Университетской набережной раздолье. Надо бы в Питере оставить книжный центр. Петроградская публичная по числу томов уступает только Лондонской и Парижской. Да и комитету государственных библиотек быть бы на берегах Невы.

— Не я решаю. Обращайтесь к Луначарскому.

— А вы подсказать могли бы.

Брюсов напомнил. Москва основала петроградское знаменитое хранилище книг. Кудрявцев согласился, но сказал:

— Тем не менее Питер обогнал Москву. Мы явились за вашей поддержкой. Где быть комитету научных библиотек? Перезезжать в Москву ученые не собираются. Пожилые, а то и старички...

— Понял. Не спорю. Петроград — звучит! Но сердце России здесь, и как бы сама Академия наук через годы не запросилась в Москву.

Петроградцы посмеялись, назвали Брюсова наивным. Кудрявцев сказал:

— Столицы еще потянутся силами... А об Академии наук и речи не может быть.

Петроградец академик Бартольд сердился:

— Могло быть и хуже! Луначарские, Покровские, Брюсовы поберегут культуру, а то ведь могла бы в Наркомпрос ворваться орда Батыя, шубы снимали бы с нас в разгар зимы. Бывало. И случается в провинциях.

\* \* \*

Валерий Яковлевич любовался привезенными книгами во двор на Остоженку. Мефодий пришел в Великую Моравию, язычники начали креститься. Брюсов сказал помощнику, что слабо знаком с началом славянской письменности и взял бы эту книгу на время, если бы это не было дурным примером. И со второй не хотелось расставаться. Вот ее титульный лист: «*Полное собрание всех до ныне переведенных на Российский язык, и в печать изданных сочинений г. ВОЛЬТЕРА второе издание съ поправлениемъ противъ прежнихъ и съ присовокуплениемъ жизни сего знаменитого писателя, и многихъ вновь переведенныхъ его сочинений, кои никогда еще изданы не были. Часть I. Собрано и издано И. Р. Печатано с указанного дозволения в городе Козлове 1791 года.*»

К возу подошел Попов Николай Петрович, глава Патриаршей библиотеки, погладил титульный лист издания Ивана Егоровича Рахманинова, поклонника Вольтера. Рахманинов перевез свою типографию из Петербурга в деревню под город Козлов.

— У нас в Патриаршей ее нет, — сказал Попов. — Сама Екатерина под старость забыла Вольтера.

— Записывайтесь, — ответил Брюсов. — Одна из первых моих обязанностей: пополнять научные библиотеки. Мы вам ее отдадим в Патриаршую.

— Спасибо. А о славянской письменности Мефодия — мы вам. В обмен.

— Как вам живется?

— Идем по прежнему пути. Разговоры о переселении как будто затихли. Ленин во дворе ответил на мое приветствие. Помнит.

Отдельно складывали привезенные учебники: в них особая нужда во всей республике.

Часом позже, когда остались вдвоем с Брюсовым, Покровский спросил его:

— Ваша сестра у нас в музыкальном отделе? Надежда Яковлевна?

— Да. Три сестры и все с музыкой связались. А Надежда известный теоретик.

— В музыке полемика, — сказал Покровский. — И тут нужна советская политика. Споры о реформе музыкального образования. Шумные! Уши прожужжали мне. Перспективное планирование музыкального строительства! Так и сказано в бумаге. Вот бюрократы! — Покровский усмехнулся. — Шли бы они к Луначарскому — его епархия.

Покровский рассказал, как трудно Луначарскому было заставить Публичную библиотеку отдать коран Османа председателю съезда мусульман Петроградского национального округа Усману Токумбетову, который недавно был в Москве с разговором о старинной мусульманской литературе.

Усман Токумбетов полагает, будто библиотеки и архивы имеют только историко-культурное значение и должны стоять вне политической жизни. Общее руководство библиотеками в стране находится в ведении внешкольного и библиотечного отделов. Крупская! Книга — это политика.

— Согласен. Коран есть у Попова.

— Не нашел я нужным принять Попова. Чует переселение Патриаршей, а мне отвечать ему рановато. И явился через минуты после моего разговора с Лениным. — Покровский кивнул на телефон. — В Бинагадах — об этом телеграфировал Ленину Шаумян — сгорело девятнадцать вышек. Владимир Ильич расстроен

чрезвычайно. Вывоз в центр нефтяных продуктов уменьшается из месяца в месяц, а в Бинагадах вдруг бедствие с вышками...

— Усилить бы строгости, — сказал Брюсов.

Покровский попросил Валерия Яковлевича засесть дома и подготовить очередной проект кратко, ясно, как это он умеет делать, об охране книг. Читать проект будет Владимир Ильич, а он терпеть не может бюрократическую казенщину в деловых бумагах.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Одним из первых советчиков Брюсова в книжном, библиотечном деле был ученый секретарь Румянцевского музея Анатолий Корнелиевич Виноградов, в будущем автор художественно-библиографических и документальных книг «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Стендаль и его время». Виноградов — сильные, крупные кисти рук, румяные щеки, мягкий голос, глаза серые, словно искрящиеся.

— Приходите в библиотеку хоть завтра, — звал он Брюсова, — я вам покажу редкое. Перед войной вышла в свет моя ученая работа: каталог альдин Румянцевского музея, — глаза Виноградова огоньком вспыхнули: сейчас же хотелось рассказать Брюсову о книгах далеких времен, знаменитой семье венецианских типографов, издателей и ученых эпохи Возрождения. Отличные издания, известные под именем «альдин». Знаком ли Валерий Яковлевич с итальянскими книгами шестнадцатого и семнадцатого веков? Мало? Не видел издания фирмы Альда Мануцио, марка: якорь и дельфин? Римские папы поддерживали издателя своими привилегиями. Династия: отец, сын, внук — дело книжное. Рим и Венеция. Альдины — почти до конца шестнадцатого века. Более девятисот изданий. Много их было в Публичной, у петроградцев, в Москве — меньше. В Патриаршей и Синодальной, кажется, нет.

По узкой лесенке, обложенной недавно привезенными книгами, подымались на очередной полуэтаж. Виноградов, рассуждая, приостанавливался в пути. Есть редкие документы о пожаре Москвы. Возникает картина пребывания наполеоновских войск в сердце России.

— Перед Наполеоном нашего Румянцевского музея здесь еще не было, а Патриаршую перевезли в Вологду. Не знали? Пришлось поторопиться. Едва успели. Наполеон по музеям лошадей держал. От Патриаршей могли остаться рожки да ножки.

— Французы в Москве — тут нужна достоверная правда, фактов побольше, — сказал Брюсов. — И живой бы, народный язык, может быть, из смоленской деревни. Держитесь подальше от нашего брата-символистов, — он рассмеялся, — мы уже сказали последнее слово. Интересны были в ранних стихах на пороге века.

В проходах между штабелями книг находили скамейки, усаживались на минуты, заглядывая в редкостные страницы. Легкий сквознячок пронесил бумажную пыль. Картинками любовались. Лошади! Арабские, бельгийские, шведские, калмыцкие, орловские. Рысаки, скакуны. Брюсов с детских лет с отцом и дедом часто бывал на бегах и скачках. Отец на ипподроме, делая ставки на рысаков, промотал остатки купеческого капитала семьи. Поэт сказал:

— Охота увидеть коня в поле — вчера о лошадях с Есениным говорили. На уме у Сергея табун жеребят и поезд, паровоз...

— Самородок! — согласился Виноградов. — Другой бьется, в библиотеке тонет, а Есенина я и не видел у нас на Моховой. А в Патриаршей он появлялся.

Брюсов любил библиотеку в Румянцевском музее, однако не приходилось ему заглядывать здесь в особое описание различных видов изданий, в те же итальянские фолианты, к разговору о которых Виноградов возвращался не раз.

Высоконько на полке трехтомник Арцыбашева... Нет, не писатель. Писатель Арцыбашев, кстати, был сверстником Брюсова. Речь идет об историке, о его знаменитом труде «Повествование о России». Скептик! Не терпел басен, сомнительных преданий. Основательно критиковал Карамзина. Сам Соловьев, дотошный в документах, высоко ценил Арцыбашева. Не переиздадут злого историка, останется редкостью его трехтомник.

— Зря сбежал талант, — заметил Виноградов.

Утомленный путешествием по музею, Валерий Яковлевич присел на стул и спросил Виноградова, как поживает здесь глава хозяйства князь Василий Дмитриевич Голицын. Здоров ли? Не притесняют ли по службе?

— Уважаем. Выбрали еще руководить нашим профсоюзом, хотя и не полагаются одному, да еще князю, две эти должности. Ему? Шестьдесят второй. Слабоват здоровьем. Друг Попова из Патриаршей.

— Знаю. В домиках во дворе, в пристройках у вас многовато птиц и зверей, кролики...

— Мешают книгам! Заботы лишние. Накорми, напои. И картинная галерея нам ни к чему. Десятки квадратных аршин одно полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Отправить бы его к Третьякову, на руках, что ли, отнести, как святыню, с большой осторожностью.

— Отдать бы домик во дворе у вас под Патриаршую или под Синодалку — отличное место для знаменитостей. Я поговорю с Покровским, а он — с Луначарским.

— Ни в коем случае! Задыхаемся. Помещики и всякие господа при бегстве побросали свои книги, и многое нам подвозят.



Складываем в сараях. Дайте слово — не намекать, а то навсегда поссоримся.

— Клянусь! — Брюсов, улыбаясь, ладонь поднял. — Поищем другое место для сокровищ из Чудова монастыря и с Никольской.

Утром в кармане пиджака, в котором ходил на работу, Брюсов нашел бумажку. Крупные буквы — химическим карандашом: «Предатель! Пошел служить к разбойникам. А еще поэтом когда-то назывался. Мы скоро вернемся. Ты в списке приговоренных к смерти. Тебе полагалось уехать...»

— Отчего ты побледнел? — спросила Жанна.

— Спалось плохо. Лето жаркое. — Брюсов глубоко вздохнул. Весь день он думал о зловещей бумажке: хотелось работать, а грозили смертью. «Посоветоваться бы с кем-то, что ли...»

Подали редчайшую книгу о начале христианства в Абиссинии. Четвертый век!

— А где вы взяли «Абиссинию»? Из чьих рук? Прямо с воза? Из штабеля? Очень интересная. Спасибо.

Кто подкинул записку? Могли — при изъятии книг? В чьей-то квартире. С возом приехал его заместитель, коммунист, демобилизованный из армии по состоянию здоровья. «Этот исключается. У Виноградова подходили ко мне близко. Наверное — там».

С утра заседали. Заместитель Брюсова словно бы прокрался к выходу из зала. Ушел Покровский. Еще двое исчезли. Брюсову и Виноградову не ответил представитель Московского университета, очень молодой Потемкин, сидевший за спиной Виноградова. Не стало и Потемкина. Пролетел шёпот: горит что-то на Никольской, близко от Синодалки...

Председатель, библиограф Лисовский, постучав карандашом о горлышко графина, заговорил об унижительном состоянии человека, не умеющего читать и писать. В первый советский, может быть, самый трудный год, как бы ни урезались статьи бюджета, — расходы на просвещение стали гордостью и славой народа. Рабочие и крестьяне об этом не забудут.

Что случилось? Пожар? Могла загореться аптека Феррейна в дальнем конце Никольской, у ворот Китай-города.

Виноградов шепнул Брюсову: Феррейн, владелец аптеки, увлекается опытами и в прошлое лето наскочил на взрыв. Перепугали покупателей. Этот — Владимир Карлович, а отец его, Карл Августович, тоже фармацевт, на Большой Полянке торговал менее удачно; кстати, и дед, провизор, имел свой магазинчик в Москве. Издавали журнал «Фармацевтический вестник». Пожар в лаборатории при аптеке мог быть и сейчас.

— Ну и память у вас!

— Архивы! Тсс... Анри Бейль, он же и писатель Стендаль, посещал первого Феррейна, тот лечил наполеоновских офицеров.

Бейль покупал книги у Спасских ворот Кремля. У ворот, как гвоздями прибитый, торговал книжками Игнатий Ферапонтович Ферапонтов. Москва горит, а Ферапонтов продает фолианты на французском, на польском. Брали. Жаден был старик. Наполеона видел. Офицеры стосковались по книгам...

Под вечер возвратились Покровский, Кудрявцев, Потемкин, другие. Упомянуло пожар во дворе на Никольской.

В зале мало-помалу за дело взялись члены комитета научных библиотек — москвичи и петроградцы. Утвердили устав комитета. Выражение «Румянцевский публичный музей» заменили — «Библиотека публичного Румянцевского музея». Снова заспорили: где быть комитету — в Москве или Петрограде. Покровский сказал: комитет при наркомате займется разработкой и проведением в жизнь мероприятий, касающихся всех библиотек России, — быть ему в Москве. Но почему не в Петрограде? Петроградцы отлично справятся с делом! Там и библиотеки крупнее московских и больше их. А так ли? Покровский перечислил с десятка московских книгохранилищ, в особенности — древних, по монастырям. Он сказал:

— Наркомат здесь, а руководство там? Не получится!

— Но было постановление, — ответил Кудрявцев, — голосовали. Тогда только трое за то, чтобы комитет находился в Москве, а девять — за Петроград. Михаил Николаевич, вы еще надели вторые очки после голосования, а потом уронили их. Не сразу бы у Петрограда отнимать все на свете.

— Помню, как же. Брюсов, типичнейший москвич, на одном факультете со мной и почти в одно время, за вас проголосовал, чем и ошарашил меня.

Но, как известно, обстоятельства меняются. Наркомпрос полностью переезжает в Москву. И бесповоротно!

Брюсов поднял руку.

— Сегодня за Москву голосую.

Виноградов шепнул другу:

— Придумали — пожар на Никольской. На пожар первым не вызвали бы Покровского. Что-то, где-то другое...

Лисовский спросил Покровского, скоро ли будет в стране побольше бумаги, тот ответил, что на днях организован комитет по делам бумажной промышленности, но бумага прежде всего понадобится для выпуска новых денег наркоматом... Учебники.

Поднялся Брюсов, он кратко рассказал о чрезвычайно важных трудах Лисовского и попросил отметить в постановлении необходимость переиздания книги Николая Михайловича «Библиография русской периодической печати». В названной книге, начиная с восемнадцатого века, список доведен до двадцатого и в рукописи составлен до девятьсот пятнадцатого года. Переиздать книгу с добавлением — недорогое дело. С Брюсовым не только

все согласились, но руки дружно подняли, после чего Лисовский раскланялся с почетным собранием.

Утром в Наркомпросе не было Покровского, Крупской, культпросветчика Лебедева-Полянского, любителя посидеть в кресле до полудня. Тишина в коридорах.

Разнесся слух: в Москве убит немецкий посол Мирбах. Мирбах убит эсером — это сигнал к мятежу, к боям.

Брюсов зашел к секретарю Покровского, тот суховаато сказал: каждый должен быть на своем месте и заниматься своим делом.

Валерий Яковлевич заглянул в соседнюю комнату, надеясь услышать новости. Женщины беседовали с мальчиком лет десяти. Это был сын Покровского Юрочка. Нежное личико, голубая курточка, белая панамка. Мальчик почти не говорил по-русски. Детство малыша — Париж, Швейцария, недавно привезли его из Женевы: мама все-таки осталась в Женеве до осени — секретарем Советской миссии. И мама плакала, и он плакал, когда расставались. В Москве он скучает — совсем один.

— Мадмуазель Остошенке скажаль: скоро из пушек папхнут. Я попежаль к папá... Ной папá, ной тетя Надя, — он говорил о Крупской, называя ее милой и доброй.

Брюсов заговорил по-французски, и Юрочка, довольный, пожаловался на мальчишек с Пречистенского бульвара: грубые, только русский знают... И все-таки в Москве лучше жить, чем где-то.

Валерий Яковлевич поднялся к своему столу. Сам услышал: где-то пушки бьют. Раз, два... Промчались три грузовика с вооруженными. Он подумал: «Я бы взялся за оружие, и возьмусь, если потребуется. Коммунисты не собираются уничтожать культуру. Луначарский, Крупская, Покровский — лучшие из лучших. Я — с ними. Вранье разносится.» Он готов был сделать что-то решительное. Вспомнились свои строки: «Встаю, иду, борюсь неутомимо! Моя душа всегда огнем палима...»

Вечером успокаивал Жанну: мятеж подавлен, да он и не касался научных библиотек. Брюсов взял со стола газету: что-то подчеркнуто? Жанна ответила:

— Попала на глаза заметка о сельской жизни. У знакомой родственники в деревне. «Бедноту» выписывают. Для меня подчеркнула.

Валерий Яковлевич ужинал, похваливая котлеты, гарнир к ним. Жанна прочитала ему сообщение о новых хозяевах земли. В Ефремовском уезде Тульской губернии, в деревне Турки помещицей земли отошло крестьянам 1900 десятин, а в деревне Сергеевка — 7600 десятин.

— Валя, это много на русских полях?

— Я сам плохо разбираюсь. Засеяли?

— Колосятся яровые. А озимые созревают. Удивительные

события, — Жанна задумалась. — Которые пашут, тем и поля отдают. Мало знаю Россию... Цветет картофель у нас во дворике. Пospела черная смородина... Я бы поехала на уборку. Зовут горожан...

— Там нужны умелые руки.

\* \* \*

Заехал к Брюсову, на Мещанскую, Андрей Белый, давний ученик, друг, написавший в одной из своих статей о Валерии Яковлевиче: «Брюсов не только явил красоту своей музыки, но и вернул нам поэзию отечественную»; «Только такие поэты спасают прошлое от обветшания...» По признанию Белого, Брюсов был для него «воспитатель вкуса и учитель стихотворения». Сказано все это лет десять назад. Между ними дружба поостыла, пути-дороги, правда, не разошлись, но и не сплетаются, как прежде.

Белый низко поклонился Жанне Матвеевне, поцеловал руку, похвалил погоду; суетливый, ни минуты не находящий себе места, он пробежал по комнате танцующей походкой, остановился у длинного стола, за которым прежде немало сидело поэтов, писателей, не однажды и он читал за ним свои стихи.

— Над вами смеются, извините... Грузчик в Наркомпросе.

— Боря! Поссоримся. Вы не увидели революцию и не поняли.

— Валерий, я увидел ее, как буревую стихию, в столбах огня. Бомба! Лирику затопчут. Фронт со всех сторон. Восстания. Голод. А вы дышали изяществом! Забудется ли ваша магия слова:

Слышу, слышу, шаг твой нежный.  
Шаг твой слышу за собой...

— К магии когда-нибудь вернемся, — сказал Брюсов, — но сегодня мы наводим порядок с книгами. Кто их читал? Одиночки! А ныне миллионы листают страницы, встретятся и с нашими стихами. Новая эпоха наступает!

— Цирк! — Белый усмехнулся, — болезни, цепи, стихия бездельников. Убьют, Валя! Отойдите в сторонку.

— Боря, не повторяйте сплетни... Справимся. Читателей подымаются миллионы. Спокойнее... — И добавил миролюбиво: — Попьем чайку. Стихи твои послушаем.

Белому вспомнились давние встречи. Уютно бывало у Брюсовых в купеческом доме на Цветном бульваре. Здесь, на Мещанской, тоже не скучали, однако и потолки тут пониже, и темновато, а главное, милых старичков нет! Годы бегут. Белый взмахнул руками. Брюсов не впервые подумал: бывший друг его, мастер запутывать отношения между людьми, кажется, загрустил.

— А где же глубины вашей духовной жизни? — спросил

Белый. — Валерий Яковлевич, многоуважаемый, я не отказываюсь от будущего. Но где оно? Каким видится? Не поделят власть правые с левыми, левые с правыми... Помните, какой далекой казалась нам революция? И что дал первый год ее?

— Еще нет года, — ответил Брюсов, — это малый срок для большого события.

Белый сказал, что не политик он, да и поэты не должны быть политиками, он вестник русской культуры, которая вместе с культурами других наций золотым куполом украшает все народы, делает их братьями. Социализм? Совдепы? Возможно, есть во всем этом живучее ядро, но у того ядра нет нравственной оболочки, красоты, увлекающих идеалов. — Уйдите! Вернитесь в поэзию. К истории.

Брюсовы похвалили новое стихотворение Белого. Выслушали отрывки из поэмы, переглянулись.

— Опять Христос, — Валерий Яковлевич поморщился. — Не дает вам покоя Блок.

Белый не согласился. Поспорили. Жанна Матвеевна заговорила о книгах.

Белый воскликнул:

— Присылайте ко мне ломового. Воз математики отцовской отдам! На всех языках, со всей Европы! Собирал отец...

Жанна Матвеевна, проводив гостя, развела руками.

— Как с ума спятил Боренька...

— А он всегда был таким, — Брюсов зашагал по комнате. — Неукротимый темперамент, взвинченная натура... Бывало, по двадцать раз переделывал стихотворение, пока окончательно не испортит его. А то начнет портить у товарища...

— Валя, успокойся. Посиди у окна — свежий воздух, прошла гроза. Туча за Кремлем уже где-то. Вода согрета, помойся и уснешь крепко. Поэты не переведутся!

— Позвал бы послушать Крупскую. Что у меня в Москве? Французский пансионат, гувернантка... Надя, — она говорила о сестре Брюсова, — запросто встречается с Покровским, знаменитые музыканты ее друзья, а у меня переводы, кухня, очереди, будь они прокляты, сказать прямо. Принес бы статью Крупской. Как она пишет?

— Педагог! Пишет ясно и кратко. У профессоров часто наукообразный, усложненный язык, иные — словечка живого не вымолвят, а она легко читается. Но есть, я полагаю, надуманная обычность ее выражений при разговоре: «запрягают во всякие комиссии», «толчея», «статьяшки», «подрядили меня» — простота нарочитая. Превосходную речь сказала о библиотеках в гуще народной... — он мыл голову.

— Я пошла бы на завод, туда, где мастером был мой папа. А что ты улыбаешься? Я не боюсь работы...

— И я на работе вырос, но теперь не ценят мою строгую чеканку стиха, бранят за вычурность, риторику...

— Валя, послушай все-таки Белого. Отчасти! Ему бы гусли или крылья.

— Если бы я помог спасти Синодальную и Патриаршую, редкие книги, я благословил бы свой приход в Наркомпрос.

Днем в ящике письменного стола нашел очередную бумажку: жди смертную казнь! Намалеван череп, скрещенные кости. Брюсов подумал: «Ты жди, а я умирать не собираюсь...» И все-таки не работалось. Ушел на Никольскую — в Синодальную библиотеку.

\* \* \*

Покровский заверял собравшихся: наши библиотеки не только будут доступны каждому, но даже специальные вагоны, целые поезда начнут развозить книги и газеты читателям. По селам, деревням.

Виноградов шепнул Брюсову:

— Не верю в поезда с книгами. Фантазеров много...

Николай Петрович из Патриаршей вскопчил:

— По щучьему велению начинается благоденственная Аркадия — страна счастливых пастухов. Врать учимся! Жили-были, за столетия устоялось государство, и вдруг — поезда с книгами... Патриаршая поехала в Сибирь. А в Среднюю Азию вторглись английские войска. Нужны пулеметы, винтовки, а не поезда с книгами...

Кто-то крикнул:

— Остановите умника! Прикусил бы язык, гражданин Попов...

Лисовский постучал карандашом о горлышко графина, попросил соблюдать тишину и не уклоняться от главной темы.

Покровский повысил голос. Наладят скоро по-европейски обмен книгами не только в государственном масштабе, но и в мировом. Через Германию уже есть возможность получать литературу изо всех государств. Покровский указал на необходимость обширной мобилизации книг, сделать бы книжный фонд государства подвижным, по примеру Америки. Кстати, там в 1723 году был составлен первый печатный каталог на фонд библиотеки Гарвардского колледжа по алфавиту авторов. Библиотека стала подвижной.

Не успокаивался Попов. Из Гарварда книги повезли желающим читать, а у нас в те годы по монастырским библиотекам сидели монахи. Постигался Часослов, Псалтырь, учились писать по-латыни. Риторика, богословие... Попова остановили: а царь Грозный, князь Курбский — это не русская грамота? А что Грозный? Тамошние вельможи Иван Шереметев, Иван Чеботов «гра-

моте не умели». Попов назвал с десяток правителей в государстве, которые не только сами не выучились кое-как по складам дознаваться до печатных слов, но и другим не велели, «страшая их помешательством ума и ересями». Пусть приказные учатся и духовное сословие. Попова попросили говорить о Патриаршей. А что о ней говорить? О Патриаршей всю жизнь помнил и заботился Петр Великий, для него напечатали каталог рукописей и книг этой библиотеки, он справлялся, кто из «добрых робят» ходит в нее заниматься. Петр Алексеевич Патриаршую называл драгоценнейшей...

— Прекратите, Попов! — воскликнул петроградец Кудрявцев. — Сейчас опять назовете Петра новым Птоломеем, древним всезнайцем...

Покровский вернулся к рассуждениям о скорой перевозке и пересылке любых книг, ему с дальнего ряда громко крикнули:

— Ванька из Соли Вычегодской затребует сочинения Цицерона...

— Пошлем Ваньке Цицерона! — отозвался Кудрявцев, довольный смехом аудитории. — Набирайся, Ванька, премудростей. — И добавил: — Ванька — сила народная.

— Да он Цицерона искрутит на цыгарки! — сказал Попов. — Бумага тонкая.

— Жарко, — шепнул Виноградов Брюсову, — и от речей, и от июльского солнышка. По Руси мужики сено убирают. Нынче и попы косят. Медом в лугах пахнет. Москва, между прочим, на военном положении. Патрули.

Сидевший за спиной Виноградова бородатый представитель Вольно-экономического общества из Петрограда, молчавший до сей поры, полушепотом сказал Виноградову, что сено скошено, в стога метают. Рожь уродилась. А с библиотеками одна морока ожидается и чего тут мудрить? В Питере и в Москве помаленьку утрясется, а в провинциях губернские тон зададут, далее — уездные, волостные, сельские — по цепочке, а передвижки на телегах — выдумка. Ваньке не давать Цицерона. Буквари требуются!

Заспорили. Сердились. Луначарский будто бы Петроград считает книжным центром, а Ленин — Москву. Бартольд сказал:

— Что еще за централизация? Зачем нам в культуре вавилонские башни?

Покровский жестом остановил спорщиков.

— Я скорее всего неудачно выразился, — сказал он, — вовсе не значит, что петроградцы будут отодвинуты. Взять подлинный храм — Академию наук на Васильевском острове или вашу Публичную...

Глуховатый Бартольд крикнул:

— Нужна комиссия! Авторитетная! Долой башни!

— Комиссии? Подкомиссии? — Покровский рассмеялся. —

При Публичной у вас в комиссии сорок пять заинтересованных, а толку мало.

Глуховатый Бартольд не переставал говорить и не исчезала с его лица любезная улыбка. Он не слышал, о чем его спрашивают, и был, по-видимому, уверен, что речь представителя библиотеки Академии наук каждому интересна. Виноградов сказал Брюсову:

— Академик Бартольд — история Средней Азии. Автор многих трудов. Он убежден, Петроград охотно возьмет Патриаршую, во дворец поместит. Мы согласны.

— Был где-то разговор, — ответил Брюсов. — Едва ли Москва отдаст. Если только выскажется важная персона. Тогда Попов обратится к Бонч-Бруевичу, а тот — к Ленину. Попов, я думаю, поедет скорее с Патриаршей в Лавру, в Сергиев Посад. Шестидесят верст от Москвы, сквознячки с поля. Поубавится охотников бывать в его хранилище.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Покровский поднялся с места, сказал Брюсову:

— Советовались мы — Луначарский, Крупская, другие. Решили вас попросить заняться переселением Патриаршей и Синодалки. Минутку! Могут поднять шум, крик, если, допустим, за переселение возьмется артель пролетарских писателей или молодцы из Пролеткульта... А пришел в Патриаршую Брюсов со своими помощниками...

— Куда перевозить? И как скоро?

— Еще не знаем. Петроград отпадает, лучше — Сергиев Посад. Желательно иметь ее под руками. Особо не торопят, но все же напомнили, тоже считают удачным — вам поручить...

Брюсов признался: многие называют его предателем; собираются повесить. Бумажки!

— И мне подбрасывают, — Покровский усмехнулся. — Петля нарисована. Я подаю руку другу молодости, известному ученому, а он — спиной ко мне. Вчера старый профессор при встрече не ответил на поклон, друг Милюкова, кафедру которого занял я в давние времена. И не только не ответил, а щеголяет своим презрением. Длинный, тяжелый, несет себя, как облупленную колокольню.

Брюсов, коснувшись бородки, сказал, что вся эта глухая враждебность хорошо знакома ему; не называя имен, он упомянул горячие перепалки с бывшими друзьями.

Покровский ответил:

— Меня уверяли: из-за корыстных соображений Брюсов переметнулся к большевикам. Какие же, спрашиваю, у него корыстные соображения? Деньги? Он поэт, редактор, составитель,



у него большие сборы при выступлениях. Паек получает, как писатель.

Покровский попросил Брюсова готовиться к заседанию коллегии Наркомпроса — пойдет речь о передаче государству книжных собраний, рукописей, гравюр, литографий, документов антиквариата по магазинам частников, по их складам и, по-видимому, на квартирах. Добавится врагов.

— Понял давно.

— Литературу не забывайте.

— Сочиняю в трамвае, на улице, приду домой и скорее — за перо. Тянет к стихам и к прозе. Сбежать не решаюсь...

— А кем я заменю вас в епархии? Редчайшая должность! Именно — в первый год после революции? Из верхушки интеллигенции многие вам верят. Сам Ленин одобрил проект, подготовленный вами. Давайте уж вместе уйдем, когда настанет время: вы — к стихам, а я — к архивам, они ждут историка. А с Никольской выселяйте поскорее. Камень с души сваливается. С Алексеем Алексеевичем с Никольской во времена молодости была у нас одна симпатия. Стройная девушка. Он вышел в победители. С этим вам полегче, но с Поповым неприятности могут быть.

Позже принесли Брюсову книг десять новых и старых, в разных переплетах.

Попался Берри на французском. Брюсов разглядел измятую обложку — хроника из пятнадцатого века.

Он с интересом листал книжку, называя Берри библиофилом, вспомнил родной журнал «Весы» — в каждом номере, кажется, повторялись средневековые живописные изображения, взятые из молитвенника, изданного этим неутомимым автором, знакомым со многими выдающимися личностями своего времени. Заметил он в книгах заставки, всяческие украшения малого размера, тонкой работы, на обложках, в начале глав или конце.

Бесшумно появился Андрей Белый; листал Берри.

— Наше с вами, Валя, родное! Незабываемая молодость... — Шепотом торопливо заговорил: — Взята Самара, взял ее иностранный военный корпус. Завтра — Казань захватят, Симбирск. Подымется Сибирь, Дон, пять фронтов... Я не занимаюсь политикой. Нисколько! Но послушали бы вы некоторых поэтов! Случится в чужом пиру смертельное похмелье. Маяковский — голова отчаянная, в тюрьме побывал мальчишка, а вы, орел оцепенелый, выманили в тучу мгlistую... Я спешу. Куда бежать собираетесь?

— Боренька, у каждого свое... Бежать не собираемся.

Пришел глава Синодальной — Алексей Алексеевич, отдышался.

Андрей Белый с порога сказал:

— Запишут в поминальник, за упокой. Скоро заеду.

— Белый? — Алексей Алексеевич кивнул на дверь. — Сует-

лив. Так я и не добился разговора с Покровским. Отмахнулся он и от Синодалки и от Патриаршей. Посылают к Луначарскому, а у Анатолия Васильевича других забот полно, да и наполовину он еще находится в Петрограде. Надежды на вас.

— А если мы вам предложим в городе монастырь?

— С Никольской? От Кремля в монастырь? С дырявой крышей, с мокрым подвалом? Жужелицы, грибок. Почему переселяют?

— Не знаю, что и почему. Стучался во многие двери. Торопят. Монастырь подобрали бы подходящий. Попробую поговорить с Луначарским.

После разговора Брюсова с Луначарским, через несколько дней, меньшую часть Синодальной перевезли на подводах в Исторический музей (рядом!), а большую — в главный архив на Царицынскую пустынную улицу, раскинутую на просторе Девичьего Поля. Брюсов сам усаживался на возы с книгами, на пачки древностей митрополичьих, которые привозились из Константинополя, после посвящения россиянина в высокий сан.

На Девичьем Поле москвичи убрали картофель, лопатами бережно выкапывая его из мягкой, влажной земли. Клубни складывали в кучки, в мешки, в корзины, они подсыхали на бугорке дороги — ровные, гладкие, пахучие. Брюсов глубоко вдыхал сельский воздух, довольный солнышком, небом, даже тряской дорогой.

Нащупал в кармане пиджака бумажку: «Наши скоро захватят Пермь, пойдут в Котлас — это с востока, а из Архангельска продвигаются к Вологде и Котласу. Ударят по Москве! Читаешь сводки в газетах с пяти фронтов? Бежать некуда! Мордой — к стенке, выстрел — в затылок...»

Покровский прочитал бумажку.

— Не тушуйтесь. Небось, мороз по коже? А меня собираются повесить. Петлю опять присылают. Помню, прочитал первую бумажку — в глазах потемнело. А после третьей и, кажется, после пятой — легкое впечатление. Агент банды здесь, у нас на Остоженке. Им до Москвы с любой стороны не добраться. Ну как он там? Переселенец? Далековато? До Царицынской трамвай ходит. Девичье Поле — завтрашний день сердцевины Москвы. Помощника взяли в солдаты? Найдем на бирже... С одним утряслось в нашей епархии. На очереди Попов. Этому добром не кончить, попадет под жернова. Я думаю, он давно на заметке у Лубянки.

Синодальщик, толстоватый, с окладистой бородою, унылый, едва здоровался с Брюсовым.

— Разрубили самую древнюю на Руси. Напрасно взялись за топор.

— Помилуйте, Алексей Алексеевич! В Историческом ваши стеллажи в сторонке. Не тронута связка слов-вариантов в па-

мятников с одиннадцатого по четырнадцатый. Нашелся специалист с интересом к лексике древнерусских книжников. Скажем ему спасибо.

— Рано спасибками разбрасываться! Правда, стеллаж с лексикологией остается при мне. Только бы не случились потери. Жить бы нам и жить на Никольской. Божья кара.

Днями позже они вместе зашли в Исторический музей к полкам, занятым рукописями и книгами, привезенными из Синодалки. За одним окном музея — кремлевская стена, за другим — храм Василия Блаженного. Алексей Алексеевич, настроенный миролюбиво, сказал, что надо бы отметить начало печатания гражданским шрифтом в России — это семьсот пятый год. Дата! В девятьсот пятом, кажется, этой даты не отпраздновали, а ведь — одно из замечательных событий. Об этом юбилее перед пятым заботились в библиографическом обществе.

Брюсов, слушая синодальщика, с улыбкой произнес:

— Отметят в две тысячи пятом юбилей гражданского шрифта в России. Внуки наши отметят. Библиотеки к тем временам увеличатся вдесятеро в счастливой и богатой Москве.

Брюсов подумал о недавно подкинутой бумажке, а собеседник сказал ему:

— Вчера мне один из ваших друзей в прошлом сказал: о чем-де он думает? Брюсов — отличные переводы с любого из европейских, сюжеты — история, мифология, религия... Кованый стих! А пошел к Ванькам...

\* \* \*

Фронт не радовал москвичей: враги со всех сторон приближались к сердцу России. По утрам с попутным ветерком до Мещанской долетали далековатые пушечные выстрелы. Жанна бледнела.

— Из нашего дома семья в деревню уехала. Молчишь, Валя?

— Не умрем раньше времени.

Днем к Жанне Матвеевне приехал Андрей Белый: есть возможность отправить Брюсова за границу. Ночью вывезут без всякой опасности. Обойдется дороговато, но дешевле скорой смерти.

— Скажу ему. — Жанна всплакнула. — А я у сестры останусь.

Вечером Брюсов спокойно выслушал Жанну и посоветовал ей забыть разговор с Андреем Белым.

Одолевали служебные заботы. Ясная, краткая записка Валерия Яковлевича об открытии двух библиотек в Москве передавалась на коллегии из рук в руки. Конечно, согласятся с ним.

— А почему в Москве? — спросила Крупская. — В Ярославле бы или в Туле, там тоже нет современной большой библиотеки.

Кудрявцев, приехавший из Петрограда, тоже задал подобный вопрос. Пополняются библиотеки в Петергофе, в Царском Селе, в Павловске, в Колпино за счет дворцовых, но только не в столице на Неве.

Кудрявцев подчеркнул:

— И по другим губерниям Северной коммуны книг маловато. Ведь кроме Питера в коммуне еще Господин Великий Новгород, с двенадцатого века триста сорок лет столица новгородской республики, Архангельск, Череповец, Псков и другие города с забытыми библиотеками.

— Ваша коммуна, — Покровский хмурился, — вам и заботиться. Открыли бы научную в том же Новгороде на Волхове. Историю забывать начали, а без истории нам не жить...

Виноградов из Румянцевского музея поддержал Брюсова: легко можно бы создать новую народную библиотеку в Москве. Нужна небольшая на иностранных...

— А технические? — спросил Покровский. — Мне уши прожужжали о технических в Москве. Они стихийно возникают при наркоматах, для своих сотрудников. Чисто технические слить бы с профсоюзными. Одно другое дополнит. Голая техника не всех из наркомата обрадует, пусть там художественная не главенствует, а все-таки подай классиков. Судить не берусь о подробностях. Не моя епархия. На иностранных языках открывать рановато, я думаю.

Крупская согласилась с Покровским.

У Брюсова пересохло в горле. Фабричные и заводские библиотеки — не его дело, но мог бы от открыть их, две или три, если бы Крупская заранее сказала о фабричных. Ту же городскую он бы перенес на заводы...

Заседать не хотелось, ну а что же делать, если сошлись и съехались заседать? Вспомнили библиотеку Пушкинского приказа семнадцатого века, книжные собрания горных школ и металлургических заводов Урала, Сибири. Охотно слушали Алексея Алексеевича, который знал десятки подробностей из книжного мира старины.

Покровский рассказал о своей встрече с Лениным и с Надеждой Константиновной в Женеве в девятьсот пятом, а петроградец Кудрявцев, оказалось, точнее его и Крупской знал библиотеку Ленина тех дней. Книги по аграрному вопросу, сельскохозяйственной статистике и кустарной промышленности в России, по философии, праву. Можно было принять хозяина за ученого, из агрономов — собирается он писать историю русского земледелия. А получилось бы! С тех страниц история неурожаев и голодовок сурово глянула бы в лицо самодержавию.

Логика и статистика — стихия Ленина.

Брюсов спросил, куда же дели те женовские книги? Ленин сдал

их в библиотеку РСДРП. Более четырехсот. Крупская готовила к сдаче книги. Уничтожались слабые пометки на страницах. Подновлялись корешки. Много раз Ильичу приходилось расставаться с книгами.

— Попадет ему редкая, нужная — не мешай весь вечер. И от прогулки откажется. Особое чутье на таланты.

Брюсов начал заботы о библиотеке Высшего Совета Народного Хозяйства, основу ее составляли книги бывшего министерства торговли и промышленности, различных комитетов, завозились они из Петрограда. Петроградцы медленно расставались с запасами фондов по технической литературе, вносили предложения об открытии в своем городе инженерной библиотеки. Главнаука с ее отделом библиотек находится в Петрограде рядом с академией.

— Главнаука переезжает к нам, — ответил Брюсов. — Подыскано жилье. И у нас книг по технике скопилось немало, да еще предстоят сборы по республике. Мы не против вашей по технике, но главная в Москве должна быть при Совете Народного Хозяйства.

Луначарский в отдельности выслушал петроградцев и москвичей. При Покровском он сказал Брюсову:

— Валерий Яковлевич, не будем торопиться оголять Питер с его научными силами. Стариков обижаем.

— Жизнь заставляет, Анатолий Васильевич, торопиться. Наркоматы здесь, инженеры к нам переехали, а техническая литература остается там, и там же намерены открыть инженерную библиотеку. Прячутся за вас.

Покровский решительно сказал:

— Мешают! Мешает их коммуна, совет комиссаров. Я бы распустил ту коммуналку, она манит многих вернуться в Петроград. Инженер здесь ютится в уголке, а семья осталась там в просторной квартире. И он ждет первую зацепку — вернуться к семье.

— Наладится, — Луначарский бережно перебирал бумаги. — Переезд наркоматов — событие сложное.

Он одобрял брюсовские хлопоты об открытии в Москве библиотеки на иностранных языках, однако спешить с ее появлением не советовал, более соглашаясь с Крупской, с ее заботами о жизни клубов, изб-читален. Он сказал:

— При случае попробуйте — с маленькой на иностранных, появятся ли читатели. Я бы Цветаеву пригласил верховодить библиотекой, там бы она и своим занималась в тихие часы. Талантлива на диво. И пора бы вам выслушать Патриаршую. Никто не собирается закрывать ее, а слух распускают. Попова будто бы мы связали по рукам и ногам.

Брюсов, после беседы с Луначарским, приветливее, чем в прошлый раз, встретил петроградцев, уступил им, правда, в мелочах; для Цветаевой нашел временный заработок у писателей; Попова

пригласил на очередное заседание наркомпросовцев с рассказом о Патриаршей.

Попов, сутулый, с покатыми плечами, близоруко заглядывал в свою бумажку, переступая у стола с ноги на ногу.

В далеких веках книги не имели титульного листа, на большинстве из них не указывался автор, не всегда имелось заглавие и при составлении их описей (каталогов), отмечались они под первым словом текста. Ленин заинтересовался. Взять описи книг Кирилло-Белозерского монастыря. Заглавия написаны кинovarью и с новых строк, а начальные слова заглавий выделены чернилами. Белозерских памятников книжной старины много в Патриаршей. Николай Петрович похвалил Сопикова В. С., на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков работавшего над каталогом, солидный труд его: «Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на словенском и российском языках от начала заведения типографий». Николай Петрович зачитал слова: «Пространнейшие и многословные, часто нелепые заглавия я почел за нужное сокращать, удерживая в них токмо нужное и существенное, наблюдая при том, чтобы везде был полный смысл, ясное понятие о самой книге».

Виноградов шепотком сказал Брюсову о Попове:

— Задергали деда. Просит монастырь на окраине Москвы. Сухой. Дать бы ему. Я взялся написать Ленину, порвал два черновика...

— Отступите по многим причинам, — шепнул Брюсов. — Покровский избегает встречаться с Поповым, а бумажку на имя Ленина переслали бы Покровскому. Не заметили? Покровский и Крупская появятся, как только закончит свое выступление Попов.

Так и случилось: Попов спрятал бумажки свои, ответил на вопросы; и в зал вошли Покровский и Крупская. Светленькое, простенькое платье, теплая кофта. Брюсов подумал: «Тонка, стройна, причесана гладко... Привычка выступать перед любой аудиторией». Крупская вспомнила порядки в швейцарских библиотеках. Там скоро приносят книгу на занятый тобой столик, а если книги нет, то скажут, почему ее нет и где она имеется. Отличный отдел справок. Или взять Париж. Правда, не просто попасть в библиотеку столицы Франции.

Семен Афанасьевич Венгеров, составитель многотомных словарей по русской литературе, с похвальбой отозвался о библиотеке Парижа, а Покровский, поработавший в ее читальном зале, не согласился с Венгеровым, да еще сослался на Ленина, который не раз повторял, что национальная библиотека в Париже «налажена плохо», в ней несвоевременно составлялись каталоги, мешали перерывы на обеденное время. Там, при записи, требовалось удостоверение от твоего домохозяина, который брал на себя ответственность за аккуратное возвращение книг жильцом. Какой попадетсЯ хозяин! Ленину и Крупской хозяин долго не давал удостоверения из-за того,

что они скромно жили, не обзаводились обстановкой. И Покровский в Париже с трудом добивался выдачи книг ему на руки, ведь мать из Москвы оказывала маленькую помощь, и случалось иметь неказистый вид, жить впроголодь. У нас библиотека доступна каждому, отменены всякие залого.

— Не потерять бы уважение к журналам и книгам, — напомнил Покровский.

— А оно уже замечается, — сказала Крупская, — подогнутые страницы, подчеркивания ногтем и карандашом, даже вырывание листов. — Она обернулась к Попову. — Николай Петрович, выступили бы в газете: народ, береги книги! Сослались бы на охрану в Патриаршей. Луначарского подключили к вашему переселению. Маленько погодите.

— А нельзя ли не переселять?

— Нельзя. Готовьтесь.

\* \* \*

Дома Крупская попросила Владимира Ильича при чтении предполагаемого доклада Брюсова не братья за свое беспощадное перо.

— Постараюсь, — Ленин рассмеялся, — лишит себя удовольствия.

«Государственные и академические библиотеки, — писал Брюсов, — собирающие все печатаемое в России, назначаются не для одного поколения, а для длинного ряда поколений и веков. Было бы преступлением подвергать опасности то собрание книг, которое принадлежит не только нам (нашему поколению), но и нашим потомкам. Между тем при высылке книг, во-первых, они подвергаются опасности гибели (чему недавно был пример) и, во-вторых, быстро изнашиваются. Если пустить широко в оборот книги государственных библиотек, они через пять — восемь лет придут в негодность. Полнота собрания нарушится, и читатели грядущего поколения вправе будут предъявить нынешнему серьезное обвинение в том, что оно ради собственных удобств нарушило существенно их интересы...» Далее Брюсов заботился о читателях тридцатых, сороковых годов и даже упоминал двадцать первый век. «Интересы этой массы будущих читателей нельзя принести в жертву интересам читателей одного поколения».

— Маняша, — обратился Ленин к сестре, — послушай немного, — он зачитал ей строчки из подготовленного Брюсовым докладом. — Каково твое мнение?

— Володя, он во многом прав, — ответила сестра. — Найдутся граждане — из пустого любопытства, от нечего делать, запросят, допустим, «Звездный вестник» Галилея, знаменитого «Колумба неба», а к этой книге и сами-то библиотекари осторожно прикасаются. Посылать ее по почте? Или издания Новикова? Знал бы ты,

сколько приходит писем в «Правду» с жалобами на почту! А сколько писем пропадало в переписке семьи Ульяновых, ни с какой стороны не подозрительных? Бывало, аккуратнее доходили со следами тюремной цензуры, вмешательства полицейских властей.

— Маняша, а что ты вообще думаешь о Брюсове?

— О Брюсове? Он был знаменит в начале века. Не забывается стихотворение «Гимн человеку».

Они согласились с Брюсовым: пусть читатели приезжают к редким, ценным книгам в губерниях и уездах. Центральные, академические книгохранилища в ближайшие годы связать лишь с губернскими библиотеками...

— Володя, не будем вдаваться в подробности, а то, — Мария Ильинична рассмеялась, — от швейцарской системы останется мало. К слову, возникли библиотеки в редакциях «Правды», «Известий», в сотнях учреждений. Едва ли нужны поезда с книгами, вагоны, читалки в поездах...

— А в армии? Подкатить вагон к передовым позициям?

— В армии читают и учатся многие, об этом я сужу по письмам в «Правду», но ты сам знаешь: сегодня в городе красные, завтра — белые, и вагон с книгами пошел под откос или угнали его. В армейских библиотеках свои порядки. И там сперва нужны не книги.

Все же наладить бы книжное дело по типу швейцарских систем. В Публичной и в Румянцевской — такие бы порядки, как в Бриганской.

Брюсов отверг не критическое заимствование заграничного опыта, подчеркнув при этом сегодняшнюю русскую действительность, и предложил мало-мальски хотя бы оборудовать деревенские, волостные библиотеки, удовлетворить местного читателя необходимыми книгами, связать абонементом все библиотеки от малых до великих, образовать одно библиотечное управление при Наркомпросе, но большие библиотеки обособить, как научные центры. Он высоко ставил значение давних библиотек, упомянул Харьковскую, Тамбовскую, Казанскую.

Петроградцы стремились хотя бы наполовину не только заниматься книжным делом в стране, но и управлять им, следить за жизнью научных библиотек, минуя Брюсова, они обращались к Покровскому, к Надежде Константиновне, шли к Луначарскому, когда он бывал в Питере. Крупская затеяла разговор с Лениным: не создать ли во вчерашней столице маленький наркомат библиотек.

Ленин выслушал Крупскую, отложил газету. Наркоматы проглатывают вагоны бумаги. Тысячами возродились чиновники! Подавай кресло, телефон, секретаря.

— Года не прошло! Что же дальше нас ждет? Придется сокращать наркоматы, канцелярскую братию.



Он вернулся к разговору о Брюсове: по мнению Луначарского, поэт займет прочное место в русской культуре. Ленин судить о поэзии не брался, что касается деловых бумаг, то Брюсов готовит неплохие проекты, хотя два из них, не продуманных и Покровским, пришлось вернуть на большую доработку, да отправить в архив одну докладную. Демьян советует принять Брюсова в партию.

— Мысль неплохая! — согласилась Крупская. — Недавно Се-  
рафимовича приняли.

Проект будущего доклада Брюсова Ленин передал в Совнарко-  
ме Бонч-Бруевичу. Закрылись в кабинете управделами, распахнули  
створку окна к закатному солнцу. За крепким чаем вспоминали свою  
давнюю дружбу; трудные издательские дела Бонч-Бруевича, его  
промахи, убытки. Он руководил партийным издательством «Вперед»,  
которое опубликовало свыше тридцати трудов Ленина, да шесть  
книг Владимира Ильича выпустил Бонч-Бруевич в легальном изда-  
тельстве «Жизнь и знание».

— Прочитайте Брюсова. Разное говорят. Не знали его?

— Немного. Ровесники! Я по настоянию отца ушел в Межевой  
институт, а Брюсов — в университет. Стихи его? Некоторые волно-  
вали, заучивались.

Через день Бонч-Бруевич сказал Ленину:

— Я более согласен с Брюсовым в его наметках. Европа нам  
не во всем пример, да еще в книжном деле. И читатель не тот, и чи-  
таем не то... Пожили мы в Европе.

Ленин полушутливо спросил друга:

— Выходит, Брюсов дальше меня видит, правильнее?

— Владимир Ильич, на книгах и библиотеках Брюсов, как  
говорится, собаку съел. Доверим ему.

Крупская согласилась с Бонч-Бруевичем; заговорила вдруг о  
друзьях своей молодости.

— Ты чем-то взволнована? Грустна.

— Да уж не знаю, Володя, говорить или не говорить...

— Что за вопрос? Надюша!

Она получила письмо от Нины Александровны Струве, давней  
подруги, дочери известного педагога Александра Яковлевича Герда,  
сторонника дарвинизма, зачинателя методики преподавания естест-  
вознания. Учебники Герда по естествознанию, труды его по методи-  
ке занятий в начальных и средних школах были прежде настольны-  
ми книгами Крупской.

— Знаю. Помню.

В годы учительской деятельности она и познакомилась с до-  
черью Герда — Ниной, тоже педагогом. Нина была женой Петра  
Бернгардовича Струве, экономиста, философа, теоретика «легально-  
го марксизма», кадета.

— Нина здесь?

Ленин и Струве — непримиримые враги в политических убеж-

денях, но жены их в одно время были учительницами в кружках рабочих по самообразованию, любили погулять вдвоем по петербургской окраине в редкие солнечные дни затяжной осени.

— И я разок побывал с вами!

Эти солнечные дни осени вспомнила в своем письме и Нина. Просьба о помощи. Начали растаскивать богатейшую библиотеку Петра Бернгардовича какие-то подозрительные лица. Удалось передать книги в Политехнический институт, но туда же забрали и рукописи, картины. Дочь просила вернуть ей портрет отца А. Я. Герда, написанный художником Ярошенко.

Кажется, ни о ком из своих противников не писал Ленин так много и часто, как о Струве. Ленин сказал:

— Именовал себя марксистом, а закончил дружбой с Деникиным. Сбежал. Легальная трещотка. И жена вслед уедет.

— Володя, я прошу только о портрете ее отца, — Крупская задержала взгляд на утомленном лице Ленина. — Извини...

На следующий день Ильич послал телеграмму:

«Петроград

Библиотечный отдел Комиссариата народного просвещения  
Заведующему отделом Кудрявцеву

Охраните от расхищения библиотеку Струве, находящуюся в Политехническом институте. Передайте особо ценное в Публичную библиотеку, остальное Политехническому институту. Портрет Герда, работа Ярошенко, подлежит передаче Нине Александровне Струве через директора Политехнического института.

Исполнение телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин».

Кудрявцев при первой же встрече с Брюсовым сказал:

— Отличная телеграмма. И портрет вернули дочери, и оградили ее от многих бедствий. Ленин косвенно помог нам спасти от расхищения и другие библиотеки известных ранее лиц, а у нас этих лиц больше, чем в Москве.

Нина Александровна Струве приехала в Москву повидаться с Крупской, поблагодарить Ленина. Крупская не сразу нашла время встретиться с давней подругой. Пришлось все же, только в наркомате, отыскивать минуты для разговора с женой Петра Струве. Милостивая, моложавая Нина, рассказывая о своей жизни, комкала платок, мокрый от слез. Что делать? У Петра одни убеждения, у нее — другие. Крупская ответила суховаато:

— Решайте сами. Дети, муж... Прошлое не забывается, но мы живем настоящим, а оно разное.

Нина Александровна положила в изящную сумочку мокрый платок.

У Крупской разговор по телефону о бумаге, об учебниках. Ее вызвали к Луначарскому, уехала в Малый Совнарком.

Вечером Ленин выслушал Надежду Константиновну.

— Ты молодец, Наденька. Со многими расстаемся. Струве...  
 — Володя, устала я. Не скрыться ли на уборку урожая? К природе?

— А подготовка школ? Учебный год?

Покровский отправлял группы от наркомата: помогли бы снять и обмолотить урожай в селах, на пашнях экономий, от которых сбежали сельские богачи. Страна заметно избавлялась от голода. Планировалось отсыпать хлеб для прокорма деревенской бедноты, сберечь его и в государственных складах.

Будто бы старый князь Голицын, глава Румянцевского музея, хотел непременно поехать на уборку, чем и развеселил Ленина, хотя Ленин тут же и нахмурился, читая письмо, полученное Крупской из села: перечислялось восемь лентяев, которые не сеяли, не побывали на уборке, но, не стыдясь, получили пшеницу нового урожая за здорово живешь. Подчеркнутые строчки: «Ленин взялся расплодить лентяев, они усядутся ему на шею».

\* \* \*

Покровский, хлопнув ладонью по множеству бумаг, относящихся к библиотекам, спросил Брюсова у себя в кабинете:

— Ваше мнение о переселении Патриаршей? Окончательное?

— Окончательное? Патриаршая — строгое единство по содержанию, как и Синодальная, но помоложе она — собрание деятелей просвещения с конца шестнадцатого и, уже плотно, с начала семнадцатого века. Издавна объединена научными описаниями и каталогами, известными и в Западной Европе. Сама по себе — крупный исторический памятник вместе с Чудовым монастырем. Сохранить бы монастырь и сохранить библиотеку в том виде и порядке, в каком она есть. Не дробить.

Выписка из протокола коллегии Наркомпроса: сообщение М. Н. Покровского о ликвидации Патриаршей библиотеки. Просить библиотечный отдел принять меры к охранению Патриаршей библиотеки, командировать для этой цели В. Я. Брюсова...

Валерий Яковлевич познакомился с протоколом и сказал Покровскому:

— Не о ликвидации бы записать, а о перевозке, как я просил.

— Какая разница? — Покровский подписывал бумаги и не глянул на Брюсова.

— Большая, Михаил Николаевич. Протокол отправляется в архив, а что скажет нам история?

— Вон вы о чем! Разберутся потомки. Не нравится мне ее хозяин. Волосатик Попов. Был малодоступен. Восторгался Временным правительством. На совещаниях — противная улыбочка, ехидство скрытое... Не язык, а змеиное жало.

— А я не заметил ехидства. Суховат, правда.

В этот же день Попов из Патриаршей редкую книгу занес Брюсову:

— У нас три экземпляра этой старушки, — сказал он, — а у вас едва ли... Зорить начнут нас так и так...

— Зорить? Постараемся ваше орлиное гнездо целиком и бережно перенести в сухое и теплое место, в сырости вам живется, — Брюсов понюхал страницы, — плесенью пахнут, слежались.

— Слухи разные, — Попов подобрал плохо причесанные волосы. — Над монастырем ночью ворон каркал — плохая примета. Покровскому в молодости не подыскал я в Патриаршей редчайшую книгу. Помнит. Ликвидацию записали?

— Мало ли что пишется по протоколам второпях. Перевезем целиком. Есть домик на Цветном бульваре, ждали в него петроградцев, а они не собираются. Посмотрели бы вы хоромину.

Дом не понравился Попову: маловат, стены потрескались, половицы прогибаются. Брюсов назвал еще два адреса. Николай Петрович явно старался оттянуть время переезда. А Покровский не мог спокойно сидеть на месте, как только заходила речь о Попове.

— В монастырь его куда-нибудь! Диктовать взялся. Охмутил вас! — Покровский позвонил в Исторический музей. — Тесно? Тесно было в церкви, но для городничего место нашлось. Потеснить из прошлого века второстепенных. Которые в двух экземплярах — разбросать по фабричным библиотекам. Пылятся у вас. Я бы и Патриаршую раскидал, но по каталогам и карточкам знает ее весь мир, славянский по крайней мере. Что-то спросят, а ты оскандалишься. У старикана прыть, а мне наступают на пятки. К вам пойдет Брюсов, ему подчиняются научные библиотеки.

Попов все еще ждал счастливый случай.

— Оставить бы в Кремле, Ленин оставит, если его попросить. Не дадут встречи.

— Вы, я полагаю, заметили, одни были порядки до выстрела в Ленина и другие — после, — жестковато сказал Брюсов. — Переселят и помимо воли Владимира Ильича. В Историческом освобождают место. Готовьте ящики под книги, мешки, рогожи, и вы снова обоснуетесь у стены Кремля, только с другой стороны. Там оклады выше. В Патриаршей стужа зимой. В пятнадцатом Исторический обслуживало шестеро, а к июлю восемнадцатого было уже семнадцать, на следующий год намечается штат — двадцать четыре. Именно в вас там нужда крайняя.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром в кремлевском дворе, у Патриаршей, Попов и его помощники ожидали подводы для перевозки книг в Исторический музей.

Солнышко несмело поднялось, лучи его ласкали верхушки соборов. Пароходик сильно свистнул, торопясь куда-то, медленно прогнали плоты с дровами. Последние оранжевые листья падали с деревьев.

— Не удастся увидеть Ленина ни утром, ни вечером, — сказал Попов, — и на службе не допускают: у Владимира Ильича дела, дескать, государственные, а вы с какой-то библиотекой...

Помощник Брюсова Соколов Юрий Матвеевич, появившийся здесь, спросил, между прочим, Попова, что натворила в Кремле ва-тага чужеземцев в шестьсот двенадцатом году. Что? Попов начал вспоминать. В Кремле наглухо затворили интервентов. Голодовка непрощенных гостей. Съели кошек, собак, ловили ворон, мелких птах и добрались до библиотеки.

— А что в библиотеке можно съесть? — удивился Соколов.

Кожаные переплеты! Пергамент. Сдирали, варили в котлах, отходила от кожи краска, клей, снова кипятили в чистой воде, таким же способом съедали конскую сбрую при Конюшенном дворе, обивку с карет, обувь, ремни, копыта, рога.

Попов рассказывал Соколову:

— Я показал Ленину обрывок ремня, который не доели охотники воевать с нами. Изжевали обложку с книги. Сохранились лоскутья. Ленину из учебника помнились события Смуты. Спросил про Наполеона. Тот лошадей поставил в Патриаршую, но библиотеку до его появления успели отправить в Вологду. Многие знаменитости работали здесь. Подрубаем книжную историю на Руси.

Пришел запыхавшийся Брюсов, платком вытер лицо, шею, ладони.

— Перевозка отменяется сегодня. Подводы я вернул.

— А что за причина? — тревожно спросил Попов.

— Не имею понятия. Велено предупредить вас. Мне тоже не-весело.

— Развязываться нам?

— Нет, нет. Не развязывайтесь.

\* \* \*

Позже Брюсов познакомился на Остоженке во дворе с женой Попова. Еще до революции она с десяток раз слушала Брюсова на вечерах в клубах, он же видел ее впервые.

— Взяли Николая, — жена Попова заплакала.

— Взяли? Кто? Когда? Как это случилось?

Как? Просто! Легкий стук в дверь на рассвете. Николай поднялся с постели. Сперва не поверил: не ошиблись ли адресом? Они обходительные. Обыскивали, а она металась по комнатам, уверяла их: ни в чем не виновен! Всю жизнь — в библиотеке над рукописями, ни в каких партиях не был, — старушка плака-

ла. — Коленька едва оделся. Собрала узелок: хлеб, баночку с маслом. Пару белья... Что ждет его? После выстрела эсерки в Ленина? Строгости добавились.

— Николай Петрович скоро вернется домой, — уверенно сказал Брюсов. — Думаю, вмешается Луначарский.

Обронить легко мимоходом — скоро вернется. Жди, считай дни. Глава Синодалки привез старушке Поповой два ведра отборной картошки. Как в воду канул Петрович? Дожили, доработались: библиотекаря ночью схватили. С Лубянки домой дорожка узкая. Бывал злым на язык, но в деле, а не в политике. На цыпочках не ходил перед начальством. Юрий Соколов принес Поповой свежую рыбу, добытую на талон. Жанна Матвеевна послала ей через свою сестру пирожки с капустой. Один из помощников старого книжника, с колючими усами, втискивая голову на Лубянке в узенькое окошко, твердил дежурному:

— Кристаллически чистый гражданин, взят по ошибке! Подаем второе заявление.

Библиограф Лисовский, выслушав рассказ Виноградова о помощнике Попова, сходявшего с прошениями на Лубянку, пожал плечами.

— Я тоже пытался хоть что-нибудь узнать... Есть у меня там знакомый, любитель редких книг. Замкнулся. Неузнаваем.

Андрей Белый наступал на Брюсова:

— Уходите! Уезжайте! Перевезут в большом возу соломы. Помните о месте своем в русской культуре. — Белый звенел серебряной ложкой в стакане.

— Куда отвезут в соломе?

Белый уронил горячую ложку. — Валя, вы попали в ураган. Такому поэту не полагалось бы... Роковые события. Дикая вольница! Валя, вы смотрите с неприветом. Закат! Испорченные дни. А мы гадаем — как спасти Брюсова... Тропой обрывистой... Увезли бы! в соломе или в ароматном сене... Ваш бедный крест...

Они суховато расстались, хотя сердечная Жанна Матвеевна на крыльце сказала гостю: «Боря, не теряйте доступ к его усталому сердцу».

Покровский жестом позвал Брюсова в свой кабинет.

— Строго между нами, Валерий Яковлевич, — он поплотнее закрыл дверь кабинета. — Исчезло Мстиславово евангелие из Патриаршей.

Покровский признался: о Мстиславовом евангелии он знает мало, хотя и упоминал его в лекциях мимоходом. Выпустил книгу Иван Федоров, из первопечатников. Кажется, в Чудовом на станке тиснул.

— Исчезло из монастыря. Историк Иловайский брал его в руки. На плотной голландской бумаге. Рыхловатое. Тяжелое. Весьма редкое.

— А откуда узнали — потерялось? Перевозки не было. Упакковано. Связано. Числится по всем описям.

— Узнали откуда-то. Не моя епархия. Родственник Попова в Сибири у белых. Не связывайтесь.

Брюсов закончил разговор с Крупской о библиотеках и упомянул Попова.

— Не обещаю, — Надежда Константиновна хмурилась. — С подобными просьбами... Нет! Подождем, если к случаю...

Брюсов рассказал о Попове Луначарскому, тот вечером позвонил Владимиру Ильичу.

Ленин удивился:

— На Лубянке? Библиотекарь? Что же натворил он? Позвольте, я дважды побывал в Патриаршей. Она незабываема. Ремень жевали интервенты. Не мешает нам соседство с книгами.

Позже Ленин, взяв телефонную трубку, сощурился, слегка склонил голову. Да, да, Николай Петрович Попов. Повел глазами на Крупскую.

— Спрятал древнейшее евангелие. Украл? Украл — едва ли, а спрятать мог. Не знаю такое евангелие. Мстиславово? Не слышал, каюсь. А вот Надежда Константиновна имеет представление. Оружейная просила в свой фонд, а Попов уперся. Меня ругал? Непотребно. А что значит «непотребно»? — Ленин рассмеялся. — Никакой критики не выдерживает? А в чем же все-таки он признался? Не признается? — Ленин крепче прижал трубку к уху. — Очень многие ругают, а караван идет. Если начнем каждого брать из ругателей... А? Это не массовая антисоветская агитация, а разговор у книжных полков вдвоем. А за Брестский мир похвалил? Молодец! Разбирается в истории России! Другие, знаете, высокого полета в Брестском ничего не поняли. Проклинает разруху? А кто ее хвалит? Родственник у белых? Дальний? Близкий? Из гимназистов? Рядовой? А что здесь необычного? Война гражданская, раздоры в семьях... Дружил с князем? Чепуха! Князь в Румянцевке директор. — Ленин послушал. — Прошу разобраться и позвонить...

— Володя, нужны подробности о Попове?

— Нет. Покровский обещал ему главенство в Патриаршей после перевозки ее в Исторический. Поддержим обещание Покровского, если будут возможности. Злой библиотекарь? А с каких бы сухарей ему не злому быть?

\* \* \*

Вечером на Мещанскую к Брюсову, как на крыльях, влетел Андрей Белый. Обещают издать книжечку его стихов, пригласили в театральную секцию. Аванс! Идут инсценировочки Демьяна Бедного, пролетарские басни. Всяк Еремей про себя разумеи.

Брюсов подумал: «Боренька неугомоним, войдет в русскую поэ-

зию искателем дорог и тропинок. Планета! Облако на крыльях...»

— Валя, а в прозе нужен ритм, как и в поэзии. А? Пасьянсы из собственных строк!

— Боря, вы неповторимый поэт. Торопитесь домой засветло, путь далек, а трамваи ходят редко...

— Успею... Думал я. Вам следовало вступить. Прежний рассудок рухнул. Над соломой — посмеемся. Беспокоит свидание с народом лицом к лицу. В эти дни — грозовые разряды. — Он прочитал строчки из начатого стихотворения. — Беседовал с Луначарским — во многом расходятся пути. Поменьше бы замыкания в пролетарскую, с похвалой малограмотных. Обрадовались. Чуть не религиозная экзальтация примитива. Учиться бы с азов. Пора бы настаивать... Увезли от меня отцовскую математику, прибавилось в комнатах воздуха, света.

— Нужные нам книги! Послали в новый университет. Вам пришлют благодарность.

— Учи, учи! Открыть бы лицей для будущих писателей! Грядущее России опасно с малограмотными во главе. — Белый от порога поклонился Брюсову. — Нашего дворника в партию приняли, кое-как шаркает старой метлой. Ждет должность. Прости нас, господи! — Белый ушел.

— Ты понял его, Валя? — спросила Жанна.

— Сегодня — да! Пророк! Лицей для нашего брата — моя мысль. А Бореньке дать бы кафедру по курсу стиховедения.

— Вот бы затуманил ясное, — Жанна рассмеялась. — Сходила я все-таки послушать доклад Крупской. Умница. Побывала и в библиотеке на иностранных — две комнатки. Десять читателей. Старенькие. Не сердись, Валя. Закроют. А в будущем столица немислима без библиотеки на иностранных. Ты злишься, Валя?

— Злись не злись, а два моих стихотворения отказались напечатать в газете. Демьян главенствует.

— Валя, за прозу взялся бы.

— А где время? Заседаний прорва. Передохнуть некогда!

— Мог бы вовсе не служить, как Белый.

— Не могу. Другая натура. Службист со студенческих лет, считай. Только писать — для меня мало. Сто раз говорили об этом...

\* \* \*

Мария Ильинична, ответственный секретарь «Правды», как всегда коротко рассказывала брату о завтрашнем номере газеты, о письмах читателей. С языка не сходят уголь, дрова, керосин, спички.

— Спички? — Ленин удивился. — Хм... Высекают огонь из камня? — он покачал головой. — Отступили до первобытных.

— Володя, не представляешь, какая нищета в марийских,



чувашиских деревнях, у башкир. Письму бы не поверила, если бы делегатка не приехала в редакцию.

— Представляю. Еще слышал от покойного отца. Нищета веками накапливалась. Маняша, вытащим Россию, а пока и при лучине прядут и ткут. Урожай, слава богу, неплохой. Понимать начинают: лентяй — враг нам. Демагога раскусить нелегко.

— Володя, в редакцию звонят москвичи — где Попов? Надя получила запросы из Сербии, из Греции, почему не отвечает Патриаршая? Старушка его приходила на днях. Ты не забыл? Фамилия у библиотекаря обыкновеннейшая...

— Забыл! — спохватился Ленин. — Десятки важнейших дел! Коминтерн... Программа партии. Война со всех сторон... А память не по возрасту стариковская.

— Володя, звонок твой ждут. Разговоры в редакциях. Тебя по-человечески уважает наша газетная дивизия.

— Добрый вечер, — сказал он по телефону минутами позже, обращаясь к знакомому. — Извините за беспокойство. Инженера освободили? Взрывник. Ждут его на линию фронта. И еще о Попове. Библиотекарь из Патриаршей. Мы с вами говорили об этой личности. Я жду ваш звонок через полчаса, — Ленин положил трубку и сказал сестре: — Наведут справки... Молоденький, горячий взрывник отказался выполнить чье-то приказание. Вывезли на Лубянку. Кстати, сын большевика... А нищета в деревне, грамота... Ох, давно это в несчастной России. — Ленин упоминул интересные встречи в Совнаркоме. Зазвенел телефон. — Уехал на другой фронт? Отлично. А там потеряли редкую книгу? Та-ак. Понимаю. Бывает. Нашли? И где же? — Он оглянулся на сестру. — Наказать бы того мерзавца, который сочинил донос! Зря не практикуется такой порядок. При чем тут племянник у белых? Проверка нужна, разумеется. Выпустить поскорее! — Ленин положил трубку и сказал сестре: — Завалилось или затолкнули евангелие в подполье между плахами.

— Спасибо, Володя. Добавится хороший слух о тебе.

Готовились к переселению. Попов для пополнения библиотеки осмотрел собрание книг и рукописей в Иосифо-Волоколамском монастыре, обменялся в нем редкостями и списал песню о взятии Казанского царства, чтобы сравнить ее с текстом, что хранился в Патриаршей. В этой же обители слежались грамматика, арифметика, лечебники, а в соседней — «потешные книги»: повести смехотворные, проделки лукавого демона.

По книжным и рукописным свалкам охотился Николай Петрович за Симеоном Полоцким — умел белорус наскоро готовить домашнее чтение, учить детей, рассказывать анекдоты о знаменитых людях.

Брюсов знакомился с редкостями, которые приносил Попов. Заинтересовал Валерия Яковлевича хорват Юрий Крижанич с

его скорбью о печальной участи славян. Москва могла бы подать сильную руку помощи задунайцам, чехам, иным братьям. Он явился в Москву, издал книгу «Политические думы» с требованием преобразований на Руси, в славянских странах. Книга побывала на столе у «тишайшего» царя Алексея Михайловича. Крижанич (он же Юрий Сербенин) отбыл немалую ссылку в Тобольске, успел вернуться домой.

Покровский о Крижаниче сказал Брюсову:

— Поторопился земляк... Слышали? Белоруссия очищена от немцев. На востоке наступает Колчак, но далеко от Москвы. Учимся достигать соглашения со средним крестьянином. Деникину не удалось с юга соединиться с Колчаком. Со всех сторон голодную Астрахань окружили враги, к устью Волги подходят еще военные суда английских интервентов.

— Я слежу по газетам. Год снова трудный ожидается, — заметил Брюсов.

Утром загружали машину книгами. Солнышко не показывалось, но весна свое брала. Сверкали толстые, желтые сережки ивы. У реки пел жаворонок. Скворцы суетились около домиков, сколоченных патриаршевцами. Грачи гнезда поправляли.

— Осторожнее, осторожнее, — просил Попов Юру Соколова. — Оторвалась страница Часовника Ивана Федорова... Шестнадцатый век. Ветер понес... Наступите! Живее! Полетела копия к трактату между царем Иоанном и королем шведским.

Один из бородатых библиотекарей плашмя лег на копию к трактату, другой, старик, прижал фолиант к груди.

Автомобиль с грузом из Патриаршей неторопливо шел по кремлевскому двору.

Спросили Попова, видел ли он сегодня Мстиславово евангелие.

— А как же? В руках держал! В кожу завернуто.

Медленно, словно бы нехотя, открылись ворота в кремлевской стене. Возок прогремел под башней. Минуты две езды до Исторического музея. Попов сказал:

— Прижаться бы в соседях.

Разгрузили кладь с автомобиля. А где Мстислав? Кто взял его с подводы? Пересмотрели тюки.

— Сам я его завязывал в бычью кожу. Притча!

Искали знаменитую пропажу неделю, развязывая десятки пакетов. Покровский, выслушав Брюсова, рассмеялся:

— С ума спятил старик. За голову хватается? Мы тут не сыщики. Не хочу вмешиваться в его епархию. Растерял он память. Если сам завязывал в старую кожу и отвез в грузовике — займитесь в Историческом.

Нашли в музее! Помощники Попова после окончательной

перевозки Патриаршей в кремлевской обители за рюмками отдохнули от волнения.

В декабре 38-го открыли Государственную публичную историческую библиотеку в Старосадском переулке, а через несколько месяцев перевезли в нее библиотеку закрывшегося Института красной профессуры, передали рукописи и многие старопечатные книги бывшей Патриаршей. Попов уже не работал, состарились и помощники его. На Старосадском в конце 39-го было около двух миллионов томов.

Публикуя повесть-эссе В. Панова, редакция «Альманаха библиофила» стремится привлечь внимание книжников и всех, кому дороги давние культурные ценности, к судьбе Патриаршей библиотеки и ее неоценимых сокровищ. Со дня своего основания библиотека находилась в Московском Кремле, являясь своего рода жемчужиной славянского книжного мира. Не пора ли древним рукописям опять обрести свое место в Кремле?

*Редакция «Альманаха библиофила»*

## Леонид Юниверг

### БИБЛИОТЕКА А. С. СУВОРИНА

Противоречивая фигура Алексея Сергеевича Суворина — издателя, журналиста, драматурга — вызывает интерес, прежде всего, как пример человека, который, по словам В. И. Ленина, «историей своей жизни отразил и выразил очень интересный период в истории всего русского буржуазного общества»<sup>1</sup>. Хорошо известна также беспощадная, но верная оценка, данная В. И. Лениным деятельности Суворина в качестве издателя-редактора газеты «Новое время» — одной из реакционнейших русских буржуазных газет<sup>2</sup>. В то же время активная и плодотворная работа Суворина в других областях литературно-художественной жизни России второй половины XIX — начала XX века всё чаще привлекает внимание исследователей. Они пытаются разобраться в обширном литературном наследии Суворина, в его далеко не однозначных отношениях с выдающимися русскими писателями — Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесковым, А. П. Чеховым... С последним издателя связывали долгие дружеские отношения, что до сих пор служит предметом особого внимания историков литературы. Понятен также интерес к Суворину со стороны театроведов: он неоднократно выступал в роли театрального рецензента, был автором ряда популярных пьес, обошедших многие театры России, а также владельцем одного из крупнейших петербургских театров, известного как «театр Суворина» или «Петербургский Малый театр».

Гораздо менее освещена весьма значительная книгоиздательская, книготорговая и типографская деятельность Суворина<sup>3</sup>.

За 40 лет работы им было выпущено около 1600 изданий универсальной тематики общим тиражом в 6,5 миллиона экземпляров<sup>4</sup>. Среди них особое место занимает «Дешевая библиотека», предпринятая Сувориным в 80-е годы и насчитывавшая к 1912 году около 500 изданий общим тиражом более чем 1 миллион экземпляров. Нельзя не вспомнить также первое легальное, без купюр, издание «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева<sup>5</sup> и переиздание «Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова. На счету Суворина-книгоиздателя также первое дешевое Собрание сочинений А. С. Пушкина в 10-ти томах (по 15 копеек за том!) и первые сборники рассказов А. П. Чехова; до сих пор сохранившие свое значение для историков ежегодные справочные издания: «Вся Россия», «Весь Петербург» и «Вся Москва»; наконец, «Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства» Ф. И. Булгакова — одно из первых русских изданий по всеобщей истории книжного дела.

Менее известен А. С. Суворин как библиофил, хотя он был обладателем одного из крупнейших русских частных книжных

собраний своего времени. В данной статье сделана попытка рассказать о Суворине-библиофиле.

Общеизвестно пристрастие Суворина-издателя к выпуску библиофильских изданий. В числе первых он последовал примеру зарубежных издателей-библиофилов, практиковавших, наряду с обычными, выпуск особых малотиражных нумерованных экземпляров, печатавшихся, как правило, на догорих, высококачественных сортах бумаги. Так, юношеские драмы М. Ю. Лермонтова «Испанцы», «Станный человек» и «Два брата» в одном томе под редакцией П. А. Ефремова были выпущены Сувориным в 1880 году в трех вариантах: на простой бумаге 2 000 экз. (по цене 1 р. 50 к.), на веленовой — 100 экз. (по цене 3 р.) и на ватманской — 10 экз. (по цене 12 р.).

Сувориным был выпущен также ряд библиофильских изданий произведений А. С. Пушкина: «Бахчисарайский фонтан» (1892), «Каменный гость» (1895), «Евгений Онегин» в миниатюрном издании (1912), а также факсимиле 1-го издания новиковского журнала «Живописец» (1901). Прежде чем пустить это переиздание массовым тиражом, Суворин отпечатал по 10 нумерованных экземпляров на японской и слоновой бумагах в двух разных форматах: в четвертую и восьмую долю печатного листа. В каталоге владельца, естественно, мы находим все разновидности «Живописца» с пометой: «Экз. № 1».

Случайны ли эти издания для Суворина? Отнюдь нет! Они являлись закономерным продолжением серьезного, библиофильского отношения Алексея Сергеевича к книге. «Если книга обязана появлением своим человеку, — любил повторять Суворин, — то человечество обязано процветанием своим книге»<sup>6</sup>. По словам современника, среди русских библиофилов А. С. Суворин занимал одно из наиболее почетных мест. «О его любви к книге знали все, кто, так или иначе, имел соприкосновение с книжным делом в России»<sup>7</sup>. Нередко Суворина можно было видеть у старых букинистов Апраксина или Александровского рынков, где он любил рыться в пыльных ящиках книготорговцев. «Настоящий библиофил везде сумеет сделать хорошее приобретение», — отвечал он на недоуменные вопросы знакомых<sup>8</sup>.

Первые книжные приобретения А. С. Суворин сделал, вероятно, в начале 50-х годов. По словам издателя, его знакомство с литературой началось в Воронежском кадетском корпусе, куда он был определен в 1845 году. «До 12 лет я ничего не читал: ни сказок, ни повестей, ни романов», — вспоминал в конце жизни Суворин<sup>9</sup>. В доме его отца — солдата, дослужившегося до капитана, — была лишь одна книга: Евангелие. С произведениями Пушкина Суворин впервые познакомился только в четырнадцать лет, после чего с увлечением прочел несколько томов его стихотворений и поэм<sup>10</sup>. Выйдя в отставку, Суворин сдал экзамены на

звание уездного учителя и в течение трех лет (с 1855) преподавал в Бобровском уездном училище историю и географию, после чего перевелся в Воронеж. Здесь Суворин сблизился с М. Ф. де Пуле — широко образованным литератором, преподававшим историю, русский язык и словесность в Воронежском кадетском корпусе. Благодаря этому знакомству он вошел в литературный кружок местной разночинной интеллигенции, участником которого был также поэт И. С. Никитин. В книжной лавке последнего в 1859—1861 годах Суворин бывал довольно часто и, видимо, приобрел там не один десяток книг. В Воронеже началась и его литературная деятельность.

В конце 1862 года Суворин переехал в Петербург и с этого времени стал частым гостем в книжном магазине М. О. Вольфа. Один из старейших сотрудников этой фирмы, С. Ф. Либрович, так писал о Суворине тех лет: «Среди постоянных клиентов французского отделения петербургского книжного магазина М. О. Вольфа обращал на себя внимание молодой человек, немного сутуловатый, с типичным русским лицом, окаймленным темною бородою, с игривою, добродушною улыбкою на устах, чрезвычайно быстрый и подвижный. Он интересовался книгами буквально по всем отраслям знания: останавливал свое внимание то на беллетристике, то на истории, то на философии, то на политической экономии, то на книгах по искусству и т. д.»<sup>11</sup>. Познакомившись с молодым человеком, М. О. Вольф заинтересовался его всеядностью, на что Суворин, как вспоминал Либрович, дал короткий, но исчерпывающий ответ: «Моя специальность — фельетон, а фельетон обнимает все науки, все знания»<sup>12</sup>. Однако в начале 70-х годов Суворин сосредоточил внимание в основном на иностранной беллетристике, критике и истории, рецензии на которые помещал в «Вестнике Европы». Этот раздел своей библиотеки он усердно комплектовал в течение всей жизни, и даже за несколько месяцев до смерти, по словам Либровича, он часто заходил в иностранный отдел магазина Вольфа, внимательно просматривал все новинки по искусству и мемуарную литературу.

Характеризуя Суворина как библиофила, уместно будет отметить, что он всегда охотно оказывал помощь всем, кто обращался к нему за книгой или к его книжному собранию за справкой. Так, Софья Ковалевская в 1877 году взяла у А. С. Суворина для прочтения журнал «Русский вестник» с только что отпечатанными очередными главами «Анны Карениной» Л. Н. Толстого. В то время их нелегко было достать, и потому Ковалевская, в свою очередь, откликнулась на просьбу Ф. М. Достоевского и переслала ему журнал с условием вернуть его «дня через два»<sup>13</sup>. Следует упомянуть и об активном участии Суворина в библиофильских дискуссиях, отголоски которых можно встретить на страницах журнала «Российская библиография» (см., например,

№ 10 и 11 за 1880 год). Все это вызывало симпатию к Суворину даже со стороны его идейных противников. «Я хоть и расхожусь во многом с А. С. Сувориным во взглядах, — признался как-то В. В. Стасов, — но о нем, как о библиофиле, могу сказать только одно: как есть Божьей милостью поэты, так есть и Божьей милостью библиофилы, и таковым именно я считаю А. С. Суворина»<sup>14</sup>.

За 50 с лишним лет Суворин собрал богатейшую библиотеку, насчитывавшую до 40 тысяч томов, посвященных в основном гуманитарным наукам<sup>15</sup>. О бережном, истинно библифильском отношении к своему собранию свидетельствует и большое количество превосходных переплетов работы лучших столичных мастеров, и специально сделанный еще в конце XIX века экслибрис, представляющий собой четырехгранный книжный ярлык с типографски отпечатанным текстом: «Из библиотеки Алексея Сергеевича Суворина Шкаф... № ...» Кроме того, до нас дошли 4 каталога его библиотеки, вобравшие большую часть обширного собрания — около 25 000 названий. Это «Русские книги, напечатанные за границей. Библиотека А. С. Суворина» (Спб., 1897. 143 с.); каталог книг на иностранных языках («Catalogue des livres en langues etrangeres de la Bibliothegue de A. S. Souvorine». — Спб., 1906. 889 с.); «Каталог русских книг библиотеки А. С. Суворина» (Спб., 1912—1913. 1114 с.) и каталог отдела «Rossica» из библиотеки А. С. Суворина «Catalogue de la section des Rossica de la Bibliothegue de A. S. Souvorine». — Пг., 1914. 324 с.)<sup>16</sup>. Эти каталоги дают возможность реконструировать в общих чертах собранную за долгие годы библиотеку Суворина. Описания в них сделаны с учетом правил того времени. Иностранные издания описаны на языке оригинала. Внутри разделов принято алфавитное расположение материала.

Русские книги библиотеки А. С. Суворина, судя по каталогу, представляли наиболее значительную (в количественном отношении) часть собрания и составляли около 12000 названий или свыше 20000 томов. Хронологические рамки коллекции — от XVII до начала XX века. Преобладали издания второй половины XIX века, то есть времени наиболее интенсивного комплектования библиотеки. Собрание разбито составителем на 17 разделов:

- I. Богословие — около 650 названий.
- II. Философия — около 150 названий.
- III. Педагогика — около 200 названий.
- IV. Правоведение и политические науки — около 850 названий.
- V. История и ее вспомогательные науки — свыше 2000 названий, в том числе:
  1. Всеобщая история — около 300 названий.
  2. История славянских народов — около 120 названий.
  3. История России — около 1700 названий.

VI. Военные и морские науки — около 300 названий.

VII. География. Этнография. Путешествия. Статистика. Картография — около 1000 названий.

VIII. Естественные науки — около 250 названий, в том числе:

1. Физическая география. Метеорология. Климатология. Физика. Химия — около 100 названий.

2. Физиология. Анатомия, Антропология. Естественная история человека — около 40 названий.

3. Зоология. Энтомология — около 40 названий.

4. Ботаника — около 30 названий.

5. Геология. Минералогия — около 30 названий.

IX. Медицинские науки — около 120 названий.

X. Сельское хозяйство — около 150 названий.

XI. Технология — около 120 названий.

XII. Математические науки — свыше 30 названий.

XIII. Языкознание — около 180 названий.

XIV. Искусство (история искусств, биографии художников, альбомы, карикатуры; история театра и музыка) — свыше 500 названий.

XV. Словесность — свыше 4700 названий, в том числе:

1. История и теория словесности — около 400 названий.

2. Биографии русских писателей и ученых. Словари писателей. Записки. Критика — около 700 названий.

3. Произведения изящной словесности — около 1800 названий.

4. Театр (оригинальные и переводные драматические произведения) — около 1800 названий.

XVI. Справочные книги (календари, словари, энциклопедии, адресные книги, списки лиц; каталоги и библиографические указатели) — около 550 названий.

XVII. Периодические издания — около 130 названий.

Дополнения (по разным разделам) — около 160 названий.

По своему характеру, как видно из каталога, русская часть библиотеки Суворина универсальна, однако перевес в ней явно на стороне гуманитарных наук, составляющих около 10 000 названий. Самыми значительными разделами библиотеки являются V и XV — «История» и «Словесность», насчитывающие вместе около 6700 названий.

В первом отчетливо виден интерес владельца библиотеки к материалам и источникам по истории России: актам, грамотам, летописям, сборникам исторических сочинений, палеографии.

Костяк второго составляют едва ли не все основные произведения русской прозы, поэзии и драматургии. Хорошо представлены также история и теория литературы, памятники древней письменности, библиография. В собрание вошли чуть ли не все издания «Слова о полку Игореве», начиная с первого — 1800 года



и кончая его факсимильным воспроизведением, выпущенным Сувориным в 1904 году.

В подразделе «Библиография» мы находим основные библиографические труды Г. Геннади, А. Неустроева, П. Пекарского, Н. Лисовского, А. Бурцева, Д. Ульянинского и других известных русских библиографов и библиофилов.

Состав библиотеки свидетельствует, что Суворин не гонялся за особенными редкостями, но и не обходил их на своем библиофильском пути. Нередко в конце сделанного в каталоге библиографического описания можно встретить приписку составителя: «Редка». Отмечены также книги с автографами («Экземпляр с надписью»), нумерованные экземпляры (например, в описании «Истории и памятников византийской эмали» Н. Кондакова (1892) указано, что издание отпечатано в 200-х нумерованных экземплярах; на суворинском экземпляре проставлен № 21)<sup>17</sup>.

Каталог иностранной части библиотеки А. С. Суворина включает около 8500 названий альбомов, книг, брошюр и журналов на нескольких европейских языках. Предпочтение отдано литературе на французском и немецком, которыми свободно владел Суворин. Хронологически собрание охватывает три столетия (от 1600 до 1905 г.), а по содержанию разбивается на 16 разделов. За редким исключением они соответствуют разделам «Каталога русских книг библиотеки А. С. Суворина».

Из иноязычных наиболее объемными являются разделы X и XIII, то есть «История и ее вспомогательные науки» и «Языкознание. Словесность», включающие описание свыше 4000 названий — половины всего состава иностранной части библиотеки. В исторической части значительное число произведений мемуарного характера и жизнеописаний выдающихся деятелей прошлого. В частности, много изданий, посвященных Жанне д'Арк и Наполеону.

В разделе «Словесность» преобладает подраздел «Театральные пьесы», который насчитывает свыше 2000 названий пьес классического и современного репертуара. При этом произведения В. Шекспира и литература о нем вынесены в отдельную подрубрику и включают около 150 названий. Следует отметить, что в каталоге русской части библиотеки подраздел «Театр» также насчитывает около 2000 пьес. Таким образом, можно говорить об особом пристрастии Суворина к театральной литературе, к театру. О том же свидетельствуют его личные дневники, опубликованные после смерти. В них много места уделено записям о драматургии и сценическом искусстве, в которых явственно ощущается большое знание предмета и искренняя любовь Суворина к театру<sup>18</sup>.

Один из крупнейших разделов суворинской библиотеки состоял из книг на иностранных языках, посвященных России и вышедших в основном за рубежом. Об этом свидетельствует упомянутый выше каталог отдела «Rossica» библиотеки А. С. Суво-

рина. Самая крупная коллекция, «Rossica», находилась в то время в Императорской публичной библиотеке. В «Материалах к проекту полного каталога сочинений о России на всех иностранных языках изданных», подготовленных сотрудниками библиотеки в 1851 году, было описано 3766 изданий. В каталог же раздела «Rossica» библиотеки А. С. Суворина вошло около 3500 изданий, что свидетельствует о несомненной значимости коллекции. Например, в библиотеке Суворина имелась одна из ранних публикаций о России — «Книга о Московитском посольстве» Павла Иовия Новокомского, вошедшая в состав сборника «Новые страны и острова, неизвестные древним...», отпечатанного в Базеле в 1532 году. К редким изданиям коллекции «Rossica» следует отнести также книгу «Записки о Московитских делах», изданную в Венеции в 1550 году. Ее автор, Сигизмунд Герберштейн, в 1517 и 1526 годах был послом в Москве. В собрании Суворина были представлены и такие ценные издания, как книга англичанина Джильза Флетчера «О государстве русском» (Лондон, 1591) и «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» секретаря шлезвиг-голлтинского посольства в России в 1633 и 1636 гг. Адама Олеария. Последнее сочинение имелось у Суворина в нескольких изданиях: немецком (1656), французском (1659), английском (1669) и голландском (1727). В библиотеке Суворина немало других изданий XVI—XVII веков, но все же основу коллекции «Rossica» составляли книги XVIII—XIX столетий.

Интерес Суворина к истории России, особенно хорошо заметный из состава библиотеки, нашел не менее яркое воплощение в его издательской деятельности. Так, по инициативе Суворина были впервые или заново переведены на русский язык сочинения Павла Иовия и Сигизмунда Герберштейна (1908), Джильза Флетчера (1905), Адама Олеария (1906) и др. Помимо переводных, Суворин издал также немало оригинальных исторических сочинений о России, в том числе произведения С. С. Татищева, И. П. Хрущева, Г. П. Данилевского, Н. И. Костомарова и др. Следует также отметить всемерную популяризацию Сувориным «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (через «Дешевую библиотеку») и издание им «Исторического вестника» (1880—1917) — наиболее распространенного научно-популярного исторического журнала в России.

В собрании Суворина имелось также небольшое количество нелегальных и запрещенных царской цензурой изданий — около 400. В одном из своих очерков Суворин указывает на рано проснувшийся в нем интерес к запрещенной литературе. В середине 50-х годов он работал секретарем у богатого землевладельца В. Я. Тулина, имевшего хорошее книжное собрание. Позже, переехав в Воронеж, Суворин продолжал пользоваться этой библиотекой. «У него я брал «Полярную звезду» Герцена и «Коло-

кол», — вспоминал Алексей Сергеевич. — Ими я делился с Никитиным (имеется в виду известный русский поэт И. С. Никитин. — Л. Ю.)»<sup>19</sup>.

Благодаря сохранившемуся экземпляру каталога «Русские книги, напечатанные за границей. Библиотека А. С. Суворина», вышедшего в 1897 году в двух экземплярах<sup>20</sup>, мы имеем достаточно ясное представление об этой, как будто бы неожиданной для Суворина 90-х годов части его библиотеки. Здесь мы встречаем 5 книг М. А. Бакунина, 17 книг А. И. Герцена, 3 книги американского журналиста Дж. Кеннана (в том числе: «Жизнь политических арестантов в русских тюрьмах» (Женева, 1889), «Сибирь» (Берлин, 1891) и др. Наряду с сочинениями П. А. Кропоткина, П. Л. Лаврова и Г. В. Плеханова в каталоге учтены изданные за рубежом произведения В. Г. Белинского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Т. Г. Шевченко, И. Я. Франко и др. — всего около 180 авторов. Эта часть суворинской библиотеки пополнила в дальнейшем фонд вольной печати Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В целом, очень разнообразная по тематике, библиотека Суворина вполне отражала интересы ее владельца, пользовавшегося ею для наведения справок во время подготовки своих литературных трудов; для отбора книг, годных к переводу или переизданию; для выбора пьесы при обновлении репертуара в своем театре и т. д. Конечно, были книги, удовлетворявшие тот или иной библиофильский интерес владельца, или просто для чтения в редкие часы досуга, но в целом библиотека носила прикладной характер и верно служила Суворину в его широкой практической деятельности.

Познакомившись с А. С. Сувориным-библиофилом и с составом его библиотеки, будет уместно привести здесь отрывок из библиофильского романа М. В. Чернокова «Книжники» (1933), дающий нам образное представление о Суворине-собирателе. Пропущенный через призму библиофильского фольклора, Суворин выступает в романе под собственным именем, в то время как «известный книговед» и библиофил Н. П. Картонов, на квартире которого происходят две описанные ниже встречи, лицо вымышленное. Первая встреча, по словам автора, произошла в конце 1905 года. Герой романа, Касьян Ильич Балакин (лицо тоже вымышленное), зайдя однажды к Картонову, застает у него А. С. Суворина. «Он увидел высокого сгорбленного старика с седой неровной бородой. Старик сидел у стола, просматривал книги, и на высоком лбу его то собирались, то распускались морщины. Он сидел в шубе. На столе рядом с ним лежали бобровая шапка и толстая трость с яшмовым набалдашником. Эти брошенные на стол шапка и трость и выражение лица старика, а еще более те грубоватые торпливые движения, с какими он хватал из рук Картонова книги и отталкивал ненужные ему, изобличали в госте строптивый нрав,

избалованность богача и явное неуважение к хозяину. Хозяин же имел вид вороны, к которой залетел в гости коршун.

— Я вам, Алексей Сергеич, «Колокол» сравнительно недорого нашел: сто рублей — это даром. Признаться, я проговорился Лазурке (букинист, — Л. Ю.), для кого беру «Колокол», и он обрадовался: «Ну, говорит, с кого другого, а с Суворина надо взять побольше — заплатит» <...>

Они встретились снова у Картонова спустя года полтора. Того и другого привлекала к собирателю страсть к редкостям — смотрели коллекцию старинных афиш.

— Я с удовольствием издал бы эти вещички, — сказал Суворин. — Он перебирал афиши, сгорбясь и припадая к ним лицом, большие жилистые руки его трепетали. Взглянул на Картонова. Тот увидел лукаво-нежную улыбку и подумал: «Как есть пушкинская Наина», потом сказал:

— Вы издали ростопчинские афиши — и хватит с вас.

— Ох, какой вы камень-человек! Вы видели, как я Олеария издал? Не то что Барсов и Бодянский... А Флетчера, Корба видели?.. Ну-с, милый друг, уступайте афиши, берите за них по совести.

— В обмен.

— Опять в обмен... Не хочу, — капризно заявил он и, горбясь, поднялся со стула. — Ничего, я подожду, когда вы мне афиши принесете сами.

Картонов, провожая старика, говорил:

— Дайте мне за афиши Фридриха.

— Фридриха? Нет, я вам Боклевского предложу: этого у меня два экземпляра.

— Боклевский есть и у меня.

— Вы ужасный человек! — закричал Суворин. — Отчего вам не нужны деньги? Я ухожу.

Ушел, ругаясь. Ругался и Картонов»<sup>21</sup>.

После смерти А. С. Суворина в августе 1912 года библиотека в течение нескольких лет хранилась в его квартире (Эртелев пер., д. 6). Затем в 1918 году была национализирована. Как утверждает И. А. Друганов, автор статьи о судьбах ведомственных, общественных и частных библиотек в 1918—1925 годах, она насчитывала в то время 35000 томов<sup>22</sup>. Распределены они были следующим образом: три четверти всех книг поступили в Российскую публичную библиотеку (ныне — Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), книги по искусству — в Русский музей, а энциклопедии и книги справочного характера (всего около 400 томов) — в Справочный отдел Комиссариата народного просвещения Северной области<sup>23</sup>.

Как сообщал в своих воспоминаниях букинист П. П. Марты-

нов, содействовал передаче суворинского собрания в Публичную библиотеку известный букинист и библиофил Павел Викентьевич Губар. Там же можно прочесть и о том, что перед перевозкой книги были упакованы в пятьдесят больших ящиков<sup>24</sup>.

Дублетные экземпляры исторической литературы были переданы Публичной библиотекой в Москву, в библиотеку Государственного исторического музея. В 1930 году, после образования Государственной публичной исторической библиотеки, эти книги поступили в числе многих других книжных собраний музея в ее фонд<sup>25</sup>.

Время от времени книги с экслибрисом А. С. Суворина обнаруживаются в самых разных уголках страны, вплоть до Хабаровской краевой библиотеки<sup>26</sup>. К таким книгам-путешественникам относится и экземпляр каталога иностранной части библиотеки А. С. Суворина, хранящийся в Центральной научной библиотеке Союза театральных деятелей РСФСР. Красивый полукожаный переплет начала XX века, неровный, торшонированный обрез многостраничного блока из плотной кремовой бумаги «верже», нарядный белый форзац «под муар» выдают истинно библиофильский характер издателя и владельца этого каталога. В нижней части корешка, над тонким орнаментальным бордюром хорошо выделяются на темном фоне «золотые» инициалы владельца «А. С.». Это личный экземпляр А. С. Суворина, найденный директором библиотеки СТД РСФСР В. П. Нечаевым в обменном фонде Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Каталог содержит ряд помет. В основном это исправления ошибок в описании, сделанные рукой самого владельца библиотеки.

На одном из дополнительно вплетенных чистых листов в конце каталога есть запись черными чернилами: «Счет Эггерса на 128 р. подан 6 февр. 1912 г. Подписал А. С. 12 июня 1912 г.». Эту запись сделал, вероятно, библиотекарь Суворина. На каталоге она не случайна.

Петербургская книготорговая фирма «Эггерс и К<sup>0</sup>» была одной из старейших в России. Она специализировалась на продаже русских и иностранных книг по естественным наукам (геологии, минералогии, палеонтологии и др.). Кроме того, магазин принимал заказы «на все, где бы то ни было изданные, книги»<sup>27</sup>, что, вероятно, устраивало Суворина. Есть все основания предполагать, что многие из книг библиотеки Суворина, особенно по естественнонаучной тематике, укомплектованы с помощью книготорговой фирмы «Эггерс и К<sup>0</sup>».

Видимо, в начале февраля 1912 года Суворин, уже смертельно больной, в последний раз заглянул в книжный магазин «Эггерс и К<sup>0</sup>» (а может быть — вообще в книжный магазин!) и отобрал книги общей стоимостью в 128 рублей. Не исключено, что при-

веденная запись свидетельствует о последней книжной покупке Суворина, сделанной им за несколько месяцев до смерти.

...В одном из «Маленьких писем» А. С. Суворина можно встретить слова, наиболее точно выражающие его отношение к книге: «Я... всем обязан своему неустанному труду, терпению и книге, которую я страстно любил и люблю...»<sup>28</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 43.

<sup>2</sup> Там же. С. 43—44. В этой связи заслуживает также внимания очерк И. Соловьевой и В. Шитовой «А. С. Суворин: портрет на фоне газеты» (Вопр. лит. 1977. № 2. С. 162—199).

<sup>3</sup> Только в последнее время появилась первая обстоятельная статья о книгоиздательской деятельности А. С. Суворина (см.: Динерштейн Е. А. Издательская деятельность А. С. Суворина // Книга: Исслед. и материалы, 1984. Сб. 48. С. 82—118).

<sup>4</sup> См.: Поршнева Г. И. История книжной торговли в России // Книжная торговля. М., 1925. С. 120.

<sup>5</sup> «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева было переиздано А. С. Сувориным в 1888 г. Оно было разрешено цензурой при условии напечатания тиража не более чем 100 экз. при максимальной цене: от 25 до 60 руб. (в зависимости от сорта бумаги). Кроме того, следует учесть, что Суворин практически весь тираж разослал своим друзьям и знакомым библиофилам. Подробно история переиздания «Путешествия...» излагается в кн.: Ульяновский Д. В. Среди книг и их друзей. М., 1903. С. 56—68.

<sup>6</sup> Библиофил. А. С. Суворин-библиофил // Рус. библиофил. 1912. № 5. С. 78.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же. С. 79.

<sup>9</sup> Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин: Биогр. очерк. Спб., 1912. С. 10.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Либрович С. Ф. А. С. Суворин и М. О. Вольф: Из воспоминаний // Вестн. лит. 1912. № 9. Стб. 243.

<sup>12</sup> Там же. Стб. 244.

<sup>13</sup> Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 247—248.

<sup>14</sup> Библиофил. А. С. Суворин-библиофил // Рус. библиофил, 1912. № 5. С. 79.

<sup>15</sup> См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Спб., 1912. С. 51.

<sup>16</sup> Судя по краткому описанию библиотеки Суворина, сделанному У. Г. Иваском в книге «Частные библиотеки России» (Спб., 1912. С. 51), в 1910 г. был напечатан двухтомный каталог его книжного собрания в количестве 20 экз. Однако такого издания нам найти не удалось. Вероятно, автор располагал ошибочными сведениями (тем более что не упомянут каталог 1906 г.) и можно условно принять к сведению лишь тираж каталога — 20 экз.

<sup>17</sup> Это издание вышло в 600 экземплярах на трех языках: русском, французском и немецком (по 200 пронумерованных экз. на каждом языке). Весь тираж был предназначен не для продажи: А. В. Звенигородский принес его в дар библиотекам, музеям и другим научным учреждениям всей Европы и лишь очень немногим частным лицам. Книга создавалась в течение 12 лет и потребовала от А. В. Звениго-

родского затрат в 120 000 рублей (См.: Стасов В. В. История книги «Византийские эмали А. В. Звенигородского». Спб., 1898. С. 4).

<sup>18</sup> См.: Суворин А. С. Дневник. 1887—1907. М., 1923.

<sup>19</sup> Суворин А. С. Всякие: Очерки современной жизни. — 2-е изд. Спб., 1907. С. VII. Подробнее о связях А. С. Суворина с И. С. Никитиным см.: Ласунский О. Г. Из разысканий об И. С. Никитине // Я Руси сын! Воронеж, 1974. С. 45—61.

<sup>20</sup> См.: автограф на экземпляре каталога, хранящемся в Гос. публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Эта книга напечатана только в 2-х экземплярах. А. Суворин».

<sup>21</sup> Черноков М. В. Книжники: Роман. Л., 1933. Кн. 1. С. 14, 15, 20.

<sup>22</sup> См.: Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные, частные и судьба их в 1918—1925 гг. // Сов. библиогр. 1934. № 3—4. С. 151.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> См.: Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. Л., 1969. С. 32.

<sup>25</sup> См.: Семеничев И. Государственная историческая библиотека // Красный библиотекарь. 1939. № 7. С. 30.

<sup>26</sup> См.: Маслова А. Хабаровские автографы // Альманах библиофила. 1978. Вып. 5. С. 77.

<sup>27</sup> Каталог сочинений по геологии, минералогии, кристаллографии и палеонтологии... книжного магазина «Эггерс и К<sup>о</sup>». Спб., 1895. С. 78.

<sup>28</sup> Цит. по: Соловьева И., Шитова В. А. С. Суворин: Портрет на фоне газеты // Вопр. лит. 1977. № 2. С. 198.

## Валентин Лавров

### «ХРАНЯ СВЯЩЕННУЮ ЛЮБОВЬ...»

Москва! в дни страха и печали,  
Храня священную любовь,  
Недаром за тебя же дали  
Мы нашу жизнь, мы нашу кровь.

*Каролина Павлова, 1844 год*

...Началось все во время служебной командировки в ФРГ. Журналист-международник Олег Васильев оказался в Мюнхене. По телефону договорился о встрече с одним своим знакомым, который когда-то учился в Москве и прилично освоил русский язык.

Точно в назначенное время явился в дом знакомца. На сей раз знаменитая немецкая точность подвела: хозяин где-то задерживался. Гостя из Москвы попросили подождать.

Васильев остался в рабочем кабинете хозяина. Его внимание привлекли полки с книгами. Приятно удивился, увидав издания на русском языке. Выбрал одно из них. Это был толстенный том в богатом переплете. На титульном листе прочитал: «Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы М. И. Пыляева». Книга вышла в свет в Петербурге в 1891 году.

Наугад открыл страницу и... зачитался. Он читал о Кузнецком мосте времен Бориса Годунова, о первых театральных представлениях в Москве, о работе знаменитых русских архитекторов. Впечатление было сильнейшим. В чем дело? Может, во всегдашней любви к родному городу, в котором появился на свет в 1931 году. Или в ностальгии, холодной тоской наваливавшейся на него на чужбине? Впрочем, важнее другое.

Именно эта несколько необычная встреча с редкой книгой разбудила обостренную любовь к ней. Ту самую любовь, которая, пройдя ряд трансформаций, обогатившись множеством нюансов и сложных чувств, вырастает в библиофильскую страсть.

### МОСКВА, ГОД 1787-Й

Московские книжники хорошо помнят этого доброжелательного и обаятельного букиниста — Александра Ивановича Фадеева. Мы приходили в его рабочий кабинет как в клуб. Невысокого роста, крепко сбитый, с несколько удлинненными руками, он с каким-то неуловимым изяществом вынимал из шкафа очередной раплет и, не проявляя никаких эмоций, говорил:

— Вот хорошая книжечка.

«Хорошая книжечка» оказывалась или редчайшим прижизненным сборником русского классика или на книге была дарственная надпись крупного писателя. У Александра Ивановича почти всегда и почти для каждого находилась радость — издание, согласное с тематикой его поисков. Мы просто диву давались: откуда у него





Колпашников. Уличный торг у Кремля в конце XIX века.  
Из книги Н. И. Пыляева «Старая Москва»



П. Пикарт, И. Бликланд. Каменный мост в начале XVII века  
(1707—1708). Из книги Н. И. Пыляева «Старая Москва»

столько редкостей! Цены на антиквариат в «Книжной-находке», где он много лет был директором, не были высокими по сравнению с другими букинистическими магазинами. И вот все-таки именно ему, Фадееву, несли сдавать литературу. Думается, причиной тому были его любовь к книгам, их доскональное знание и, конечно, удивительное человеческое обаяние.

Прибыв в Москву после заграничных странствий, Васильев направился в «Книжную находку». «Судьба играет человеком...» — как не вспомнить эту истину, рассказывая книжную эпопею Васильева.

— У вас случайно нет «Старой Москвы» Пыляева? — обратился Олег Сергеевич к молодой продавщице, стоявшей за прилавком.

В вопросе было нечто дилетантское. С таким же успехом можно спросить: «У вас сегодня нет «Евгения Онегина» в главах с автографом Пушкина?» У продавщицы Пыляева не было и за свою короткую книготорговую деятельность она о таком даже не слыхала.

Но рядом оказался директор — Фадеев. Его заинтересовал и вопрос, и молодой симпатичный человек, его задавший. Через минуту они оба сидели в «клубе»-кабинете и рассматривали старые книги о Москве. Книги Пыляева в данный момент действительно не было. Но была еще бóльшая редкость. Ее-то и протянул Александр Иванович Олегу Сергеевичу.

Тот прочитал: «Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами. С прибавлением исторического сведения о находящихся в Москве соборах, монастырях и знаменитейших церквах. Цена один рубль 50 копеек. 1787 году печатано в Москве у содержателя типографии Губернского правления Фридриха Гиппиуса собственным его иждивением».

Вот такое длинное название, зато прочел — и сразу видно, о чем речь в книге. Только имени автора не было.

— Харитон Андреевич Чеботарев, — ответил Фадеев, который, казалось, о книгах знает все досконально. Впрочем, оно так и было. В этом Васильеву еще пришлось неоднократно убеждаться.

— Солдатским сыном был Чеботарев, — рассказывал Фадеев. — Но выбился быстро в люди. Уже в тридцать лет — как раз в вашем возрасте! — стал профессором Московского университета. Преподавал историю, географию и еще что-то, сейчас не помню. Недавно мы приобрели и его учебник по географии России — самый первый, вышедший у нас!

Домой Васильев возвращался «с Чеботаревым». Уже в метро, пока ехал от площади Революции до «Аэропорта», успел прочитать: «Москва, будучи расположена на возвышенном и сухом месте, и как строение в оной не стеснено и внутри города находится множество садов, имеет воздух всегда здоровый во все

времена года; и число родившихся всегда превышает число умерших... Что ж касается до изобилия в городе во всем нужном для жизни, то оно доказывается дешевизною всех съестных столовых припасов, кои привозятся зимою в Москву на подводах из Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской и Курской губерний; а крупная рыба из Урала и прочих мест... Московская торговля столь обширна, что она почти знатнейшую часть всеобщей Российской торговли в себе заключает и чем прочие города Российской Империи по честности славятся».

Книга оказалась своего рода энциклопедией. Васильев нашел в ней множество сведений — от основания Москвы до конца XVIII века. Развитие города, его экономика, любопытные бытовые зарисовки, о «городе Китай», улицах, площадях, о банях и торговле, о погребях «с фряжскими винами» — все это написано со знанием дела и любовью «к первопрестольной».

Уже позже, когда Олег Сергеевич не был новичком в этом деле, он узнал, что книга Чеботарева — второй путеводитель по Москве. Первый вышел за пять лет до его появления — в 1782 году. Назывался он — «Описание императорского столичного города Москвы, содержащее в себе звание городских ворот, каменных и деревянных мостов, больших улиц и переулков, монастырей, церквей, дворцов, присутственных и других казенных мест, число обывательских дворов и покоев, рядов, рынков, фабрик, заводов, кладбищ, дорог, застав, число извозчиков и прочая, собранное в 1775 году и изданное в свет для удовольствия общества издателем описания Санкт-Петербурга Г. Н. С. В. Г. Рубаном...»

Г. Н. С. — это означает «Господин надворный советник».

Московские путеводители давно вызывают интерес у библиофилов. И именно эти первые — В. Г. Рубана и Х. А. Чеботарева — всегда считались труднонаходимыми.

Но согласитесь — это большая удача: в начале библиофильского поиска обнаружить редкость. Утверждение «книги любят того, кто их достоин», на сей раз полностью оправдалось.

## НАХОДКА НА ШАФТСБЕРИ-АВЕНЮ

В центре Лондона пролегла оживленная улица — Шафтсбери-авеню. На ней расположилось множество магазинов и небольших лавочек, ведущих торговлю книгами. Среди них выделяется «Фойлс» — самый крупный в мире книжный магазин, как его рекомендуют справочники. Действительно, на пяти этажах идет бойкая торговля. Здесь можно приобрести книги по многим отраслям науки, искусства, литературы. И, разумеется, на самых различных языках.

Во время своей очередной поездки в Лондон Васильев зашел в магазин. Просмотрел немало книг, отметил достижения совре-

менной полиграфии. Но приобретение, доставившее ему много радости, сделал в соседнем с «Фойлсом» небольшом магазине. Среди антикварных изданий на французском, немецком, испанском языках его взор выхватил том в цельнокожаном коричневом переплете. Раскрыл его и замер в счастливом восторге. На титульном листе он прочитал: «Путеводитель в Москве. Изданный Сергеем Глинкою, сообразно французскому подлиннику г(осподина) Леоента де Лаво, с некоторыми пересочиненными и дополненными статьями. Москва, в типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии. 1824.»

Книжники знают, что все путеводители по Москве, вышедшие до середины XIX столетия, весьма редки. Среди них книга Глинки занимает почетнейшее место. Для своего времени она написана на хорошем литературном уровне. Весьма украсили ее отличные виды Москвы (гравировал Д. Аркадьев).

Сначала немного об авторе. Сергей Николаевич Глинка (1775—1847) — известный писатель, драматург, издатель, брат декабриста Федора Глинки. Он автор многих исторических пьес и книг: «Минин», «Наталья, боярская дочь», «Осада города Полтавы...» и др. Но для библиофилов он оставил о себе главную память — путеводитель, который с таким удовольствием рассматривал Васильев на Шафтсбери-авеню.

С хорошим настроением и книгой о Москве советский журналист возвращается к Гайд-парку. Здесь в гостинице «Парк-кортотель» на улице Бейзуотер, где он остановился, предвкушая наслаждение, раскрыл путеводитель. Вот, оказывается, каким был наш город в пушкинские времена: «Нельзя не дивиться огромности некоторых московских зданий... Почти все московские дома кирпичные... Нигде так быстро не строятся... Широкие улицы... не преграждают течение воздуха».

Сам Глинка родился в Смоленской губернии. Но с какой любовью он пишет о Белокаменной! Находясь в туманном Лондоне, потомственный москвич Васильев жадно вчитывался в строки: «Едва ли какой город представляет зрелище обширнейшее и удивительнее того, каким поражается путешественник, приближаясь к древней столице... На прекрасном светло-голубом небосклоне усматривает он, сколько взор его может обнять пространство, бесчисленное соединение зданий разнообразного зодчества, а в середине пирамиду с куполом, сверкающим в воздухе золотым блеском. Множество колоколен и башен в виде минаретов представляют сии картинные виды, которым взор удивляется, хотя и не может к ним привыкнуть... Густая зелень деревьев оживляет сей очаровательный вид свежестию, которой не встретим внутри других городов...»

Вид, представляющийся с колокольни Ивана Великого, а так же и с прибрежного возвышения у дворца, столь же прелестен.

Тут не беспокоит взора цвет сероватый и темный, напечатанный временем на внешности других городов. В неизмеримом круге, описываемом столицею, разноцветные кровли домов представляются ему обширною мозаическою картиною, блестящей золотом, серебром и другими красками. Сие зрелище особенно поражает тех, которые за несколько лет перед сим зрели Москву в пепле пожарном и облегченною безбрежною пучиною пламени...

Но, к счастью человечества, за днями скорбными (нашествие Наполеона. — В. Л.) следуют дни радостные. Едва развалины московские перестали дымиться, народ отовсюду стекался... Где мы зрели развалины, там потомство увидит прекрасный город».

Автор приводит статистические данные. «До большого пожара число домов простиралось до 9 158, из коих 6 341 сгорели; а с того времени выстроили 8 027; следственно, после 1812 года число оных умножилось».

Если во времени Рубана и Чеботарева Москва делилась на четырнадцать частей (районов), то теперь таких стало двадцать. Олег Сергеевич родился на Сиротской улице, что за Калужской заставой. На странице 53 он отыскал «свою» часть — Серпуховскую. Почти полтора столетия назад здесь были: «четыре квартала и тринадцать больших улиц. Кожевническая, Дербенская, Коломенская, Ямская, Зацепская, Дворянская, большая и малая Серпуховская, большая и малая Даниловская, Калужская, Донская и Шаболовка. Они соединяются 26 поперечными улицами.

В сей части восемь церквей с семью гостиницами и два монастыря — Донской и Даниловский. Казенные здания суть: Павловская больница, больница Голицынская, съезжая, Сытный двор, два винных дома, народная школа, масляной двор, соляной двор и выгон для скота. Рынков один с 17 лавками и 194 домовых лавки; 422 деревянных и 144 каменных дома; 34 пруда, 25 огородов, 91 сад, 11 оранжерей, шесть караулок, 20 будок, 266 фонарей, одна баня и 51 фабрика. Число жителей 9532».

Из окон «Парк-корт-отеля» открывался вид на Гайд-парк. По его аллеям фланировали гуляющие, на скамейках сидели юные пары, няни катили коляски с младенцами. Подумалось: как выглядели бульвары пушкинских времен глазами очевидца? Ведь почти наверняка Глинка встречался с Александром Сергеевичем (с которым был знаком, которому посвящал стихи и у которого бывал дома), скажем, на Тверском бульваре. На странице 356 Олег Сергеевич нашел главу «Сады, бульвары». В ней он прочитал следующее: «В многолюдных городах общественные сады не только приносят удовольствие, но и действуют на нравственность жителей. На таких гуляньях необходимо должно соблюдать опрятность в одежде и вежливость в поступках. Взаимные свидания, утверждаемые привычкою и приятностью ума, и незнакомых делают знакомыми; следственно, узы приязни и нежного внимания умно-

жаются... Бульвары простираются полукружием около Белого города и оба конца их прилегают к Москве-реке. Тверской бульвар, столь часто переправляемый, получает теперь новое существование. И тут будут цветники, приятные беседки и картинные мостики; и тут все обновляется к удовольствию любителей прогулок. А кому не приятно насладиться ясным летним днем?»

Автор приводит строки Г. Р. Державина: «Веселье то лишь беспорочно, раскаянья за коим нет». Русские умели работать, но и любили отдохнуть, развлечься на публике. Первого мая каждого года тысячи москвичей стекались в Сокольники. Глинка пишет: «Лес, в котором гуляют первого мая, есть большая столовая, где каждый гость садится за один стол... Трудолюбивые люди, проводя целую неделю в трудах, должны искать отдыха и приятного развлечения... Тут под столетними деревьями, современными первому гулянию первого мая, готовится вкусное и умеренное пиршество, а там дымятся блестящие самовары. Вечеру между дерев сверкают огни, извещающие, что тут ужинают мирные и дружные семейства. Тут и безмятежное наслаждение и шумное веселие».

Вскоре и эта редкая книга встала на полку московской библиотеки Васильева...

## БЕЗ ЗАГРАНИЧНОЙ РОМАНТИКИ

Васильев заходил порой к А. И. Фадееву, подружился с другими московскими букинистами. Среди них был и старейший книготорговец, начинавший свою деятельность еще в середине 20-х годов у Китайгородской стены — Л. А. Глезер. Уже несколько полок были заняты книгами о Москве и путеводителями, которые были предметом особого интереса собирателей. Это не случайно. Путеводитель, по сути своей, предназначается для практического использования современниками. Путеводитель — подлинный документ своей эпохи. Вот чем он интересен.

Надо сказать, что лучшие букинисты считают радостью помочь собирателю. Олег Васильев — настоящий собиратель, страстный, увлеченный идеей не только отыскать редкости, но и изучить их. Вот почему подборка книг о Москве у него быстро увеличивалась.

Однажды Олег Сергеевич в городе Йорке заглянул в антикварный магазин — именно так здесь называются букинистические — под заманчивым названием «Художественные открытия». Спросил у продавца:

— Скажите, на русском языке у вас есть книги?

Тот надолго задумался. Потом отрицательно мотнул головой:

— Сожалею, но сейчас показать мне нечего...

Васильев направился к выходу. Вдруг продавец догнал его:

— Простите, я вспомнил. Есть очень хорошие старинные гравюры. На них изображен Санкт-Петербург.

И он вытащил на свет божий действительно старинные гравюры, засунутые под какие-то бумаги. На них были изображены... Кремль, Охотный ряд и другие виды Москвы.

Получил он несколько ценных подарков от известного собирателя военной атрибутики Е. С. Молло, русского человека, оказавшегося после революции в Англии и прожившего там всю жизнь. О его дружбе с О. С. Васильевым мы немного рассказали в «Альманахе библиофила» (выпуск IX, с. 126—134). Он подарил Олегу Сергеевичу, в частности, «Устав столичного города Москвы». Он был утвержден Павлом I 17 января 1799 года. Книжечка очень редкая, ибо напечатана в считанных экземплярах.

Но это — лишь отдельные эпизоды в четвертьвековой собирательской деятельности Васильева. Будни библиофильских поисков весьма схожи с рыбной ловлей. Сидит на бережку любитель ужения. Сидит спокойненько, ничего вроде необыкновенного не делает. Но то карась бокастый попадется, то леща приличного вытянет. У него ведро почти полное, а у соседей — пусто. Хотя наживка одинаковая, да и место на берегу не хуже. А секрет прост: он дело знает, ну и удачливее, быть может.

Я приехал в гости к Васильеву, рассматривал живописные полотна, старые иконы, великолепные гравюры с изображением Москвы. Особая любовь хозяина — старинные карты, начиная со знаменитого «плана Москвы» Ивана Мичурина 1739 года. Большая подборка видов Москвы на открытках. Но главное — шкафы с редкими книгами в отличной сохранности.

Мне довелось знать многих известных библиофилов. Прекрасные часы провел в грандиозной библиотеке Н. П. Смирнова-Сокольского. Восхищался старинными и первопечатными изданиями легендарного «подмосковского аксакала» (определение Льва Озерова), собиравшего более семидесяти пяти лет книги, М. И. Чуванова, тонкого знатока редкостей писателя В. Г. Лидина и др. И могу смело утверждать: москowiана Васильева — одна из превосходнейших. Она имеет серьезное научное значение.

## И ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Следует оговориться: в собрании Васильева немало интересных и редких книг. Так, мы могли бы повести разговор о книгах по истории России.

Но мы начали беседовать о путеводителях и — да простят мне каламбур — будем идти по этому пути.

— Давайте заглянем в некоторые из них, — предлагает Олег Сергеевич. И он берет из шкафа солидный четырехтомник

«Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского, 1831 год.». Это, кажется, самый большой по объему выпуск. Наугад раскрыв, Васильев прочел:

«Спросите каждого из жителей московских, что было на месте кремлевского сада за год пред его открытием, то есть в 1820 году, и от каждого услышите: тут был овраг, по коему протекала болотистая речка Неглинная, тут был овраг, куда сваливалась всякого рода нечистота, лежали кучи навоза, и, словом, непроходимое место. Что ж ныне? Прекрасно планированный, простирающийся вдоль всей стены Кремля сад. Главный вход в оный прикрыт великолепною решеткою, отлитую из чугуна на заводе Чесменского Александром Васильевичем Немчиновым. Столбы сей решетки имеют вид римских ликторских пучков.

...При входе в сад от Никитской сделан прекрасный мост, по сторонам которого поставлены грифы».

Олег Сергеевич показывает мне двухтомник в красивом полужокожаном переплете: «Описание Москвы и ее достопримечательностей... Москва, в типографии Александра Семена на Софийской улице, 1850 год».

— Этот путеводитель увидел свет на рубеже двух эпох в деле печатания подобных изданий, — объясняет Олег Сергеевич. — Дело в том, что с середины прошлого столетия, с введением и ростом железных дорог, резко увеличилось количество путешественников и приезжающих в Москву. Каждый путеводитель той поры непременно включал в себя обширную историческую справку о возникновении Москвы, о ее значении экономическом и политическом для России. В этом отношении путеводители играли важную просветительскую роль. И именно с этой поры они стали выходить чаще и большими тиражами.

Для читателей «Альманаха библиофила» я специально выписал названия некоторых глав. Они помогут понять обширность, даже энциклопедичность сведений, которые сообщает путеводитель:

«История Москвы», «Ремесла и искусства», «Одежда, домашняя утварь и обычаи», «Московские святыни», «Кремль с его достопримечательностями», «Присутственные места», «Благотворительные заведения», «Больницы», «Учебные заведения» (с образцами написания прошений о зачислении) и пр.

Как видим, кроме исторических сведений, приезжающий получал практические советы, которые могли ему пригодиться во время пребывания в Белокаменной. Путеводители обычно помещали наименования, адрес и разряд гостиниц и трактиров, расписание поездов, а порой даже примерную стоимость проезда по городу на конном транспорте.

Наш путеводитель как достижение отмечал: «Москва освещается 6691 фонарем».



Любопытно, что многие традиции москвичи сохраняют из века в век. Так, путеводители прошлого сообщают об «обширной продаже» нот в магазине П. Юргенсона на Неглинной. Или о том, что «торговый дом «Сергей Васильевич Перлов», существующий с 1725 года, предлагает чай черные, цветочные, китайские под бандеролью. Главный магазин, контора и склад в Москве, на Мясницкой улице, против почтамта». Нотный магазин на Неглинной, чайный магазин и почтамт — все это осталось на своих местах (только древнее название Мясницкой сменилось на улицу Кирова. Кстати, это вряд ли хорошо — переименовывать исторически сложившиеся названия улиц. Кто-то правильно заметил: лет через пятьдесят появятся новые герои, так что, вновь менять названия улиц и площадей!).

Приведем выдержку из упомянутого путеводителя 1850 года: «Чистые пруды. Здесь, как гласит древнее предание, стоял дом боярина Кучки и около него было селение. Пруд обнесен прекрасными липовыми аллеями. В зимнее время здесь бывает катание на коньках». И пруд, и липовые аллеи прекрасно сохранились.

Олег Сергеевич показывает еще одно издание: «Путеводитель по Москве и ее окрестностям с приложением планов: «Москвы и ее окрестностей» и «Политехнической выставки», портретов царя Иоанна IV Грозного и императора Петра I Великого, видов древних хором царя и царицы — с северной стороны, герба города Москвы и указателя железных дорог...» Вопреки несколько тяжеловесному заглавию, книга, напечатанная в 1872 году, спустя ровно 90 лет после выхода первого путеводителя Рубана, издана весьма толково, включает множество сведений по истории улиц, дворцов, старинных зданий.

Взяв за руководство это издание, можно было пройти по многим кварталам города, полюбоваться памятниками седой старины. Скажем, на той же улице Кирова, в самом ее начале, сейчас разбит небольшой сквер. Но житель старой Москвы видел здесь постройку XVII века (она сохранялась до 60-х годов нашего столетия). Авторы путеводителя В. Долгорукий и В. Анофриев рассказывают, что здесь находилась «знаменитая тайная канцелярия розыскных дел... учрежденная Петром I и заведовавшая особенно важными уголовными делами: об оскорблении величества, о заговорах против государя, о делании фальшивой монеты и т. п. Дела, производившиеся в ней, сохранялись в тайне. При Екатерине II начальником тайной канцелярии был известный Степан Иванович Шишковский... Обвиняемые содержались в каменных мешках, и им не дозволялось иметь свиданья ни с знакомыми, ни с близкими родственниками. Для увещаний, рядом со священником, с крестом и евангелием, находился палач, лежали розги, плетки, «кошки» и иные орудия пытки.

В этом страшном судилище был заточен Емельян Пугачев с

своими сообщниками, и здесь производилось следствие над ними. Тут же содержался в 1792 году Николай Иванович Новиков — известный деятель на пользу русского просвещения...».

Бежало время. Уже с начала XX столетия начинают выходить по недорогой цене, всего несколько копеек, «тонкие» путеводители, рассчитанные исключительно для практических целей: помочь гостям «первопрестольной» разобраться во множестве улиц, узнать адрес музея или театра, почтового отделения или учреждения. У Олега Сергеевича целая подборка подобных изданий.

### «РОССИЯ — СЧАСТЬЕ НАШЕ!»

Одна из самых заветных книг всякого библиофила — это фундаментальный 7-томный труд крупнейшего этнографа А. В. Терещенко (1806—1865) «Быт русского народа», увидавший свет в 1848 году.

Автор увлекательно пишет о свадьбах и нарядах, хороводах и песнопениях, святках и масленице, пасхе и троицыне дне, первом апреля и первом мая, крещении и похоронах и многом, многом другом.

По мнению Терещенко, москвичи, как и вообще все русские люди, славились телесной крепостью, умением переносить невзгоды, бодростью духа, отличались здоровым образом жизни, трудолюбием и добрым отношением к людям. По мнению автора, «наши предки были трезвые и умеренные, довольствуясь тем, что производила природа. Наслаждались долговечностью, были крепкие и веселые, любили пляски, музыку, хороводы и песни. Не знали никаких заразных болезней, переносили холод и зной в равной степени... Неутомимые в трудах...

Доброта сердца, обнаруживавшаяся повсеместным гостеприимством, была отличительной чертой наших предков, и самое отдаленное потомство не изменило их умилительных чувств хлебосольства».

Следует отметить, что наши предки были рачительные домохозяева, начиная от мелкого ремесленника, ютившегося в отдаленных Сокольниках, до великого князя. В самой Москве повсеместно возделывали сады и огороды. В лесах водилось множество диких пчел. Они устраивали свои улья в дуплах старых деревьев — бортях. Порою встречались громадные пни, наполненные превосходным медом.

Мед стоил крайне дешево (как и другие съестные припасы) и шел во всякую еду. Москвичи ели его с хлебом, ягодами, делали из него напитки. Терещенко отмечает: «Простой народ питался довольно умеренно: хлеб, квас, соль, чеснок и лук... Щи, каша, кисель овсяный готовились повсюду дома. Щи приготавливались с куском свиного сала или говядины... Хороший хлеб, рыба

свежая и соленая, яйца, огородные овощи — капуста, огурцы, репа, лук считались лучшими кушаньями.

...С печением хлебов соединялось знание домоводства, и та пренебрегалась хозяйка, которая не умела хорошо спечь их: ибо думали, в чьем доме хороший хлеб, в том хорошая хозяйка...

Пироги пекли с разною начинкой: из яиц, капусты, рыбы, грибов, рису, гороху и пр. Должно думать, что пироги с начинкой были те же кулебяки — старинное и любимое русское кушанье, которое превосходнее многих заморских выдумок по пирожной части.

Олеарий, бывший в Москве в половине XVII века, пишет, что русские уже привыкали к салату. Но еще в начале XIX века многие не могли есть его по предубеждению к немцам (так русские величали всех чужестранцев. — В. Л.)».

Без сомнения, это предубеждение вызывалось обычным для иностранцев употреблением спиртного и табака, к чему у большинства русских было глубокое отвращение, как к «баловству и греху».

Известно, что великие князья, «сидящие на Москве», ограничивали или даже вовсе запрещали неумеренное потребление алкоголя. Так, великий князь Иван III совершенно запретил готовить крепкие напитки. Даже Иван Грозный, открывший для опричников первый в Москве кабак на Балчуге, позволял москвичам потреблять хмельное лишь по большим праздникам.

Барон Зигмунд Герберштейн, два раза посетивший Московию (1517 и 1526 годы), «говорит с удивлением», что москвичи в будние дни работают и не употребляют хмельного. «Одни иноземные воины, служившие за деньги, имели право быть невоздержанными в употреблении хмельных напитков».

Подводя итог своим исследованиям, Терещенко с гордостью пишет: «Россия — счастье наше!»

## ТЕЛЕФОН 3-01-50

Наша встреча с Васильевым подошла к концу. Не утерпев, спрашиваю:

— А у вас есть самый последний «толстый» путеводитель по Москве, вышедший до революции?

Олег Сергеевич протягивает солидную по объему книгу:

— Этот путеводитель «По Москве» в 1917 году издан известными М. В. и С. В. Сабашниковыми. Ах, как интересно читается эта книга, сколько важных сведений содержит она о нашей столице! Авторы с любовью и знанием дела пишут о «неповторимом городе», «со своеобразной, ему только присущей физиономией». Имеют ее и московские дома, большей частью невысокие,

2-х, 3-х, а на окраинах одноэтажные; чуждыми пришельцами кажутся высящиеся там и сям, бок о бок с маленькими домиками громадные московские небоскребы».

И еще раз с огорчением можно отметить, что с той давней поры старинный и бывший неповторимым облик Москвы стерся почти полностью.

— Вот полюбуйтеесь, — улыбается Олег Сергеевич. — Это один из самых первых советских путеводителей, носящий справочный характер: «Вся Москва», Универсальное издательство, 1922 год, тираж 5 тысяч экземпляров. В нем мы находим адреса и телефоны всех государственных учреждений, руководителей и ответственных лиц, промышленных и торговых организаций.

Читаю в предисловии: «Приступая к изданию справочника «Вся Москва», мы имели в виду дать исчерпывающие сведения об учреждениях Москвы, как столицы Советской России. Это сделано с целью, чтобы общественные организации и частные, а в особенности приезжающие из провинции, могли легко ориентироваться и найти в ней все самые необходимые сведения».

На странице 89 нахожу: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Совет Народных Комиссаров (Совнарком)...

Ульянов (Ленин), председатель, комната 53, тел. 3-01-50».  
Впечатление сильное!

## *Лидия Антик*

### **ВСПОМИНАЯ ОТЦА**

Среди многочисленных издательств предреволюционной России своей просветительской направленностью выделялось московское книгоиздательство «Полюза», чьим основателем и владельцем был выпускник юридического факультета Московского университета Владимир Морицевич Антик (1882—1972). Его деятельность немало способствовала утверждению принципа серийности в русской и советской издательской практике. Так, выпускавшаяся им «Универсальная библиотека», созданная по образцу популярной немецкой серии «Reclams Universal Bibliothek», вслед за «Дешевой библиотекой» петербургского издателя А. С. Суворина, стала одной из наиболее известных всей читающей России. Это о ней вспоминал К. Г. Паустовский: «...может быть, в увлечении нашем западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки «Универсальной библиотеки», — писал он в «Повести о жизни». — За двадцать копеек можно было прочесть «Монт Ориоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку», «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем».

С 1906 по 1918 год в серии вышло более 750 различных произведений классической и современной русской и зарубежной литературы (1300 выпусков). Наряду с Шекспиром, Гёте, Пушкиным, Л. Толстым мы встречаем многих современных В. Антику авторов, а среди сотрудников издательства — лучших переводчиков начала века: В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, Ю. К. Балтрушайтиса, З. А. Венгерова, О. Б. Румера и др. Популярность и успех «Универсальной библиотеки» были настолько велики, что ряд петербургских и московских издательств последовали ее примеру, и тогда появились «Всеобщая библиотека», «Популярная библиотека», «Летучая энциклопедия» и другие дешевые массовые серии.

Значительное место в дореволюционной издательской деятельности В. Антика принадлежит и таким многотомным общеобразовательным сериям, как «Практическая энциклопедия», «Педагогическая академия», «Народный университет», в подготовке которых приняли участие ведущие ученые и специалисты самых различных отраслей знания.

Весомый вклад был сделан В. Антиком и в становление советского книгоиздательского дела, которому он отдал большую часть своей жизни. В Госиздате, «Прибое», «Акционерном обществе наглядных пособий» и других издательских предприятиях, где работал Владимир Морицевич, — всюду он стремился внести творческое начало.

Наиболее интересной и значительной идеей, высказанной В. Антиком в тридцатые годы, было создание крупных книжно-издательских комплексов близ источников сырья — так называемых «книгостроев». По мнению В. Антика и его единомышленников — доктора химических наук, профессора Л. П. Жеребова и известного издательского работника В. А. Тронина, — создание «книгостроев» в стране было необходимо, прежде всего, для полного удовлетворения учебной и общественно-политической книгой многомиллионного советского читателя.

Именно эта сторона деятельности В. М. Антика особенно хорошо знакома его дочери, кандидату химических наук Лидии Владимировне Антик. В течение многих лет она не только была свидетелем целенаправленной деятельности группы энтузиастов, но и верной их помощницей, а потому в своих воспоминаниях уделяет этому вопросу значительное внимание.

Записки Л. В. Антик, на наш взгляд, представляют немалый интерес не только для специалистов книжного дела, но и для широкого круга читателей, интересующихся прошлым отечественной культуры.

*Леонид Юниверг*

\* \* \*

С какой-то непонятной силой  
Былое вдруг озарено.  
Мне память снова оживила  
Всех тех, кого уж нет давно.

Мне посчастливилось прожить с отцом, Владимиром Морицевичем Антиком, большую часть моей жизни. Он умер в 1972 году в возрасте 90 лет.

В моей памяти отец — воплощение доброты и справедливости. Всегда с большим чувством юмора, он до конца дней был жизнелюбом и оптимистом. В быту он был легким, нетребовательным, в работе — горящим, страстным до вспыльчивости, но быстро отходчивым человеком, в обществе — интересным, увлекательным собеседником, умевшим не только хорошо говорить, но и слушать. Свою мать, Лидию Семеновну, я не знала. Она умерла в 27 лет, через 11 дней после моего рождения, и, таким образом, мое появление на свет было причиной ее гибели и большого горя отца.

Отец родился в 1882 году. Мой дед — в ту пору студент Рижского политехникума, стал впоследствии банковским работником. Со слов отца знаю, что дед мой был благожелательным, жизнерадостным человеком, видевшим в людях прежде всего хорошее. При относительно скромном, особенно в начале его деятельности, бюджете дед треть всего заработанного отдавал молодым людям, работавшим в банке, чтобы они могли получить образование.

Раннее детство отца прошло в селе Богатое близ Самары, где дед служил экономистом на сахарном заводе. Потом семья переехала в Рязань, и там прошли гимназические годы отца.

С детства он очень много читал. В гимназической библиотеке трудно было подобрать что-нибудь еще ему не знакомое, не прочитанное. Старший из детей, он по поведению не был примером для своих трех сестер. Очень живой, в классе он стал первым по озорным выдумкам. По рассказам отца, его постоянной отметкой по поведению была тройка. Если что-то случалось, не приходилось особенно выяснять, кто виноват, и бывало, что по субботам, после уроков, отца сажали в карцер, а оттуда он шел в семью инспектора гимназии, где устраивались вечера и где было много молодежи, много музыки и веселья.

Отец рассказывал, что однажды в Рязань приехал театр. Ставились спектакли, которые гимназистам смотреть было запрещено. Отец и его товарищ оделись по-купечески, приклеили бороды и пошли в театр на галерку. Их никто не узнал, но случилось так, что у кого-то стащили кошелек. Подозрение пало на странно одетых незнакомцев. Чтобы снять с себя подозрение, пришлось

отклеить бороды. За посещение запрещенных спектаклей полагалось строгое наказание. К счастью, этот случай не дошел до гимназического начальства.

Когда дети возмужали, в семье деда стала бывать социал-демократическая молодежь. Сестра отца С. М. Антик впоследствии участвовала в распространении нелегальной литературы.

В 1901 году отец окончил гимназию в Рязани, а затем поступил на юридический факультет Московского университета,



В. М. Антик

который закончил в 1907 году с дипломом первой степени. В 1904 году, еще студентом, он работал в книгоиздательстве братьев Гранат уполномоченным по распространению книг и объехал значительную часть России, вербуя подписчиков на знаменитый впоследствии энциклопедический словарь.

Уже тогда определилась судьба отца. Seriously заинтересовавшись книгоиздательским делом, он понял, что посвятит ему всю жизнь. Отец решил создать свое книгоиздательство, которое должно будет выпускать лучшие произведения мировой художе-

ственной литературы, а также научно-популярные книги по очень дешевой цене, что сделает их общедоступными. Итак, еще в студенческие годы, имея запас энтузиазма и энергии, опыт по книгораспространению и 275 рублей, заработанных в издательстве братьев Гранат, отец приступил к выполнению своих планов.

Мне запомнился его рассказ о том, как были созданы первые научно-популярные серии, в частности «Народный университет» — серия, посвященная гуманитарным наукам и отличавшаяся своим просветительским направлением. Несмотря на тяжелые для авторов условия (получение гонорара после выхода книги из печати), в серии согласились принять участие передовые ученые того времени: А. А. Боровой, М. М. Ковалевский, Н. М. Мендельсон, В. И. Пичета, К. М. Тахтарев, В. М. Фриче и др.

Отец и несколько его товарищей-студентов разъехались по разным городам для пропаганды этих изданий и проведения подписок. Отец рассказывал, что результаты превзошли его ожидания. С полученными подписками он пришел в московскую типографию Русского товарищества печатного и издательского дела, рассказал, что у него, кроме рукописей и оставшейся после поездок части первоначальных взносов, ничего нет, и просил отпечатать в кредит первые тома серии на бумаге типографии и разослать их подписчикам. Под залог отец предлагал полученные от подписчиков задатки. В типографии были крайне удивлены его предложением, сказали, что подумают, и просили, чтобы он завтра пришел за ответом. На другой день они заявили, что не будут заниматься расseyлкой изданий и задатков в залог не возьмут, но откроют кредит под студенческое слово и начнут печатать на своей бумаге. Отец рассказывал, что потом они стали друзьями и деловые отношения существовали много лет.

Так возникло книгоиздательство «Польза» В. Антик и К<sup>о</sup>, которое стало быстро развиваться. Вокруг него сплотилась группа передовых ученых и литераторов, принявших участие в подготовке новых серийных изданий: «Педагогическая академия» и «Научно-популярная библиотека». В этих сериях участвовали такие известные ученые, как А. П. Нечаев, А. К. Дживелегов, Н. В. Чехов... Однако главной удачей нового издательства было создание серии «Универсальная библиотека», включавшей лучшие произведения мировой классической и современной литературы. Произведения иностранных писателей выпускались в переводах Ю. Балтрушайтиса, В. Брюсова, З. Венгеровой, М. Ликиардопуло, О. Румера, Т. Шишмаревой, В. Ходасевича, Н. Эфроса и других первоклассных переводчиков.

Некоторое время в «Универсальной библиотеке» сотрудничал известный деятель революционного движения В. П. Ногин, напечатавший в ней свои переводы двух книжек — Джерома К. Джерома: «Человек, который не верил в счастье» и «Скряга из Саардама».



Недавно в книге В. Архангельского «Ногин» (серия «Жизнь замечательных людей») я прочла, что В. П. Ногиним были сделаны также для этого издательства переводы повести Г. Уэллса «Человек-невидимка» и избранных новелл Д. Голсуорси.

Однажды у С. М. Антик (сестры отца) ее сын спросил, как ей удалось сделать такой хороший перевод «Дамы с камелиями» А. Дюма. Она ответила: «Попробуй не сделать хорошо, если с одной стороны за переводом внимательно следит твой отец, прекрасно знающий литературу и хорошо чувствующий дух и стиль подлинника, а с другой стороны — О. Б. Румер». Семья С. М. Антик была нам самой близкой. Ее муж, Владимир Михайлович Турбин, являлся, по существу, главным редактором книгоиздательства «Польза». Математик по образованию, он был всесторонне эрудированным человеком: знал физику и ряд смежных наук, интересовался философией, статистикой, кооперацией, хорошо знал отечественную и зарубежную художественную литературу, любил и понимал музыку.

Весьма много для «Пользы» сделал также Осип Борисович Румер, друг детства моего отца — поэт, литератор, знавший практически все европейские языки и несколько восточных. Будучи уже взрослой, я с восхищением читала его переводы Омара Хайяма с персидского и некоторых новелл со старофранцузского. Помимо вышедших в «Универсальной библиотеке» собственных переводов, Румер, являясь сотрудином издательства, редактировал многие выпуски, где публиковались произведения зарубежных авторов. Кроме того, он участвовал в составлении французско-русского словаря, также вышедшего в серийных выпусках «Библиотеки».

В 1906—1907 годах увидели свет первые 35 книжек «Универсальной библиотеки», продававшиеся по баснословно дешевой цене (в среднем из расчета 10 копеек за 100 страниц, т. е. за отдельный выпуск). Уже на первых порах у молодого издательства возникла проблема, как довести до массового читателя книжечки «Универсальной библиотеки». Ведь книготорговцы категорически отказывались их покупать, поскольку находившиеся в их магазинах те же книги, выпущенные другими издательствами по цене рубль-полтора, не имели бы сбыта. Отец рассказывал, что, приняв решение бороться с книготорговцами и веря в то, что дешевые книжки «Универсальной библиотеки» будут расходиться большими тиражами, он направился в солидную контору объявлений «Метцель» и предложил на всю довольно значительную сумму, имевшуюся в тот момент в кассе издательства, развернуть рекламную кампанию в крупнейших газетах и журналах, сообщая о том, что вышли 35 книжек «Универсальной библиотеки» и что их можно приобрести по 10 копеек во всех книжных магазинах России.

Студенты — товарищи отца — ходили по книжным магазинам

и спрашивали книжки «Универсальной библиотеки». Наконец, когда дешевая серия появилась на прилавках, те же студенты скупили часть тиража. Итак, принеся известный убыток, часть первых выпусков вернулась в издательство, но лед тронулся: торговля началась. «Универсальная библиотека» пошла и стала пользоваться все возрастающей популярностью. Впоследствии на книги этой серии поступало столько заказов, что их невозможно было вовремя удовлетворить.

В ту пору отец заканчивал университет и сдавал государственные экзамены. Он рассказывал, что вел тогда напряженную жизнь: вставал в 6 часов утра, занимался до 12 часов, потом принимал душ Шарко и с новым запасом бодрости ехал в издательство, а вечером встречался со своей невестой — моей будущей мамой. По окончании университета и сразу после состоявшейся свадьбы отец уехал с мамой на Иматру. Они прибыли туда в сочельник, и когда, нарядно одетые, вышли из номера в зал отеля, то были удивлены. Стояла огромная украшенная елка, но людей в зале не было. Оказалось, что, хотя Финляндия входила в состав России, она жила по европейскому стилю, и рождество там уже прошло.

Отец вспоминал, что первое время «Универсальная библиотека», продаваемая магазином с тридцатипроцентной скидкой, была для издательства убыточной и существовала за счет других изданий. Он стал изучать экономику издательского дела. Довольно скоро ему удалось снизить себестоимость номера с 7 до 2 копеек, и впоследствии серия стала приносить большой доход, что дало отцу возможность расширить дело и выпускать больше хороших книг. Всего в серии «Универсальная библиотека» вышло более 750 названий, составивших около 1300 выпусков.

Из русской классики в серии были выпущены: «Слово о полку Игореве», произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, В. Белинского, Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого и др. Иностранная художественная литература была представлена произведениями У. Шекспира, Ф. Шиллера, Ж.-Б. Мольера, О. Бальзака, Г. Мопассана, А. Франса, Э.-Т. Гофмана, Г. Ибсена, К. Гамсуна, Б. Шоу, Г. Уэллса, О. Уайльда, Д. Лондона, Р. Киплинга и многих других.

Интересно отметить, что спрос на некоторые произведения был так велик, они так быстро раскупались, что повторные издания печатались незамедлительно. Это прежде всего относится к роману Э. Л. Войнич «Овод» и к произведениям Джека Лондона.

Издательство было прогрессивным, поэтому неизбежно возникали конфликты с цензурой. Отец неоднократно привлекался к судебной ответственности по литературно-издательским делам и давал подписку о невыезде. Помню его рассказ об одном судебном разбирательстве. Отец отказался от адвоката. Он избрал оригинальную форму защиты: в зал суда была внесена бельевая корзина,

наполненная книжечками «Универсальной библиотеки». «Мог ли я все это прочитать?» — обратился отец к судьям. И сам же ответил: «Это дело цензуры, а я на нее полагался». На этом тогда дело было прекращено.

Отец встречался со многими писателями, поэтами, учеными, артистами, издателями — с передовыми и интересными людьми того времени, но, к сожалению, не оставил об этих встречах воспоминаний. Мне запомнились лишь некоторые его рассказы, в частности об И. Д. Сытине, который был намного (на 31 год) старше и называл отца «Володок». Однажды, в начале 1910-х годов, Сытин предложил ему взять на обучение одного из своих сыновей. Отец, однако, отклонил это предложение: «Что вы, Иван Дмитриевич, вам и карты в руки — обучать своего сына книгоиздательскому делу...» У Сытина был огромный коммерческий талант. Как-то он сказал отцу, что если бы стал заниматься не издательским делом, а пароходным, то непременно был бы первым пароходчиком на Волге.

Вспоминал отец и такой эпизод. Однажды, после смерти Л. Н. Толстого, он получил от В. Г. Черткова приглашение приехать в его имение близ Ясной Поляны. Были условлены день и час. На платформе встретились издатели, каждый из которых, как оказалось, получил аналогичное приглашение. У Черткова был организован роскошный прием. Из яств, по рассказам отца, мне запомнилась стерлядь, а из других колоритных деталей — то, что сын Черткова встречал гостей в красной шелковой косоворотке. По окончании застолья перешли к делу. Чертков предложил издателям называть суммы, которые они могли бы предложить за право издания произведений Толстого, — кто больше даст. И. Д. Сытин тотчас назвал несуразно огромную. Никто больше не выступил: право осталось за Сытиным. Поняли, что у него с Чертковым, вероятно, была предварительная договоренность. Собравшиеся разъехались по домам. Позднее Сытин рассказал отцу, что действительно у него с Чертковым была предварительная договоренность о праве издания произведений Л. Н. Толстого, но что сумма, названная им на собрании издателей, была несравненно выше настоящей.

Запомнился также рассказ об одной из встреч с А. И. Куприным. Как-то в разговоре с писателем отец упомянул о своей невесте — моей будущей мачехе — как о большой поклоннице его творчества. Куприн тотчас на книге «Поединок» сделал дарственную надпись, к которой приписал: «P. S. Прошу разрезать листы. P. P. S. А еще для меня было бы приятнее увидеть эту книжку, разорванную нетерпеливой рукой». Этот том и сейчас у меня.

Не могу не добавить здесь касающуюся А. И. Куприна цитату из книги Леонида Борисова «Родители, наставники, поэты»: «Храню в особом «деле» запись советов, которые получил от

А. И. Куприна в его доме в Гатчине. Ничего не меняю в этих записях, полагаю, что тогда, пятьдесят один год назад, мне удалось интонационно дословно записать речь Куприна: «Покупай, сирота, желтые книжечки «Универсальной библиотеки», — знаешь такие, покупал? Там на титуле — имеешь понятие о титуле? — так вот, на титуле стоит фамилия хозяина этого издательства: В. Антик. Хороша фамилия, а? Собирай все, ежели копейки водятся, отбор потом сделаешь! Уже делаешь? Ой, какая ты сирота славная!.. »

Отец прожил большую, интересную жизнь. Очень жалею, что не записывала того, что он рассказывал.

---

В 1918 году издательство, большая библиотека, находившаяся при нем, типография, приобретенная в последние годы существования издательства, были муниципализированы. Мне было тогда около семи лет, но все-таки помню, что события эти воспринимались без трагедии. Отец оставался всегда человеком левых убеждений и, конечно, большим патриотом.

Помню также рассказанный мне отцом позднее такой случай: к нему пришел служащий типографии и спросил, нельзя ли принять на работу, быть может ненадолго, человека, которому, когда он скажет, нужно будет сразу дать расчет. Отец понял, что речь идет об одном из деятелей революции, и дал согласие.

Ни тогда, ни потом я не слышала от отца сожалений о личной потере материальных ценностей. Главным для него была возможность продолжать работать и издавать книги. Единственное, правда, о чем он в старости вспоминал и жалел, что при одном из переездов, которые у нас бывали, пропал ящик с полным комплектом всех его изданий. У меня сейчас сохранилось лишь небольшое количество выпущенных им книг.

После муниципализации издательства отец в течение нескольких лет оставался его заведующим и продолжал работать сначала по заказам издательства ВЦИК, а затем — Госиздата. Благодаря этому выпускались серии: «Общая библиотека» (печатавшиеся с матриц «Универсальной библиотеки») и «Всеобщая библиотека». По издательским делам отец часто встречался с В. Д. Бонч-Бруевичем.

Стране нужны были книги. В бумагах отца имеется отношение в Наркоминдел за подписью В. В. Воровского (тогдашнего директора Госиздата) от 23 марта 1920 года с просьбой разрешить отцу выезд из России «в целях исследования возможности печатания книг в Германии и других странах» ...Однако командировка не состоялась: помнится, что отец не хотел на длительное время покидать Россию.

Остановлюсь лишь на отдельных, вероятно, наиболее

интересных и важных для отца моментах его последующей многолетней книгоиздательской деятельности. В конце 1928 года он организовал и возглавил издание серии «Дешевая библиотека Госиздата» («ДБГ»). Это была многотиражная дешевая серия лучших произведений художественной литературы и важнейших социально-экономических трудов.

Однажды отец вернулся из издательства взволнованным. Он рассказал, что к нему приходил В. В. Маяковский и просил, чтобы в «ДБГ» было издано полное собрание его сочинений. Отец объяснил ему, что это невозможно, что серия «ДБГ» не включает полных собраний сочинений, а только избранные произведения, и предложил Маяковскому подобрать то, что он хотел бы пока поместить в один из томов «ДБГ», но Владимир Владимирович на это не соглашался. Договориться было трудно.

«ДБГ», вспомнил отец, имела шумный успех, но просуществовала недолго по независящим от него обстоятельствам. За год с лишним в серии успело выйти более 60 произведений. Прекращение издания этой серии отец тяжело пережил. В письме к тогдашнему наркому просвещения А. С. Бубнову А. М. Горький писал: «Дешевая библиотека» издается у нас очень хорошо, расходуется в огромном количестве экземпляров — зачем же пресекать это издание?»

На протяжении всей своей жизни отец преследовал одну цель: нести просвещение в широкие массы. После издания «Универсальной библиотеки» и «Дешевой библиотеки Госиздата» он продолжал работу над созданием массовой дешевой многотиражной книги.

Отец всегда интересовался вопросами книжной экономики. Наша страна в конце 1920-х — начале 1930-х годов испытывала недостаток в бумаге. Для увеличения в этих условиях книжной продукции отец предложил сократить поля в изданиях, уплотнить набор и т. д., что вскоре стало широко реализовываться. Однако основной идеей, высказанной отцом в начале 1930-х годов совместно с издательским работником В. А. Тронинным (несколько позднее к ним присоединился известный лесохимик, профессор Л. П. Жеребов), было создание в разных концах страны крупных бумажно-полиграфических комбинатов («книгостроев»), которые должны были бы располагаться вблизи источников сырья и специализироваться на выпуске дешевых многотиражных книг.

Отец рассказывал, что постройка типографии, склада и экспедиции рядом с бумажной фабрикой позволила бы значительно снизить транспортные расходы, использовать все отходы бумаги на месте. Кроме того, авторы проекта предлагали ввести единый экономный формат бумаги, уменьшить ее вес, ввести стандартное оформление многотиражных книг и др. Следует также отметить, что в эти годы профессор Л. П. Жеребов нашел способ

быстрой поточной варки целлюлозы, позволявший также осуществлять комплексное использование древесного сырья. Помимо бумаги попутно мог производиться такой ценный продукт, как кормовые дрожжи. Было показано, что сырьем для поточной варки могут служить солома, лиственные породы деревьев, древесные отходы. Метод Л. П. Жеребова должен был стать прекрасной базой для работы «книгостроев».

Многолетняя совместная работа очень сдружила разных по возрасту энтузиастов «книгостроев». Так, Л. П. Жеребов был на 17 лет старше отца и называл его «пионером» за молодую увлеченность работой. Когда они встречались, то радовались друг другу и иногда запевали старую студенческую песню «Gaudeamus».

После всесторонних и многократных проверок проекта «книгостроев», освещения в печати и обсуждений на различных уровнях, в том числе и на самых высоких, отец однажды радостно сообщил, что их идея начинает обретать плоть и кровь и введена в «Проект 2-го пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР».

Однако проект «книгостроев» не был реализован. Проектанты, продолжавшие дорабатывать и совершенствовать его с учетом возможностей и потребностей времени, спустя десятилетие писали: «Пятнадцать лет — немалый срок для человеческой жизни, в особенности в нашем возрасте... Страшно не за свою жизнь, а за то, что с тобою пропадет, уйдет в неизвестность насущно необходимое для нашего народа дело».

Вера в полезность своего труда не позволила отцу опустить руки. Выйдя на пенсию, он смог полностью отдаться любимому делу. Поскольку в свое время проект «книгостроев» получил признание, но по ряду причин не был осуществлен, отец продолжал изучать на современном уровне экономические и технологические аспекты создания дешевой многотиражной книги. В результате своих исследований он доказал, что себестоимость массовых изданий в условиях «книгостроев» может быть снижена в несколько раз при одновременном значительном улучшении качества оформления книги.

...Вижу лицо отца, склонившегося над рабочим столом, от которого ничто не могло его отвлечь. Это был упорный, целеустремленный, увлеченный, бескорыстный труд. Отец надеялся и верил, что все эти идеи в дальнейшем будут осуществлены.

По мере разработки вопрос вырастал в проект реконструкции всего книгоиздательского дела в стране. По убеждению отца, оно должно было занять первое место в мире. Всю свою жизнь отец посвятил приближению этого дня: и когда издавал «Универсальную библиотеку» и «Народный университет», и когда выпускал «Дешевую библиотеку Госиздата» и разрабатывал проект «книгостроя». Всегда и везде главной его заботой

был посильный вклад в просвещение народа, в становление русской и советской культуры.

Сейчас имя моего отца как издателя мало кому знакомо. Карманные желтенькие книжки «Универсальной библиотеки», когда-то широко продававшиеся по всей России, стали библиографической редкостью и известны разве что немногим книголюбам да букинистам. Встречая у них отдельные выпуски «Универсалки» (так когда-то попросту называли серию), я всегда радуюсь им, как бы получая привет из того далека, в котором хорошо знали и ценили моего отца и его большое нужное дело.

# ПОИСКИ И НАХОДКИ

*Иван Карабутенко*

*КНИГА, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ*

*Дмитрий Молдавский*

*«ВИЙ» И МИФОЛОГИЯ XVIII ВЕКА*

*Сергей Таск*

*В ГОСТЯХ У НАБЕКОВА*





# *Иван Карабутенко*

## *КНИГА, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ*

*«Оправдательные мемуары»  
Жанны де Валуа*

### I

Я держу в руках книгу, которая стала мифом: она была сожжена в печах Севрской мануфактуры двести лет назад как опасное сочинение. Это — «Оправдательные мемуары», написанные главной героиней знаменитого «процесса колье». Начался он в 1785 году, продолжался в 1786-м и до сих пор будоражит воображение поэтов и историков.

«Дело колье» и лица, в него замешанные, вдохновляли, в частности, Гете (книга «Великий Кофт»), Александра Дюма (романы «Иосиф Бальзамо» и «Ожерелье королевы»), М. Кузьмина («Чудесная история Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»), Шатобриана («Замогильные записки»), Карлейля («История французской революции»), братьев Гонкур («История Марии-Антуанетты»), Стефана Цвейга («Мария-Антуанетта»).

Наряду с попытками серьезного исследования всегда существовала и противоположная тенденция: упростить проблему, снизить драматизм ситуации, придать вид анекдота, высмеять действующих лиц. Примером может служить поставленная в 1844 году комическая опера «Калиостро» (слова Скриба и Сен-Жоржа, музыка А. Адана).

Вот ход событий, которые могли бы лечь в основу либретто, своей фантастичностью ничуть не уступавшее операм «Похищение из сераля» Моцарта или «Севильский цирюльник» Россини.

Действие первое. Главный священнослужитель Франции, кардинал де Роан, арестован среди бела дня за приобретение бриллиантового колье для (но без ведома) королевы Марии-Антуанетты. Колье исчезает неизвестно куда еще раньше, чем ювелиры, сделавшие его, попросили деньги за свою работу у ничего не подозревающей королевы. Письма, в которых она якобы вела переговоры с кардиналом о посредничестве, — фальшивые. Кардинал клянется, что коварно обманут: его добротой и доверием злоупотребили мошенники, выдававшие себя за слуг королевы, Господину де Лонэ, коменданту главной парижской тюрьмы, предписано королем: «Принять в моем замке Бастилия моего кузена, кардинала де Роана, и держать там до нового распоряжения».

Действие второе. Прислушавшись к совету министров, которые ненавидят кардинала и радуются возможности его погубить, король, вместо того чтобы тихо, «по-домашнему» разобраться, передает дело в парламент, не сообразив, что члены парламента состоят из сторонников кардинала.

Действие третье. Допросы причастных к похищению лиц не

способствуют установлению истины; те сваливают вину друг на друга.

Действие четвертое. Большинство голосов кардинал и кое-кто из обвиняемых оправданы.

Если излагать события в хронологическом порядке, шаг за шагом, — зайдем в тупик. Если воспользоваться скачущим кинематографическим методом — тоже. Французский историк Луи Астье, автор книги «Правда о деле колье», опубликованной во Франции в издательстве «Общество библиофилов», желая «поставить точку», перерыл все сохранившиеся документы, разыскал даже потомков людей, не ленившихся вести дневники, — людей, у которых был хороший слух и прекрасная память; он беседовал с теми, кому в качестве наследства достались фамильные секреты, передаваемые из поколения в поколение. Но, как и его предшественники, удовлетворительного ответа Луи Астье не дал, лишь выдвинул несколько взаимоисключающих гипотез.

В этом нет ничего удивительного: колье ценой в один миллион шестьсот тысяч ливров (в нем шестьсот сорок семь бриллиантов в две тысячи восемьсот каратов) — ослепляющая игрушка, а люди, которым посчастливилось держать или хотя бы видеть его, — не простые личности. Если не сместить традиционные ракурсы, не изменить источник света, взгляд будет скользить по эффектным, но второстепенным узорам и не заметит главного.

Автор «Оправдательных мемуаров» — Жанна де Валуа, графиня де ля Мотт. В ее венах текла кровь Анри II, отца королевы Марго, Шарля IX, Анри III, мужа Катрин Медичи\*, храброго воина, покровителя поэтов и художников.

... За двадцать лет до начала этой истории по дороге брели две девочки, Жанна и ее сестра, взывая: «Подайте сироткам, происходящим по прямой линии от короля Франции»; только маркиза де Булэнвилье прислушалась и осознала, что это не совсем обычная просьба о милостыне. Девочки не фантазировали. В конце «Оправдательных мемуаров» приведены документы. В свое время, в середине XVI века, Анри II действительно даровал своему внебрачному сыну, рожденному от «благородной девицы» Николь де Савиньи, титул барона де Сен-Реми и поместья Фонтетт, Шателье,

\* Следует сказать, что онемеченное и ставшее традиционным написание имен французских королей («Генрих» вместо Анри, «Франциск» вместо Франсуа, «Карл» вместо Шарль и «Людвик» вместо Луи) абсолютно неправомерно. Это выглядит и звучит столь же нелепо, как, например, Петер де Ронсар, Карл Бодлер, Юлий де Гонкур, Пауль Верлен. Тем самым нарушается историческая правда, дух языка, его фонетическая структура. В практике художественного перевода встречаются попытки — к сожалению, еще редкие — восстановить истину. С. Шервинский, переводя в 1926 году Ронсара, и во вступительном очерке, и в стихотворном тексте совершенно правильно пишет Франсуа, Мари, Анри и т. д. Постепенно утвердился Жоашен дю Белле (вместо ранее писавшегося «Иоахима»). Уже никого не удивляет Эжен Сю и Эжени Гранде, хотя они пришли к русским читателям как Евгений и Евгения.

Ноэз, Бовуар. Жанна родилась в Фонтетт 22 июля 1756 года. К несчастью, дела отца, Жака де Валуа, находились в плачевном состоянии. Похожего на него барона, погибающего от голода и холода в замке, который напоминает сарай и готов рассыпаться от порыва ветра, хорошо описал Теофиль Готье в первой главе романа «Капитан Фракасс». В отличие от Сигоньяка (добряк Готье щедро одарил его в конце книги) отец Жанны умер в парижской богадельне в 1762 году. Пригретая маркизой де Булэнвилье, Жанна была не только «накормлена-одета-обута», она получила основы воспитания, была выдана замуж и обрела покровителя в лице кардинала де Роана. Ей удалось обратить на себя внимание Марии-Антуанетты. «Наша долгая беседа, — вспоминает Жанна об очередной встрече, — закончилась широким жестом Ее Величества: даром кошелька, где было десять тысяч ливров»<sup>1</sup>. По словам графини, королева продолжала расточать благодеяния, и «каждый день, казалось, прибавлял ступеньку к доверию, которым она меня почтила».

Одно из самых убедительных доказательств: королева позволяет Жанне хлопотать за кардинала, хотя терпеть не может де Роана: кардинал оклеветал ее, когда она была еще дофиной, а он — послом Франции в Вене. Графиня передает королеве письма де Роана, а тому — письма королевы. Госпожа де ля Мотт не скрывает, что некоторые она переписывала — они напечатаны в конце «Оправдательных мемуаров». Предупреждая обвинения в подделке писем и коварный вопрос: «Где же оригиналы?» — Жанна восклицает: «Оригиналы! Да как же я могла ими завладеть?.. Не была ли бы тотчас раскрыта моя неверность? Нет, на такое безумие я никогда не отваживалась».

Поскольку за Жанной еще в восемнадцатом веке закрепилась слава авантюристки и воровки, хорошим тоном считается не верить ни единому ее слову. Между тем, если хоть чуть-чуть быть осведомленным в нравах эпохи и знать характеры главных действующих лиц, кое-какие детали ее версии покажутся заслуживающими внимания. Например, организованное ею свидание кардинала и мнимой королевы. Второй эстамп книги «Оправдательные мемуары» (первый — портрет Жанны) изображает коленопреклоненного кардинала. Женщина, принятая им за королеву (на самом деле это девица из Пале-Руаяля), протягивает розу в знак того, что старые грехи де Роана забыты. Жанна уверяет в «Мемуарах», что сценарий маскарада был создан самой королевой, обожавшей мистификации. Вполне вероятно. Королева была главным режиссером и постоянной актрисой театра Малого Трианона. Тем более когда представилась возможность посмеяться над человеком, которого она презирала. Но одна деталь спектакля не была ею предусмотрена: Жанна предупредила кардинала, что королева будет сидеть в первом ряду, то есть наблюдать из-за листы. «Я согласен на

все, — сказал кардинал. — Если она любит комедию, необходимо ее дать».

Кардинал готов был сыграть любую роль. Он метил в первые министры. Вероятно, поэтому де Роан столь быстро поверил Жанне, когда та сообщила ему о желании королевы приобрести колье; и не просто поверил, а согласился помочь.

Откуда взялось колье?

Ювелиры Бёмер и Бассанж сделали его для королевы без заказа, рассчитывая, что, поскольку Мария-Антуанетта любит бриллианты, она не откажется заплатить. К их изумлению, королева ответила, что Франция находится в состоянии войны, а потому лучше на эти деньги построить корабль. Когда мастера стали намекать, что они на грани банкротства, королева посоветовала найти другого покупателя и просила не говорить ей больше о колье.

И вот тогда-то Жанна, желающая завладеть колье, дала понять ювелирам, что королева не прочь приобрести драгоценность, но тайно, через посредника. И посредником будет кардинал. Чтобы рассеять сомнения и колебания де Роана, ему передают письмо с абсурдной (ибо короли подписываются только именем), почему-то не насторожившей его подписью: «Мария-Антуанетта Франции». Автором этого письма, как, впрочем, и остальных, помещенных в качестве «приложения» к «Оправдательным мемуарам», был возлюбленный Жанны — Ретто де ля Вийет. Он признался в этом позднее, во время допроса, однако Жанна настаивает на том, что Мария-Антуанетта обо всем знала и всем руководила: «Королева, как из упрямства, так и из страсти к драгоценным камням, безумно желала приобрести колье, которое, по ее словам, король поспешил ей купить. Кардинал, лелея надежду стать первым министром, готов был пойти на любую жертву, чтобы удовлетворить каприз той, от кого зависела его карьера».

Суд приговорил Жанну как воровку к унижительному наказанию: ее высекли, заклемили, отправили в тюрьму Сальпетриер. Вскоре ей удалось бежать и укрыться в Лондоне, где она и напечатала в 1789 году «Оправдательные мемуары»; за огромные деньги тираж выкупила посланная королевой герцогиня де Полиньяк. Год спустя, преследуемая неизвестными, назвавшимися кредиторами, Жанна выпрыгнула из окна и умерла в страшных мучениях. (Версия чудесного спасения Жанны, ее последующая жизнь под именем графини де Гаше и смерть в Крыму в 1825 году (ее, в частности, поддерживает Р. Белоусов в книге «Рассказы старых переплетов»), всегда вызывала улыбку серьезных исследователей. Замечательный французский историк Луи Астье скептически относится и к этому измышлению, и к сообщению парижских газет о смерти в мае 1844 года некоей набожной и благотворительной дамы, называвшей себя «графиней Жанной». Он замечает: «Это поразительная судьба героев знаменитых скандальных историй — появ-

латься после смерти в облике людей, ведущих примерную жизнь».)

Тон «Оправдательных мемуаров» меняется от преувеличенно благожелательного до яростно-агрессивного. В предисловии Жанна говорит, что здесь «защищается оскорбленная невинность; одно это делает публикацию необходимой». Эта фраза как нельзя лучше согласуется с духом эпохи и рассчитана на мгновенное сочувствие читателей. В моде была сентиментальность. Вот почему большим успехом пользовались пастели Греза, изображающие прелестных грустных девочек с голубками, а также серия его картин, воспевающих поруганную добродетель. Зная, что лучший способ защиты — нападение, Жанна прямо говорит: «Я отомщу за мою поруганную репутацию. Справедливые и беспристрастные читатели сочтут меня невиновной».

Ну, а куда же все-таки делось кольцо? — вправе поинтересоваться «справедливые и беспристрастные» читатели.

Не моргнув глазом, Жанна утверждает: королева, разобрав драгоценность, подарила ей мелкие бриллианты; граф де ля Мотт продал их затем в Лондоне. Впрочем, он сам «чистосердечно» рассказывает в тех же «Оправдательных мемуарах» (он берет в руки перо, чтобы дать жене возможность перевести дух), что, кроме пяти тысяч фунтов стерлингов, лондонские ювелиры Грэй и Эльясон дали ему за бриллианты «медальон, звезду, пару жирандолей, перстень, гладкое кольцо, две стальных шпаги, щипчики для спаржи, насосик для выкачивания вина, женский несессер из атласа и золота, миниатюру, перочистки, булавки, ножички, стальные вилки, серебряные серьги и т. д.». Он упомянул и о том, что несколько бриллиантов из кольца пошли на перстни для него и графини, на серьги, а также на заказанное ювелиру Грэю «крошечное» кольцо из двадцати двух камешков. Пока графиня и кардинал «гостили» в Бастилии, «я, — пишет граф, — жил в одном из самых дорогих отелей Лондона; у меня было двое слуг, экипаж, две лошади под седлом, я часто давал обеды и, будучи принят в лучших обществах, обязан был играть и входить в расходы».

Дабы читатели «Оправдательных мемуаров» не забывали, что в выигрыше осталась королева Франции, пунктуальный граф замечает: «Согласно моим подсчетам, королева сохранила двести пятьдесят крупных (это были наиболее прекрасные части кольца), девяносто восемь помельче, но безупречной формы и два самых чудесных из первого ряда».

Что же произошло в действительности? Украла ли Жанна кольцо или получила в подарок? Простофилей или азартным игроком оказался кардинал? Какие именно документы приказал он сжечь своему секретарю аббату Жоржелю, пока не нагрнула полиция? С ведома ли королевы, как предполагают некоторые историки, бежала графиня из тюрьмы? Наконец, кем были на самом деле люди, пришедшие к Жанне в Лондоне под видом кредиторов?

Вот уже два века историки ломают голову над этими вопросами. Между тем эта головоломка уводит в сторону от главной темы.

Суть вовсе не в том, кто похитил колье, а в «процессе колье», его резонансе и последствиях.

«Процесс колье» — один из многих поддельных «камешков», образующих другое — не Бёмером и Бассанжем сделанное — ожерелье, благодаря которому Мария-Антуанетта из любимицы народа превратилась в «австриячку» (она была дочерью австрийской императрицы Марии-Терезии), казнокрадку, развратницу, втоптана в грязь, а затем — убита.

В «Оправдательных мемуарах» приводится «исповедь» кардинала: когда он был послан в Вене, Мария-Антуанетта проявила к нему нежность. Вымысел, рассчитанный на обывателя! Дюфина уехала в Париж задолго до приезда де Роана в Австрию. Графиня «документированно», «научно» подкрепляет клевету, публикуя под номером XVII письмо, в котором королева назначает кардиналу свидание... Но что говорить о фантазиях Жанны, если подобные небылицы в изобилии сочинялись даже искренними, казалось бы, друзьями королевы, даже родственниками ее мужа, а одним из изготовителей и распространителей омерзительных баек являлся некто Гупиль, полицейский, которому было поручено охотиться за авторами памфлетов (он — автор опубликованного в Лондоне памфлета «Исторические эссе о жизни Марии-Антуанетты»). Гупиль ухитрился получить дополнительное вознаграждение «за усердие», если клал на стол шефа полиции особенно гнусные сочинения. То есть свою же продукцию.

Эдмон и Жюль де Гонкуры употребили все свои способности историков, психологов и стилистов, чтобы создать правдивый портрет королевы. Книга Гонкуров, вышедшая в 1858 году, камня на камне не оставила от анекдотов и наветов на королеву. «Процессу колье» братья уделили целую главу. Досталось и клеветникам, и безобидным на первый взгляд фантазерам, вроде герцога де Лозэна, сочинившего любовную сцену с королевой Франции. Гонкуры отхлестали и Жанну де Валуа. Но в задачу великих историков французского общества не входило распутывание интриги<sup>2</sup>. Эдмон и Жюль упомянули о ней в общих чертах, «постольку-поскольку», да и то с оговоркой, что «это — наиболее тягостный долг историка... Чего бы это ему ни стоило, как бы противно ни было, он обязан на мгновение спуститься до скандала»<sup>3</sup>.

В этой истории есть вещи ясные и намеренно запутанные. Чтобы туман начал рассеиваться, нужно, по-видимому, не ворошить уцелевшие материалы процесса, а прежде всего по-человечески понять и даже пожалеть Жанну, отнюдь не авантюристку, а последнюю из Валуа, окруженную предпоследними принцами Конде, Орлеанами, герцогами Шуазелями, а также людьми без роду и

племени, но стремившимися всеми правдами и неправдами незамедлительно получить «и род, и племя». И деньги.

Не слишком ли горячо выталкивают Жанну на первый план, сваливая на нее всю вину? Ведь с нею вместе в Бастилии томился и подвергался допросу легендарный Калиостро...

С ним еще сложнее.

## II

Можно легко представить себе замешательство современников: в самый разгар «века просвещения», «века разума» человек, в распоряжении которого было «двенадцать или пятнадцать физиономий», рассказывал на смеси итальянского, французского и арабского языков, что родился он посреди Средиземного моря и получил образование под Большой пирамидой; что существуют великие и таинственные города в десять раз больше Парижа; что ему известно не только то, что происходит сейчас в Вене, Лондоне, Париже, но и что произойдет через двадцать лет; что Александр Македонский и сейчас еще живет в Египте и возглавляет общество чародеев, заботящихся о воинах; что царица Савская достигла в магии необычайного совершенства; что высшая премудрость была раньше свойственна мужчинам и женщинам, потому что те не были преданы, как нынешние, ни суетному честолюбию, ни «чувственным приятностям»... А его жена-красавица — наглядное подтверждение упорного слуха: Калиостро владеет эликсиром, способным дарить вечную молодость и красоту. Но это не все. «Около сего времени, — рассказывает очевидец, — был болен секретарь нашего коменданта... Тот, кто его пользовал, всех уверял, что ему только осталось жить 24 часа... По неотступной просьбе самого коменданта взялся лечить его Калиостро — и к великому всех удивлению почти совершенно его вылечил. С сего-то времени начинается самая блестящая жизнь сего человека... Везде желали иметь Калиостро, везде почитали за славу об нем говорить, вести с ним знакомство и его хвалить»<sup>4</sup>.

Маг? Шарлатан? Современный французский историк Алэн Деко на нескольких страницах статьи «Калиостро, великий посвященный или...» решил проблему в пользу «или». М. Кузмин в «Чудесной жизни Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (эта книга вышла в 1919 году в издательстве «Странствующий энтузиаст») спокойно изложил биографию чародея, не забыв подчеркнуть, что не думает выдавать свои фантазии за исторические исследования, поскольку его «интересуют многообразные пути Духа, ведущие к одной цели, иногда не доводящие и позволяющие путнику свертывать на боковые аллеи». Этой книге, первой из серии «Новый Плутарх», недостает художественной правды. Манера повествования суховата и безлика. Возможно, М. Кузмина сковывала теория

«кларизма», выдвинутая им в статье «О прекрасной ясности». «Процесс колье» сведен к анекдоту; графиня де ля Мотт представлена вульгарной воровкой, взбалмошной особой. Но то, что не удалось, к сожалению, поэту, назвавшему среди своих предков французов XVIII века (стихотворение «Мои предки»), сделал Мстислав Добужинский. В сущности, его заставки к книге М. Кузмина — иллюстрации-догадки, сочетание контрастных пятен, орнаменты преобразуются в лица.

Ценнейший документ, помогающий понять психологию людей той эпохи, — книга ученицы Калиостро, Шарлотты фон дер Реке, пожелавшей разоблачить мага. В русском переводе она вышла в 1787 году, когда «процесс колье» еще будоражил публику. Между прочим, из этой книги М. Кузмин почерпнул несколько фактов для своего «Калиостро». Композиции может позавидовать писатель, ищущий новых форм: то, что изложено на одной странице, опровергается на другой. «Авангардизм» Шарлотты объясняется очень просто: «На одной стороне велела я напечатать записки сии 1779 года, а на другой теперешнее мое изобличение с некоторыми, сделанными на сей случай, открытиями; чтоб тем удобнее можно было вдруг обозреть Калиострово расположение и последовательность его обманов». Годом раньше его пыталась «вывести на чистую воду» графиня де ля Мотт, уверявшая, что Калиостро причастен к пропаже колье. Маг пожимал плечами: колье исчезло 29 января, а он прибыл в Париж 30, вечером... Отрицал он и то, что внушил племяннице графини более чем странное видение: в бутылке явилась королева в сопровождении самого Калиостро и ангела, который возвестил Ее Величеству о рождении сына. «Тогда, — рассказывает графиня, — я сказала ему, что знаю, что королева его презирает, именует шарлатаном, мошенником... Кстати, великий Кофт<sup>5</sup>, если ваше заклинание обладает такой могучей силой, почему вы не прибегнете к нему, чтобы выбраться отсюда?»

Это не первый случай, когда возможности Калиостро подвергались сомнению. Но поклонников было больше, чем недоброжелателей. К репутации предсказателя и врача, излечивающего «экстрактом Сатурна», добавлялась слава чародея, запросто превращавшего мелкие жемчужины в крупные. Шарлотта рассказывает, как зашел разговор о «весьма крупном и чистом жемчуге некоей вдовствующей герцогини». «Этот жемчуг, говорил наш волхв, я очень знаю; потому что я в Голландии для одного обанкротившегося моего друга сплавливал его из маленьких и негодных жемчужных зернышек жены его...» Но жемчуг для Калиостро был забавой. Баронесса Оберкирх вспоминает, как кардинал показал ей бриллиантовый перстень, сделанный магом из ничего. На глазах кардинала! Госпожа Оберкирх посоветовала держать ухо востро: наверняка Калиостро потребует ответную услугу...



Какую? Согласно показаниям Калиостро, незадолго до приезда в Страсбург и знакомства с кардиналом его ввели в подземелье близ Франкфурта и показали старинный пергамент. Ему (его имя кровью было написано перед одиннадцатью остальными) доверлась почетная миссия. Та, что таилась за инициалами L. D. P., расшифровывающимся как *Lilia Destrue Pedibus* (Растопчи Лилии). Уже упоминавшийся выше историк Алэн Деко полагает, что эти буквы означают всего-навсего пропуск (*Liberté de passer*).

Не так-то все просто. Нельзя сводить проблему к игре слов, когда разыгрывается сложная, хорошо продуманная партия. Выдающийся французский историк Гюстав Ленотр, наиболее осведомленный в тайнах восемнадцатого века сыщик, разыскал дом Калиостро на улице Сен-Клод и напомнил, что по его ступенькам взбегала графиня де ля Мотт, которую Калиостро фамильярно называл «газелью», «оленькой», «лебедушкой», а ее племянницу сделал своей ассистенткой. И — чисто ленотровская деталь: в 1855 году, когда дом ремонтировали, старую дверь заменили новой с засовами от разрушаемого Тампля. «Замки тюрьмы Луи XVI запирают дом Калиостро, — восклицает Ленотр. — Бывают же совпадения!»<sup>6</sup>

Но вряд ли это совпадение, как не случайность и то, что самыми частыми гостями в доме были де Роан и Жанна. Во франкфуртском подземелье Калиостро прочитал необычную бумагу. По его словам, это было завещание Тамплиеров: отомстить тем, кто нанес коварный удар благородному ордену.

18 марта 1314 года Жак де Молэ, Великий магистр ордена Тамплиеров, был сожжен по приказу короля Филиппа Красивого, договорившегося об этом с папой Климентом V. На костре или во время страшных пыток погибли почти все члены ордена; спастись удалось немногим. Несметные богатства Тамплиеров оказались в руках короля.

Максимилиан Волошин подвел читателей книги «Лики творчества» к порогу тайны, сказав, что Тамплиеры готовили «громадное религиозно-социальное переустройство средневекового мира»<sup>7</sup>.

Волошин напомнил и о том, что все места, где происходили бурные и трагические события конца XVIII века, были своеобразными символами судьбы Жака де Молэ: Бастилия — его тюрьмой; Авиньон принадлежал папе; Луи XVI был заключен не куда-нибудь, а в крепость Тамбль — древний дворец-резиденцию рыцарей-тамплиеров.

Однако сама тайна остается нераскрытой.

Фальсифицированные выдержки из протоколов процесса Калиостро (благодаря этим «признаниям» он избежал казни) были опубликованы в 1791 году на итальянском, немецком, а потом французском языках. А подлинные материалы, хранящиеся в архивах Ватикана, не преданы гласности. Это закономерно. Неудивительно также, что наиболее ценные документы, касающиеся де-

ятельности Калиостро и его сообщников, либо таятся в «частных собраниях», либо уничтожены. «Я весьма сожалею, — говорит Шарлотта фон дер Реке, — что все почти сочлены нашего общества с того времени, как они Калиостра признали за обманщика, сожгли писанные об нем примечания. Сие было бы весьма кстати, ежели бы можно было их теперь сравнить между собой; ибо каждый из нас писал только то, что казалось для него достойным особенного примечания; мне же весьма приятно, что я имела случай сохранить прошедшие знаки моего заблуждения...»

Для публики оставлены те события, что расцвечены карнавальными красками и могут служить канвой приключенческого романа. Охотно пересказывается, как с почестями встречали Калиостро; как иногда выгоняли с треском (так было во Франции, а чуть раньше — в России). Чего стоит хотя бы «дуэль на ядах», предложенная магом придворному медику Екатерины II, обвинившему его в шарлатанстве. «Между тем, — читаем в предисловии к книге Шарлотты, — не удалось Калиостру исполнить в Петербурге своего главного намерения, а именно уверить Екатерину Великую о истине искусства своего. Сия несравненная Государыня тотчас проникла обман». В сочиненной ею комедии «Обманщик» Калиостро выведен под именем Калифакжерстона.

Выехал ли Калиостро из четырех петербургских застав одновременно, как пишет М. Кузмин, или нет — не столь уж существенно. Гораздо важнее другое: Екатерина почувствовала в нем опасность и постаралась ее устранить. А вот Францию магу приказали покинуть только через шесть лет после его приезда...

### III

Характеры и деяния Калиостро и Жанны де Валуа настолько пленяют воображение, что в голову не приходит мысль: за всем этим стоял кто-то более могущественный, неуязвимый, не столь ярко одетый (костюм Калиостро представлял собой безвкусную смесь бархата, тафты, кружев, бриллиантов, золота и мехов). Жанна и Калиостро — мишура, «пыль в глаза» и «для отвода глаз». Импровизациями талантливой актрисы и гениального актера руководил, возможно, без их ведома, режиссер, не нуждающийся в аплодисментах, не желающий выходить на сцену.

Если взглянуть на XVIII век глазами Ватто, Буше, Фрагонара, он будет казаться нескончаемым карнавалом, парадом карет, мотыльковым порханием платьев и вееров, мерцанием канделябров. Единственной фальшью — что легко, впрочем, оправдать («так было принято») — покажутся слишком уж нарумяненные лица и чересчур напудренные парики. Его охотно именуют галантным веком. Верлен посвятил XVIII веку сборник «Галантные празднества», Сомов — «Книгу маркизы».

Описывая дом Калиостро, Ленотр обронил фразу: «Тайная лестница, сейчас замурованная, шедшая параллельно главной, поднималась до третьего этажа, где и сегодня находишь ее следы». Эта фраза может быть эпиграфом ко всему «Процессу колье». По извилистым, темным, узким лестницам все время сновали странные люди. Чаще всего у них были вымышленные имена. Бомарше, выполняя возложенную королем тайную миссию, гонялся по всему континенту за негодяем с кроткой фамилией Ангелуччи, в Англии называвшим себя Аткинсоном. Как и было условлено, авантюрист передал посланцу Луи XVI тираж памфлета, в котором компрометировались король и королева, но пытался утаить один экземпляр. Это произошло в 1774 году.

Особое место в ряду запрещенной литературы занимали томики, называвшиеся сначала «Английский наблюдатель», затем — «Английский шпион, или Секретная переписка между милордом Всевидящим и милордом Всеслышащим» и, наконец, — «Тайные мемуары, или Дневник Наблюдателя». Обнародовались факты, не подлежащие огласке, компрометировались важные персоны и августейшие особы. Были зафиксированы, разумеется, и все пикантные моменты «Процесса колье». Примечательная деталь! «Когда я приехала в Лондон, — рассказывает госпожа де ля Мотт, — я прочла в «Тайных мемуарах» письмо аббата Жоржеля госпожи де Марсан. Считаю необходимым поместить его здесь...» Секретарь де Роана пишет о том, что противозаконно судить кардинала (о его виновности — ни слова); а впрочем, до суда, а тем более до осуждения, не дойдет. История Франции, говорит Жоржель, знает семь случаев, когда короли пытались судить лиц этого сана, — все кончалось провалом.

Обращает на себя внимание одна особенность: и «Тайные», и «Оправдательные» мемуары, и всевозможные книги и брошюры сенсационного содержания печатались, как правило, в Лондоне (чтобы сбить с толку полицию, слово «Лондон» значилось в выходных данных некоторых книг, напечатанных во Франции). Там же в июне 1786 года вышел и памфлет Калиостро. Прекрасный психолог, он всегда хорошо чувствовал, какие струны и в какой момент нужно задеть, знал дозировку лекарств и ядов.

16 июля 1782 года открылся конгресс в Вильгельмсбаде, куда из Франции, Италии, Швейцарии, Дании съехались представители тайных обществ, те, кто желал распорядиться судьбами мира. Именно там люди, не похожие ни на кавалеров Ватто, ни на пастушков Буше, ни на благодушного раскачивателя фрагонаровских «Качелей», усовершенствовали форму колье, эскиз которого был набросан гораздо раньше. Они же, пожелав сохранить инкогнито, мудро управляли честолюбцами, рвавшимися к власти, жаждавшими триумфа, не подозревавшими, что их дергают за ниточки. Они руководили действиями Мирабо, хотя тому казалось, что од-

ного его жеста достаточно, чтобы сдвинуть с места или остановить многотысячные толпы. Они не упускали из виду герцога Орлеанского — метящего на трон, но попавшего, как и другие, на эшафот, едва надобность в нем отпала<sup>8</sup>.

У меня перед глазами — документы, позволяющие представить железную волю, целенаправленность и беспринципность людей, которым не стоило труда ни затеять «Процесс колье», ни иные, более страшные дела: рассказ француза, который долгое время был членом тайного общества (какого именно — никому не известно). Ему показали секретный механизм ассоциации как раз в тот момент, когда он готовился уйти и объявить ей беспощадную войну.

«Мы можем утверждать, что держим Францию в кулаке, — сказал его собеседник. — И не оттого, что нас много... Мы владеем Францией потому, что мы организованы и организованы только мы. А особенно потому, что у нас есть цель, и никто не знает, в чем она состоит. А поскольку она неизвестна, никто не может ей воспрепятствовать. А раз нет препятствий, дорога перед нами широко открыта. Логично, не правда ли?.. Что бы вы сказали об ассоциации, насчитывающей всего тысячу человек, но тысячу, которая рекрутировалась бы следующим образом. Ни один не принимается, пока его сначала не изучат и не испытают (без его ведома) на протяжении ряда лет; пока перед ним не поставят препятствия морального, интеллектуального и даже материального и финансового плана, причем он даже не догадался бы, откуда исходят эти препятствия и эти трудности. Испытываемые подобным образом и не подозревающие, что их испытывают, свободно и естественно развивали бы ловкость, упорство, ум и энергию. Значит, можно было бы со всей уверенностью оценить степень пригодности. И в тот день, когда решат, что среди всех, кто был подвергнут подобному наблюдению, есть один, достойный приема, будьте уверены, что он составит с остальными, входящими в тысячу, единую руку, единую голову, единое сердце. Можете ли вы представить себе силу подобной ассоциации?» — «Ассоциация с подобным устройством, — сказал я скорее себе, нежели ему, — сделала бы все, что захотела. Она овладела бы миром, если б того пожелала»<sup>9</sup>.

Известен и другой документ, иллюстрирующий деяния подобной ассоциации: «История ордена гашишинов» (иначе — убийц). Этот орден существовал на Востоке в эпоху первых крестовых походов. Название «гашишины» возникло потому, что гашиш и другие наркотические зелья, а также пиры в садах, столь заманчиво описанные в «Тысяче и одной ночи», использовались при моральной подготовке воинов. Для европейцев этой эпохи слово «гашишин» стало синонимом французского *l'assassin* (убийца). О слепом повиновении Старцу Горы (так именовали главу ордена),

о готовности выполнить любой приказ свидетельствует не только эффектный взмах руки Старца, после которого стоящий на зубце стены воин, не задумываясь, прыгает вниз, но и бесконечная, на века растянувшаяся цепь убийств врагов ордена, и атмосфера страха, царившая на Востоке и на Западе, ибо жертвами гашишинов оказались и многие европейские князья, пытавшиеся проявить своеволие.

На первый взгляд обнаруживается несомненное сходство Тамплиеров и гашишинов: здесь и там — государство в государстве, строительство крепостей, сосредоточение сказочных богатств; здесь и там — пренебрежение к догмам официальной религии; здесь и там — загадочные ритуалы, о которых никто ничего не знает, поскольку адептами становятся после строжайших испытаний, а разгласить тайны ордена — значит обречь себя на смерть. Наконец, чисто внешнее совпадение: красные шапочки и пояса гашишинов, резко контрастирующие с белизной платья, и красные кресты на белом фоне плащей Тамплиеров. Кстати, в записях Шарлотты фон дер Рекке есть очень характерный отрывок: находящийся за ширмой мальчик-медиум, у которого Калиостро допытывается, что тот, видит там, далеко отсюда, отвечает: «Я вижу семь прекрасных мужчин, одетых в белое долгое платье: один из них имеет на груди красное сердце, другие же все имеют красные кресты, и некоторые слова на челах их, но я не могу оных читать...»

Однако ни эти детали, ни зверства папской и королевской власти в отношении Тамплиеров не убеждают меня в причастности их потомков к «Процессу колье». Из пламени костра голос Жака де Молэ, Великого магистра ордена Тамплиеров, призвал Филиппа Красивого и Климента V на суд божий. Король умер не через год, как сказано в книге Волошина, а спустя шесть месяцев, 29 ноября. Папа Климент V — ровно через сорок дней после казни Жака де Молэ, и тело его действительно вспыхнуло от опрокинутой свечи. Что касается проклятия, якобы нависшего над прочими государями, то оно слишком правдоподобно, чтобы быть правдой. Я не могу ставить в один ряд Тамплиеров и гашишинов хотя бы потому, что Тамплиеры были не убийцами, а носителями высокой духовной идеи, наследниками античных мудрецов. Кроме того: после враждебных действий с сарацинами они не только заключили с ними перемирие на три года, три месяца, три дня и три часа, но даже по инициативе шевалье Гюго де Тибериаса избрали прославленного полководца Саладдина почетным членом ордена Тамплиеров, а позднее оплакивали его смерть. Этого, конечно, нельзя было ожидать от слуг Старца Горы, которые яростно преследовали Саладдина и неоднократно покушались на его жизнь.

Легендой о «проклятии Тамплиеров» воспользовались люди, которым не были свойственны ни великодушие, ни героизм. Это

профессионалы, это виртуозы. Они умеют не просто запутать, а навести на ложный след, причем ненавязчиво, естественно, полупонамеком, непонятно откуда исходящим; они умеют сыграть на доверчивости и на недоверчивости; они могут укрыться за Тамплиеров, Розенкрейцеров, если понадобится — иезуитов.

Излишне задавать вопрос, как удалось воскресить из пепла книгу Жанны де Валуа. Ясно ведь, что к этому не причастен дух маркизы де Помпадур, основательницы и главной художницы Севрской мануфактуры. Невозможно заподозрить и Калиостро, заключенного римскими инквизиторами в крепость Сан-Лео, где он умер 26 августа 1795 года.

Иногда мне кажется, что книги Жанны де Валуа все же не существует, хотя она лежит на ладони, крошка в кожаном платице с золотой каймой. Крошечный формат — отнюдь не прихоть издателя-библиофила: книгу должны были тайно перевезти из Лондона в Париж. В рукаве или в шляпе.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Memoires justificatifs de la comtesse de Valois de la Motte* écrits par elle-même. Londres, 1789. P. 26.

<sup>2</sup> Перу Гонкуров принадлежат также исторические труды: «История французского общества времен Революции», «История французского общества эпохи Директории», «Интимные портреты XVIII века», «Мадам де Помпадур», «Женщина в XVIII веке», «Госпожа Дю Барри», «Герцогиня де Шатору и ее сестры», несколько монографий, посвященных актрисам XVIII века, книга «Искусство XVIII века».

<sup>3</sup> E. et J. de Goncourt. *Histoire de Marie-Antoinette*. Paris, 1859. P. 179.

<sup>4</sup> «Описание пребывания в Митаве известного Калиостро на 1779 год, и произведенных им там магических действий, собранное Шарлоттою Елисаветою Констанциею фон дер Реке, урожденною графинею Медемскою» (СПб., 1787. С 70—71).

<sup>5</sup> «Великим Кофтом» называл себя Калиостро.

<sup>6</sup> G. Lenotre, *Vielles maisons, vieux papiers*. Première série. Paris, 1907. P. 171.

<sup>7</sup> М. Волошин. *Лики творчества*. СПб., 1914. С. 372.

<sup>8</sup> В минуту откровенности герцог Орлеанский рассказал своему другу историю, которая выглядит не более фантастичной, чем все, упомянутые в этой статье. Незнакомец, сказавший, что может сделать для герцога все, «даже показать дьявола», попросил его прийти ночью на равнину Вильнёв-Сен-Жорж. «Мне запрещено передавать вам содержание беседы, — сказал герцог, — но могу сообщить, что я получил в ту ночь множество ценнейших предсказаний и перстень...» Принц показал мне бронзовое кольцо, в которое был вправлен блестящий камень, отбрасывающий при свечах чуть ли не магический свет. — До тех пор, пока я буду носить его, мне нечего бояться моих врагов, но, если я его потеряю или позволю снять, я погиб...» Факты эти приведены в мемуарах герцогини д'Абрантес — свидетельницы многих событий и диалогов, происходивших в эпоху Луи XVI, Директории, Консулата, Империи, Реставрации и царствования Луи-Филиппа. Из других источников я узнал о финале. Перстень-талисман находился на пальце герцога еще за несколько минут до казни. Через некую Жюльетт

Гудшо он передал перстень сыну, будущему королю Луи-Филиппу. Тот завещал его графу де Пари; поскольку перстень оказался велик для его пальца, граф передал «талисман» парижскому ювелиру по имени Жак, который выставил его в витрине своего магазина. Единственное противоречие, не меняющее, впрочем, сути дела: по словам графа де Глеше, герцог Орлеанский получил перстень в Лондоне.

<sup>9</sup> Copin—Albancelli. *Le pouvoir occulte contre la France*. Paris; Lyon, 1908. P. 284—285.

«ВИЙ» И МИФОЛОГИЯ XVIII ВЕКА

Среди литературных персонажей — добрых и злых, обаятельных и отталкивающих, страшных и смешных — гоголевский Вий занимает особое место. Он сопровождает нас от первых детских страхов до глубокой старости, уже не верящей ни в сон, ни в чох. Забытый, он возникает снова — то на экране, то в поэтической строке: «Вий войдет. В глаза я гляну Вию. Отвернется, крикнет, рухнет Вий!» И тогда снова я вижу яркие украинские звезды, чувствую запах раскаленной на солнце пшеницы и слышу неторопливый и мягкий голос моего деда Тимофея Григорьевича, неспешно перелистывающего страницы: «...все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.

— Приведите Вия! ступайте за Виём! — раздались слова мергвеца.

И вдруг наступила тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землей ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно отступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы».

Образ Вия, происхождение его, самое имя, да и вся эта повесть с примечанием самого автора о том, что произведение это «есть народное предание» (совсем в стиле тогдашней романтической литературы), соединение гротесковой, сатирической линии и фольклорных мотивов, юмор и патетика — всегда были загадкой и для любителей словесности, и для ученых.

Интерес к Вию проходит через многие писательские биографии наших дней. Помню, как я посылал Николаю Асееву сказку, записанную мною и Владимиром Бахтиным в деревне Сунёво, одной из тех русских деревень, в которых сохранились весьма старые варианты фольклора. Сказка Ильи Богатырева об Иване, купецком сыне, включала в себя эпизод отпевания в церкви —



страшный, напоминающий аналогичную сцену из классической повести. Но ни в одном из известных вариантов сказки нет фигуры Вия, да и самое это имя никогда не встречается в народном творчестве — ни в русском, ни в украинском.

Когда речь заходит о Гоголе и народном творчестве, следует учитывать не только его знание сказок, песен и дум. У Гоголя очень часты упоминания о произведениях народного изобразительного искусства — от рисунков на выбеленных стенах хат до описания вышивок и гончарных изделий. Это область народного творчества, на которую как-то не обратили внимания исследователи писателя.

Традиция изображения нечистых сил идет от персонажа гравиоры на дереве «Трапеза благочестивых и нечестивых» (первая половина XVIII века) — беса с рогами и перепончатыми крыльями — до картинок на старообрядческих листках: «Тяжко есть иго сынов Адамовых», где нечистые изображены с когтями и крыльями; «Бесы искушают св. Антония», где «враги рода человеческого» со змеинными и скорпионовыми жалами летают над головой Антония, погруженного в чтение священной книги.

Нередко драконы изображались с фигурами святых на иконах — таких как «Федор Стратилат, убивающий змия», многочисленных вариантах «Чуда св. Георгия», заставках к различным рукописям (классический пример — апокалиптические звери из Смоленской псалтыри).

Чудовища рисовались и на лубочных картинках.

Но было бы ошибкой считать, что великий писатель механически списывал персонажей фольклорного или профессионального искусства. Однако то, что он изображал в стиле народного искусства, устоявшемся в течение веков, — несомненно.

Кстати, у персонажей из «Вия» есть и другие довольно близкие родственники — это чудовища, которые окружали Татьяну Ларину в ее девическом сне.

Мог видеть Н. В. Гоголь и работы западных художников, например Иеронима Босха, — описания чудовищ, прибывших для расправы над Хомой Брутом в последней части повести, явно вызывают в памяти работы великого художника.

Вполне допустимо, что и эпизод с застывшими чудовищами, и внешнее описание этих чудовищ связаны с какими-то пока не дошедшими до нас лубочными картинками, разыскать которые еще предстоит.

Кончается эта повесть (в первом варианте) так: «Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах».

Попробуем представить картину: церковные стены, из которых торчат застывшие морды и лапы чудовищ. Вспомним, где мы видели нечто подобное.

На память приходит готическое искусство с его химерами. Не будем говорить о соборе Парижской богородицы — судя по тому, что в известном романе Виктора Гюго, написанном еще до генеральной перестройки храма, химеры не упоминаются, их не было там и в гоголевские времена. Но подобные чудовища украшали собой многие здания средневековой Европы, совмещая функции практические (водосбросы) и эстетические.

Сюжет «Вия» в значительной степени построен на сказочных мотивах, достаточно известных и в русском фольклоре, и в украинском. Но не все они учитывались исследователями.

Началом сказочных чудес в «Вие» обычно полагают приход трех бурсаков к старухе, пустившей их переночевать.

Но сказка начинается гораздо раньше, с того эпизода, когда Хома Брут поминает черта да еще и божится.

«— Что за черт! — сказал философ Хома Брут, — сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор».

Он помолчал, а затем снова повторил то, что произносить нельзя: «Ей-богу! — сказал, опять остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно».

Это вступление в сказочный сюжет, близкий тому, что в «Указателе сказочных сюжетов Аарне-Андреева» (Л., 1929) называется «Неосторожное слово».

Дальше бурсаки слышат «слабое стенание, похожее на волчий вой» (напомним, что, идя отпевать панночку, Хома опять услышал эти звуки).

Это предупреждение — тоже классический мотив сказки.

Возникает хутор. И — мотив встречи с ведьмой. Помянув черта, бурсаки божатся — если они будут плохо себя вести, то «пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что бог один знает».

Завязка сказки налицо. И тут же сразу выясняется, что один из бурсаков уже проштрафился — стянул с воза сушеную рыбу.

Клятва нарушена. Возмездие близко.

Далее — явление старухи и полет на ведьме, блистательное описание этого «томительно-страшного наслаждения», много лет спустя, видимо, вдохновившего автора «Мастера и Маргариты» на создание одного из лучших эпизодов его романа.

Читая заклинания, бурсак освобождается от своей всадницы и сдает ее сам.

Далее снова упоминается черт.

На этот раз его упоминает ректор, заставляющий Хому Брута ехать отпевать панночку. И возникает новый сказочный сюжет, который был обследован всеми, писавшими о «Вие» и нашедшими множество фольклорных параллелей («Девушка, встающая из гроба»).

Но в этот основной сюжет входят побочные, менее заметные — предания о покинутой церкви и предание о заколдованном замке,

откуда нет выхода (каким, по существу, является дом сотника).

Известно, что Гоголь не просто хорошо знал фольклор, а специально изучал его в течение всей своей жизни — в записных книжках писателя остались этнографические материалы, которые сделали бы честь любому собирателю. Характерно, что он не только занимался своими текстами, но и «прорабатывал» литературу, связанную с вопросами этнографии (конспект книги П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства 1768—1773 гг.»).

В заметках (этнографических, просто памятных) и в письмах Н. В. Гоголь упоминал работу И. Сахарова «Народный дневник», книгу И. Снегирева «Русские народные праздники и суеверные обряды» и других, а также некоторые издания, на которых мы остановимся.

\* \* \*

Недавно исследователь творчества Гоголя В. Воропаев опубликовал статью «Книги для Гоголя» (Прометей, 1983. Т.13. С.136). В статье он привел «Реестр книгам, отправленным из Москвы в Рим», — т. е. реестр книг, отосланных М. Погодиным Н. Гоголю, ранее известных ему, нужных для работы и просто любимых.

Среди них отметим две — томик М. Чулкова «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.» (М., 1786) и книгу А. Кайсарова «Славянская и российская мифология» (2-е изд. М., 1810).

Это были книги, посвященные мифам и дохристианским божествам.

Но кроме упомянутых в реестре книг можно назвать еще несколько работ конца XVIII — начала XIX века о славянской русской мифологии.

Это справочники и словари, связывающие русскую мифологию с мифологией Древней Греции и Древнего Рима, а порой с мифами и преданиями народов России — калмыков, бурят, камчадалов и др.

Перед нами вырисовывается целый ряд работ, посвященных одной теме:

Чулков М. Д. Краткий мифологический лексикон. Спб., 1767.

Попов М. И. Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабженного примечаниями. Спб., 1768.

Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. Спб., 1782.

Кайсаров А. С. Славянская и российская мифология. М., 1804; 2-е изд. М., 1810.

Чулков М. Д. Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч. М., 1786.

Глинка Г. А. Древняя религия славян. Митава, 1804.

Некоторые из этих книг переиздавались (так, книга «Предания о народных русских суевериях, повериях и некоторых обычаях» была выпущена в 1861 году с примечанием: «Займствовано из «Словаря русских суеверий», изданного в 1782 году»).

Исследователи обратили внимание на близость, а порой и идентичность многих текстов этих книг. Выдвигались (задним числом) обвинения в плагиате то в адрес М. Чулкова, то М. Попова.

Так, еще И. Сахаров считал, что они «выдумывали мифы, убеждали в существовании небывалых славяно-русских богов», фальсифицировали источники («источники остались известными только одному Г. Попову») и т. д.<sup>1</sup>

Впрочем, знаменитые «Сказания русского народа» самого И. Сахарова содержат, наряду с уникальными, не вызывающими сомнения материалами, откровенные «обработки» в псевдонародном стиле.

Отношение к создателям свода русской мифологии как к выдумщикам, чуть ли не фальсификаторам, возникшее в конце XVIII—начале XIX века, дожило до нынешних дней.

Видимо, в действительности все было гораздо сложнее. Уже в наше время опубликованы материалы по русской мифологии М. В. Ломоносова, сохранившиеся в рукописи, где есть и присловия, и заправки былин («Наш народ у Дуная живал и реку за бога почитал: дунай, здунайко, здунай, здунниной. Царь морской»). Странно только, что никто не задумался, почему и у М. В. Ломоносова в записке, опубликованной лишь в 1940 году и, безусловно, неизвестной ни М. Чулкову, ни М. Попову<sup>2</sup>, вместе с присловиями и записью былинной заправки был приведен список древних божеств в сравнении с античными богами:

Юпитер	Перун
Юнона	Коляда
Нептун	Царь морской
Тритон	Чуды морские
Венера	Лада
Церера	Полудница
Плутон	Черт
Прозерпина	Чертовка
Центавр	Полкан
Марс	—
Нимфы	Русалки
Фавны	Лешие
Пенаты	Домовые
Лемур	Бука
Термин	Чур и т. д.

Есть в списке и Здунай, и Дило, и Яга-баба, и Обман и Змей Летучий и пр.

При жизни автора эти материалы не опубликованы, но, видимо, отражают то, что было в научном литературном обиходе времени.

Разумеется, и М. Чулков, и М. Попов, и А. Кайсаров были не столько учеными, сколько писателями, но прежде всего — людьми своего времени: использовали сказки, присказки, даже детские песенки.

Их целью было, отбросив суеверия, наивную и дикую, с их точки зрения, веру в колдовство, чернокнижие, приметы и пр., представить русскую мифологию как некий организованный свод, наподобие греческой или римской мифологии. Никто из них не скрывал ни своего творческого вмешательства, ни компилятивного характера работы. Что же касается Г. Глинки, то он и вовсе декларировал: «И не лучше ли Фидасова Венера с подделанными во вкусе сего замечательного древнего мастера руками и ногами, нежели, когда осталось одно только ее туловище, и то, может быть, местами еще выбитое»<sup>3</sup>.

Но обратимся к самим работам.

«Краткий мифологический лексикон» Михайло Чулкова (1767) — словарь греческих и римских богов, полубогов и героев, включающий и некоторые славянские божества.

Аврора, Агамемнон, Амазонки, Андромеда, Аполлон, Беллона, Белобог, Венера, Волос, Дажбог или Дашуба, Данаиды, Земфир, Зимцерла, Лавиния, Лада, Черньбог или Чернбог, Чур — вот некоторые имена из «Лексикона».

Объяснения предельно лаконичны. Обратим внимание на одно из них: Зимцерла — «славянская богиня, владычица над началом дня».

Именно это имя и послужило поводом к обвинению М. Чулкова в выдумке и фальсификации.

Но замечательный ленинградский ученый-филолог П. Н. Берков доказал, что некоторые божества в собраниях Чулкова и Попова не изобретены авторами, а возникли в результате неправильного перевода из тех или иных западных источников. Конкретно речь шла о богине Зимцерле (искаженное имя богини Симцергла).

П. Н. Берков писал, что Чулкова можно упрекать лишь в том, что «он без достаточных оснований пытался конкретизировать ее мифологическую функцию»<sup>4</sup>.

По принципу словаря было составлено М. Поповым «Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабженного примечаниями», выпущенное к 1768 году.

И здесь автор в своем «преведомлении» писал: «...суеверство

и многобожье древних славян столь же было пространно, сколько у Греков и Римлян».

После этого делалась попытка реконструировать славянский Олимп, упомянув, что «Возомнили производителем грома, молний и других воздушных происшествий Перуна, дали ему власть над всем небом и почли его начальнейшим своим Богом; другую степень Божества отдали Волосу, богу скота, третью — Купалу, богу всяких прозябаний и так далее...».

Затем, совсем в стиле французских просветителей: «Корыстолюбивые жрецы, проявив во власть свою народные умы, вовлекли их в пущую мглу невежества».

Далее — список богов.

«Белобог или Белый бог. Божество славян Варяжских и Ахронских... Сего почитали они добрым богом, так как Чернобога злым. Дашуба и Дажбог... По догадке, имя его означает одного богом, подателем благ, от коего ожидали себе молещущики счастья; а по чему чаятельно можно почесть его богом богатства...» Домовые. «Сии мечтательные полубоги у древних назывались Гениями, у славян защитниками мест и домов...» Лешие — те, кто «чин имели у прочих язычников Сатиры». Лада или Ладо — «славная богиня киевская, подобающая во всем Венере. Славяне признавали ее богинею браков и веселия любовного...» Лель или Лелио — «сын Ладин, нежный божок, воспаления любовью. Видно по всему, что он возбуждал любовь, так же как брат его Дид отвращение...» Ния. «Сего славяне признавали подземным богом, коего место занимал у древнейших Плутон, царь адский». Позвизд или Похвист — «славянского Эол...» Полкан. «...Сей есть славянский Кентавр...» Симаергла или Семаргла — «божество киевское, имеющее там божницу. Более об нем ничего не известно». Услад или Ослад. «Божество киевское. Имя его означает одного богом пиршеств и роскоши». Стриба или Стрибог. «И сей бог имел у киевлян капища; а что знал, о том нет известия». Царь морской. «Сим именем назывался у славян бог — обладатель вод, который у римлян назывался Нептуном»<sup>5</sup>.

Таков список дохристианских божеств у М. Попова (отметим, что упомянутая М. Чулковым «Зимцерла» у него названа «Симаерглой» или «Семарглой»).

В классическом труде М. К. Азадовского «История русской фольклористики» сказано определеннее: «Считать, что Попов изобрел сам какие-либо божества, как принято утверждать, мне кажется, нет никаких оснований, и все его ошибки и наивности являются результатом его источников»<sup>6</sup>.

Далее остановимся на «Словаре русских суеверий» М. Чулкова (1782), в котором автор как бы подвел итоги всего сделанного до него; он утверждает аналогию божеств древних славян и других народов: «Многобожие, то есть идолопоклонство и суеверие

древних славян и ныне многих в России живущих народов, было и есть таково же, как и у прочих всего света народов...»

Для просветителя М. Чулкова все эти божества не более как «просмеяния достойное суеверие», способное произвести лишь «некоторое отвращение».

В сборник на равных правах вошли мифы и предания многих народов России. «Чулковым, — пишет М. К. Азадовский, — очень тщательно были просмотрены и изучены различные источники, как русские, так и иностранные, в частности, им использован список русских путешественников XVIII века (Крашенинников, Георгий Гмелин и др.)»<sup>7</sup>.

Просветительская позиция М. Чулкова очевидна — он, безусловно, оказал влияние на многих современников. Но было и влияние иного рода — чисто литературное. Отметим деталь, ускользнувшую от историков литературы.

В разделе «Вера» есть такое описание: «У них (у калмыков. — Д. М.) вымышлен некий судия, которого Ирлик Хан называют... Спорные дела весит он на весах. В одну чашку кладет грехи, а в другую добрые дела; и которая чашка перетянет, по тому бывает и расправа»<sup>8</sup>.

В другом разделе «Грехов очищение» описывает обряды камчадалов, там появляется имя Тайон — главный начальник, хозяин: «За бабой шел Тайон того острожка с натянутым луком». «После того Тайон... стрелял в волка»<sup>9</sup>.

Что же напоминают нам эти описания?

Спустя сто лет В. Г. Короленко, в 1880 году высланный в Якутию, в слободу Амга, создал замечательный рассказ «Сон Макара».

Комментаторы писали о прототипе его героя, Захаре Цукунове — хозяине избы, где жил В. Короленко, о политической тенденции рассказа. Об истоках говорилось обычно в общих чертах.

Напомним несколько фраз.

«...Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие.

— Видишь... весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какие ты сделал при жизни...»

И в конце:

«А весы все колыхались, и деревянная чашка поднималась все выше и выше»<sup>10</sup>.

Сюжет легенды и камчадалское наименование «Тайон» могли прийти к В. Короленко из «Словаря русских суеверий», который неоднократно переиздавался (во всяком случае до 1861 года).

Далее остановимся на книге А. Кайсарова «Славянская и Российская мифология», вышедшей в 1803 и в 1810 годах. В отличие от книг других мифологов ей приданы черты научности. Ав-

тор ссылается на источники, на данные раскопок, на сохранившиеся обычаи, хотя многие описания совпадают с теми, что сделаны предшественниками.

Список божеств обширен — здесь и Белобог (описание, очень близкое к описанию М. Чулкова и М. Попова), и Волос (или Велес), Дидо — Дед (автор спорит с Поповым, что у Нестора нет упоминания этого божества), и Зимцерла, и Кашей, и Кикиморы, и Русалки, и Световид (также Святovid), и Стриба или Стрибог, и Яга-баба...

О русалках сказано: «Это были Русские Нимфы, или Наяды. Басня говорит, что на них были зеленые волосы и что они чрезмерно любили качаться на ветвях деревьев. Этот предрассудок, обновляемый теперь преданиями, так укоренился в уме простолюдина, что сей и теперь еще верит, будто бы видел иногда своих русалок на берегу реки, чешущих зеленые свои волосы. Конечно, теперь уже мало таких премудрых людей в России»<sup>11</sup>.

О Стрибоге (Стрибе) автор пишет: «Долго не знали, какое божество Стрибог; но теперь мы знаем из песни Игореву воинству, что он был бог ветров, потому что их в сей песне называют внуками Стрибога»<sup>12</sup>.

О Яге-бабе приводятся стихи из сказки:

Баба-Яга  
Костяная нога,  
В ступе едет,  
Пестом погоняет,  
След помелом замечает.

А далее — авторское примечание: «Какое пышное, блистательное описание».

В ином плане построена книга Григория Глинки «Древняя религия славян» (1804). Автор, опираясь на своих предшественников, а заодно и на современную ему поэзию, действительно готов приделывать руки «Фидасовой Венере».

Он идет далее всех остальных «мифологов», создав классификацию древних славянских божеств.

Начинается классификация списком, куда входят, во-первых: «...обожженные существа, вне земли находящиеся и на оную только показывающие свои действия, ощутительные человеку. И такие боги будут:

Перун, движение, эфир, гром.  
Златая Баба, тишина, покой.  
Световид, солнце, жизненная теплота.

Знич, начальный огонь, эфир.

Балбог, благо и доброе начало, сильный бог, крепкий бог.  
Дажбог, благополучие, живот, сохранение жизни.



Лед, война.  
 Каляда, мир.  
 Услада, удовольствие.  
 Ладо, красота.  
 Дети ее:  
 Леля, любовь.  
 Полеля, брак.  
 Дид, супружество.  
 Дидилия, деторождение.  
 Мерцана, заря, богиня жатвы»<sup>13</sup>.

Особенных новшеств по сравнению с предшественниками нет. Сегодня мы, пожалуй, назвали бы книгу Г. Глинки популяризаторской — она как бы подводит итог мифологическим словарям XVIII века.

Потом придут другие ученые и писатели — появится русская мифологическая школа во главе с А. Н. Афанасьевым, автором гениальной работы «Поэтические воззрения славян на природу» (1865—1869). Но первые шаги были сделаны М. Ломоносовым и идущими независимо от него М. Чулковым, М. Поповым, А. Кайсаровым, Г. Глинкой.

Так была создана школа русской мифологии в первоначальном виде.

\* \* \*

Однако вернемся к Н. В. Гоголю и его повести «Вий».

Прежде всего отметим, что у М. Чулкова в «Словаре русских суеверий» упомянут центральный мотив, легший в основу повести. В главе «Заспать младенца» этот ученик просветителей, весьма иронически относящийся ко всяким суевериям, рассказывает о том, что должно делать женщине, которая имела несчастье «заспать младенца», т. е. придавить его во сне. М. Чулков пишет: «Такой женщине должно стоять в церкви одной три ночи, очертившись кругом мелом, которое очерчение должен учинить священник. В первую ночь будут ходить мимо ее бесы и, нося ее младенца, ей показывать. Во вторую ночь, нося мимо ее, будут его давить, бить и щипать, и говорить ей, чтобы она вышла только из круга, то и отдадут ей младенца; а как скоро она из него выступит, то и будет добычей дьявола. Третью ночь мучат ее несказанно... По воспении же петухов они исчезают...»<sup>14</sup>

Как видно, мотив бесов в церкви и охраняющего заговора в конце XVIII и начале XIX века был достаточно известен. В той же книге М. Чулкова мы находим среди выдуманных богов и фигуру, на которую следует обратить особое внимание. Это — «Ния или Ниян, идола сего славяне признавали богом, или царем адским»<sup>15</sup>.

Обратимся к книге А. Кайсарова «Славянская и российская мифология», где есть толкование того же «Ния или Ниама»: «Ния, как говорит Длугосс, был бог преисподней»<sup>16</sup>. А в книге Г. Глинки «Древняя религия славян» (1804) упомянут Ний, «владычествующий над преисподними странами». Автор подчеркивает неумолимость и безжалостность этого бога, а также и то, что истукан был выкован из железа.

Бог Ний описан так: «Славяне полагали (по примеру многих других народов) место казни для беззаконников внутри земли. Судьей и исполнителем казни определяли им особенно неумолимого и безжалостного бога Ния,

Имеющего свой внутри земли престол  
И окруженного кипящим морем зол.  
(Владимириада)

Сей судья мертвых почитался также насылателем

...ночных ужасных привидений  
(Владимириада)».

Далее сказано, что «истукан его был выкован из железа» и что «жертвовали ему не токмо кровию животных, но и человеческою, особенно же во время каких-либо общественных злоключений»<sup>17</sup>.

Можно предположить, что работа эта была известна Н. В. Гоголю.

Но уж наверняка Н. Гоголь был знаком с творчеством М. Хераскова, с его произведением «Владимир, поэма эпическая» (у Глинки — «Владимириада»), где есть еще некоторые черты Ния, которые не отметил исследователь. Появление звероподобного Ния, насылающего ужасы и страшные адские видения, описано так:

И многих славы шум от веры их отвлек.  
Зверообразный Ний тогда восстал и рек:  
.....  
— Довольно о них, на нас в надежде сладкой быть.  
Мне мнится, должно страх теперь употребить;  
И если сонмищу сие угодно будет...  
Я ужасы ему во смутну мысль вложу.  
Геенскими его мечтами поражу...<sup>18</sup>

Итак — железный Ний, подземный бог, властитель преисподней.

Но Ний — это еще не Вий.

Откуда же появилось имя страшного Вия?

Мне уже приходилось писать в книге «Товарищ Смех» (Л., 1981), что в гоголевской «Книге всякой всячины, или Подручной энциклопедии», в «Лексиконе малороссийском» в числе толкований есть и такое: «Вирлоокый — пучеглазый».

Среди украинских и русских сказок есть сказка «Верлиока», где сказано: «В лесу шумит, трещит — идет Верлиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол-аршина, на голове щетина, об одной ноге — в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется»<sup>19</sup>.

В русско-украинских словарях находим: «Віа — ресница, — ы; Повіка — веко».

Вспомним, что гоголевский Вий требует поднять ему веки.

В «Песнях западных славян» А. С. Пушкина есть слово «вила» — в смысле русалка, чаровница. Упомянуто это «божество женского пола» и И. И. Срезневским в «Материалах для словаря древнерусского языка по песенным источникам» (т. 1), откуда его и перенес М. Фасмер в свой «Этимологический словарь русского языка» (М., 1967. Т. 1). По-видимому, это слово могло также послужить толчком к созданию имени подземного духа, но уже мужского пола.

Все изложенное дает основание предположить, что имя «Вий» возникло из имени подземного бога, фигурировавшего во всевозможных «мифологиях», и от образования, связанного со словом «вия».

Ний — вия — Вий.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Сахаров И. П. Сказания русского народа. 3-е изд. Спб., 1841. Т. 1. Кн. 1. С. 3—7.
- <sup>2</sup> Ломоносов М. В. Избр. философские соч. М., 1940. С. 314—316.
- <sup>3</sup> Глинка Г. А. Древняя религия славян. Митава, 1804. С. 9.
- <sup>4</sup> Берков П. Н. Ломоносов и фольклор // М. В. Ломоносов: Сб. ст. и материалов. М.; Л., 1946. Т. 2. С. 123—124.
- <sup>5</sup> Попов М. И. Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабженного примечаниями. Спб., 1768. С. 12—13.
- <sup>6</sup> Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 73.
- <sup>7</sup> Там же. С. 64.
- <sup>8</sup> Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. Спб., 1782. С. 76—77.
- <sup>9</sup> Там же. С. 140—141.
- <sup>10</sup> Короленко В. Г. Собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 130.
- <sup>11</sup> Кайсаров А. С. Славянская и российская мифология. 2-е изд. М., 1810. С. 164.
- <sup>12</sup> Там же. С. 211.
- <sup>13</sup> Глинка Г. А. Указ. соч. С. 12.
- <sup>14</sup> Чулков М. Д. Указ. соч. С. 197.
- <sup>15</sup> Там же. С. 261.
- <sup>16</sup> Кайсаров А. С. Указ. соч. С. 130.
- <sup>17</sup> Глинка Г. А. Указ. соч. С. 112.
- <sup>18</sup> Херасков М. М. Творения. Вновь испр. и доп. М., 1797. Ч. 2. С. 97.
- <sup>19</sup> Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М.; Л., 1938. Т. 2. С. 523.

## Сергей Таск

### В ГОСТЯХ У НАБОВОВА

В автобусе я раскрыл его английскую автобиографию «Говори, память», сверился с планом: мы ехали по бывшему Варшавскому шоссе на юг, в сторону Луги. Цель моего путешествия была близка. Рождествено — Выра — Батово — набоковские места.

Думал ли я ранним утром 3 мая 1979 года, когда сходил с автобуса, «опоздавшего» на шестьдесят с лишним лет, отыскать здесь следы той жизни? Сейчас, в 1988-м, мне кажется, что я верил в удачу, и эта обескураживающая своей наивностью вера оказалась лучшим поводомрем.

Первый же прохожий показал мне на холме двухэтажный дом с колоннами, местный краеведческий музей. Построенный в александровские времена, до революции он принадлежал деду Набокова по матери, золотопромышленнику И. В. Рукавишникову. В 1914 году дом-усадебка был завещан будущему писателю вместе с живописными болотами и десятинами земли, но вскоре роль душеприказчика взяли на себя местные Советы. Вот и мраморный склеп Рукавишниковых...

Пока я бродил по музею, делая маленькие открытия (картины славного революционного прошлого удачно дополняла карикатура из журнала «Леший» на отца писателя, Владимира Дмитриевича, видного деятеля кадетской партии), принесли семейный альбом Рукавишниковых. Альбом сохранился у Зепнова — его отец служил у бывших хозяев поваром. В голодном тридцать первом пришлось снять серебряные застёжки, чтобы обменять их на продуктовые карточки.

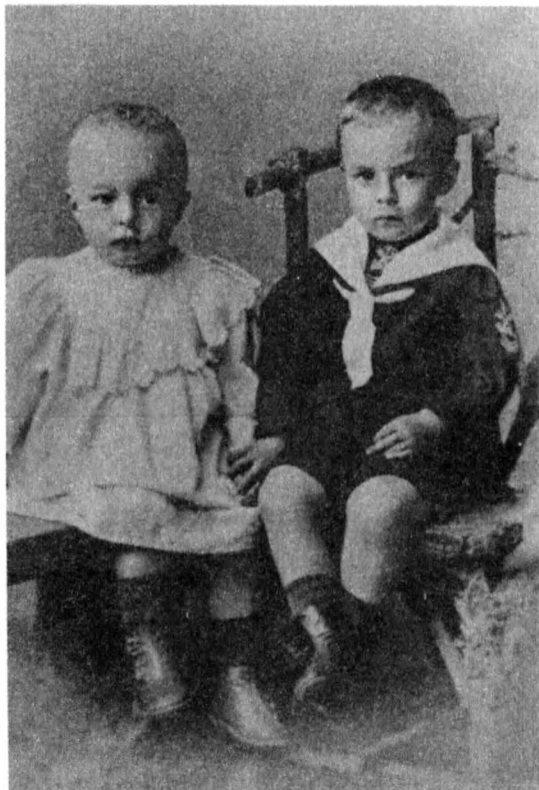
А ну как живы еще те, кто знает о той эпохе не понаслышке?

— Поговорите с тетей Любой, — посоветовала хранительница музея Татьяна Васильевна Вячеславова.

Тетя Люба мыла полы в сенях. Сухонькая старушка в рабочем халате и коротких ботиках разогнулась, поправила съехавший назад платок.

— Детей не видала, нет, а Набочиху — как же. Маленькая такая, в вязаной перелинке. Управляющая у них еще была, Копонева Анна Максимовна, на нее моя свекровь тоже стирала. Платили хорошо, не обижали. А я в ихнем доме, когда немцы пришли, лестницы мыла. Добрый дом, не как сейчас — через месяц развалился. Немцы его потом сожгли. Когда отступали. А леса — это уж мы потом сами. Грибов тут было! Черника, брусника... На болотечке. Тут у них чего не было. Богатые были Рукавишниковы. Триста двадцать голов на скотном дворе. После чикинской забастовки<sup>1</sup> напугались. Набочиха двух стражников держала. Моей свекрови племянница только подхватила: «Вставай, проклятьем заклейменный...», а тут урядники! Литературу, знаете, где прятала? (Улыбается.) Под «голубцами»<sup>2</sup>. Рылеева мать где лежит, видали? Вот

там. В восемнадцатом муж ушел формироваться в Лугу. Юденича гнал. Потом здесь председателем сельсовета. А я на ферме. Тридцать восемь лет. Дояркой, потом телятницей. Сейчас вот уборщицей. Глаз у меня один плохой — катаракта. Сама я череповецкая, там и школу кончила, как раз триста лет Романовых. А когда Юденичто подошел, я со страху свидетельство в печке сожгла... и сельсоветские бумаги, и все. В эту войну? Так тут это было — общежи-



В. Набоков (справа) с младшим братом Сергеем

тие. А у Набоковых в тридцать седьмом из Испании дети жили. А потом, я говорила, немцы стояли. Горело после них — страшное дело. Мы в лесу тогда были. Светло — хоть шей. Так и сгорел<sup>3</sup>. А что сделаешь? Детей спасали... Я когда услышала, что наши пришли, как побегл! Целовали-ись! От радости разрыв сердца как не сделался. Все помню, все. Помню, в семнадцатом Владимир Дмитриевич на гумне народ собрал. Без шапки, волосы зачесаны назад, высокий такой, в пиджачке. Мужики ему: «Когда вы землю

нам раздадите?» А он: «А когда вы мне пошлину отдадите?» Вообще-то они хорошие были. Помогали. Лошадь падет или что, они тебе тридцать пять рублей. Рукавишников — этот для детей школу построил, больницу, деньги раздавал. Свекровь моя говорит: «Я тоже бедная, мне когда дадите?» — «А ты, говорит, Дунечка, развяжи-ка чулочек...» Она, против других-то, не беднилася. Уехал отсюда сначала Владимир Дмитриевич один, а Набочиха еще жила во флигеле. Однако до восемнадцатого еще жила<sup>4</sup>. Уехали спокойно, не трогали. Как место найти? А по дорожке подниметесь — и все прямо, прямо...

Прежде чем отправиться в Выру к Набоковым, я зашел на деревенский погост, который от музея-усадьбы отделяет речка Оредежь с перекинутым через нее Могильным мостиком. Здесь похоронена жена художника Шишкина. Белый каменный крест на ее могиле был раньше хорошо виден с шоссе, пока на крест не упало дерево. Колхозники хитрят: подсекут ствол, дерево начинает гнить, они к лесничему — «рубить надо». Мертвые нам не опасны, живые не интересны. Тете Любе восемьдесят, старухе Богдановой, прачке в батовском имени Набоковых, сто три года. История шаркает отеками ногами у нас за стеной. В лучшем случае делаем вид, что не слышим... если всерьез не подумываем о расширении своей жилплощади. «Мы ленивы и нелюбопытны» — для нас это уже почти похвала.

Деревня Выра, обеденная старинным вензелем Оредежи, как говорят, получила свое название по речушке Выродке. Берега здесь красные, но это не глина, как может показаться, а девонский песчаник. От «камня Рылеева» когда-то шла аллея, обсаженная желтой акацией и сиренью, путь висельника, как ее окрестили после казни пятерых декабристов. Ныне глаз путешественника радуется чертополоху, а сам он больше думает не о судьбе Кондратия Федоровича, а о том, как бы не свалиться в канаву.

От дома Набоковых не сохранилось даже фундамента — из его камней крестьяне окрестных деревень складывали печные трубы. На месте скотного двора — ремонтные мастерские, на месте парка — чахлые деревца да репейник. Упомянем также в нашем бедекере вид на полигон местной ГЭС.

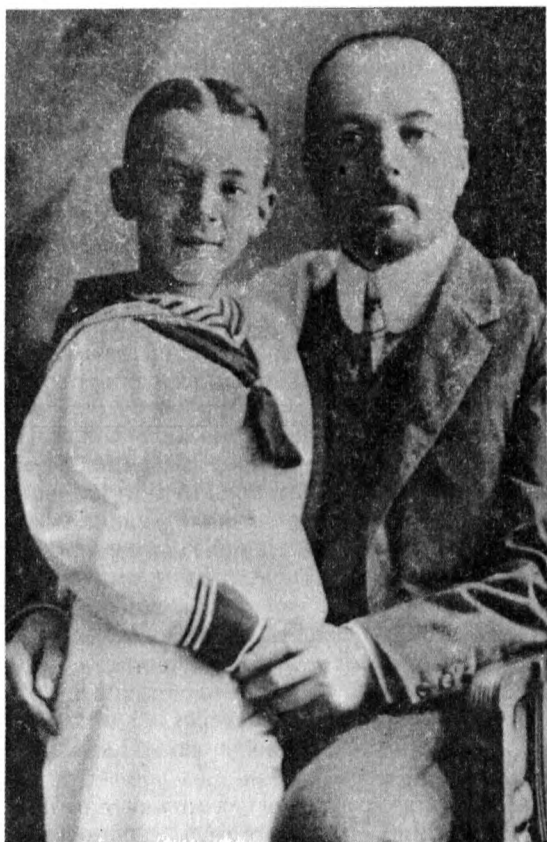
— Красивый дом был! Немцы все здесь напортили.

Сзади подошла старуха с дочкой. Разговорились. Обе инвалидки. Старуха тридцать лет в колхозе отработала, пенсия тридцать четыре рубля. По рублю за год. У дочери за вторую группу — тридцатка.

— Разве можно так жить? Все Хрущев! Теперь этот, старый кот, еле губами шевелит. Хоть бы он уж совсем... так и пишите, мы не боимся говорить. Скоро еще гости понаедут<sup>5</sup>, так и без войны задушат. При господах лучше было. У них свои уголья, у крестьянина своя угожь. Самый бедный держал корову, овцу и козу. А

сейчас куда ее, козу, если угрожи нет? Вязанку сена на себе вон откуда тащишь! Да ее еще и стащить надо... Кое-как чертыкляемся.

Это словцо потом занбзило меня, пока сон не сморил, в автобусе. Кое-как чертыкляемся — вот вам народный диагноз происходящего, и возбудитель болезни указан — «черт». Простой человек может не знать, кто вчера или сегодня выступал в этой заведомо отрицательной роли (старуха-то как раз знала), но что жизнь ра-



В. Набоков с отцом  
Владимиром Дмитриевичем

зумная и сытая — от Бога, а голодная и бестолковая — от беса, это ему и до всеобщего среднего образования было ведомо. А нам? «Непростым»? Часто ли мы удаляемся верст этак за сто от своего письменного стола в порядке хождения в народ, чтобы лишний раз убедиться, как страшно далеки мы от этого народа? Я вдруг увидел себя со стороны: столичная штучка в модном светлом плаще, стоя на отшвабренном пяточке, распрашиваю старую,

полуслепую женщину с половой тряпкой в руках про «красивую жизнь» бывших господ. Дальше, кажется, ехать некуда, ан еду дальше, и не без комфорта, — куда? — обратно, в большой, столличный, вот этими нищими деревеньками, мелькающими за окном, подкармливаемый город.

\* \* \*

В городе мне предстояло найти дом на Белградской улице. Здесь жила Людмила Евгеньевна Алейникова, дочь доктора Розанова, домашнего врача Набоковых. С позволения читателя я опускаю гарнирные подробности нашей встречи и сразу перейду к цели моего визита.

Девочкой она была тайно влюблена в младшего брата Володи Набокова — Сергея, «интересного молодого человека» в пенсне. «Вот, — насмешничали подружки, — жених твой идет». Дети Владимира Дмитриевича играли в лаун-теннис и, по словам Алейниковой, владели английской ракеткой лучше, чем русской речью. Оставляя это утверждение, как и все прочие, на совести очевидцев, напомним, однако, читателю место в «Других берегах», где Набоков пишет, что английскому он выучился раньше, чем русскому. Вообще англоomania была семейной болезнью, которая не миновала даже немку, баронессу Корф, его бабуку, по отцу, жившую в соседнем батовском имении.

Семья Набоковых в памяти Алейниковых запечатлелась слабо и, главным образом, отраженно, через отца. Отец, Евгений Евгеньевич Розанов, прибыл в Рождествено (по-старому Рожествено) в 1903 году земским врачом. Он вел бесплатный прием в больнице на десять коек, построенной в деревеньке Даймище<sup>6</sup> на средства Рукавишникова, пользовал, как уже было сказано, и Набоковых, а также ездил по вызовам, для чего запрягался жеребчик Ванечка. Помогала ему фельдшерница Мефодиевна, по-домашнему Фотьма. Жили Розановы в достатке, не зная ни особых забот, ни серьезных потрясений. Но вот в 1914-м главу семьи определяют в кирасирский полк, стоявший в Царском Селе, домой он возвращается с тяжелой контузией и вскоре умирает. Вторая контузия, полученная семьей, пришлось на ленинградскую блокаду. Но детство...детство и сейчас, в семьдесят девятом, видится моей собеседнице сквозь голубовато-розовый фильтр: перемазанные черникой губы, воскресные танцы на дощатых мостках, деревенский спектакль с Мишкой Барановым в роли царя, спектакль, после которого его стали звать не иначе как Мишка Царев. «Ну а Набоковы?» О Набоковых ей нечего было прибавить, разве что... Людмила Евгеньевна положила передо мной картонную открытку — вид, судя по грядкам на переднем плане, на контрфас набоковского дома. Да ведь это, кажется, единствен-





Автографы В. Д. Набокова

ный в своем роде снимок! Откуда? От Копоневой, управляющей именем. После ее смерти кое-что осталось... «Кое-что» оказалось групповым снимком в летней беседке — кто, хотел бы я знать, этот гимназист с собакой? — а еще фото одного из Рукавишниковых с братом художника Петра Кончаловского, а еще...

Разбираю изящный беглый почерк.

«Многоуважаемая Анна Максимова, мы возвращаемся в понедельник, 8-го, с норд-экспрессом. Я уже писал Осипу и очень прошу Вас подтвердить мою просьбу начальнику движения г. Риману об остановке поезда. — Выслать за нами надо два экипажа, в зависимости от погоды, карету или коляску парную и одиночку, и подводу. — Надеюсь, что найду всех и вся в добром здравии. В деревне мы пробудем до конца октября, если только погода не очень будет плоха. Во всяком случае переедем не раньше 20-го. — Жму Вашу руку. До свидания. Влад. Набоков».

Смотрю на почтовый штемпель: 14 октября 1907 года. Открытка с видом на Грот Любви в Биаррице. Здесь, в один из своих приездов с родителями, встретил совсем еще юный Набоков столь же юную нимфетку с шелковистыми локонами и таинственным синяком на заштрихованном пушком запястье. Колетт — карандашный набросок Лолиты, не хватает только Гумберта, чей обреченно-влюбленный взгляд пропишет все детали.

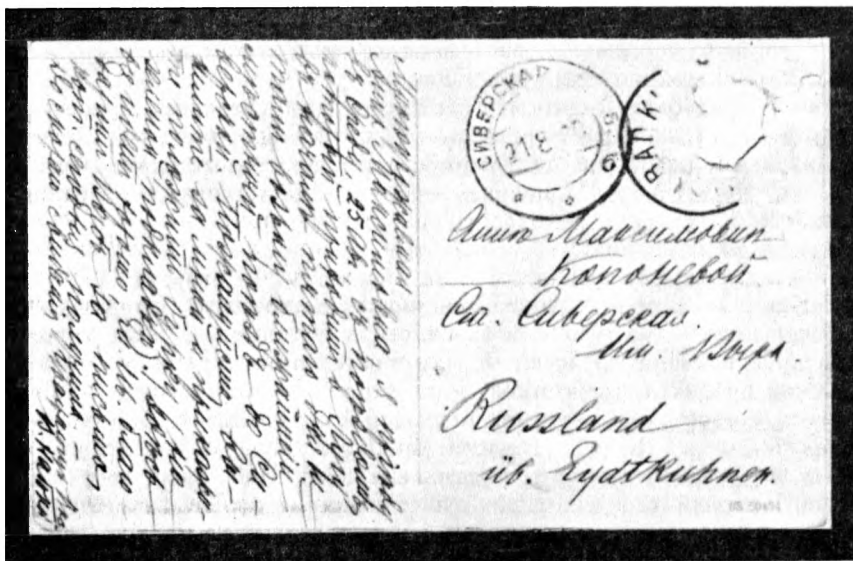
Рядом ложится другая открытка.

«Многоуважаемая Анна Максимова, я приеду в среду, 25-го авг., с поездом, который приходит в Лугу в начале пятого дня, и там возьму ближайший местный поезд до Сиверской. Пожалуйста, вышлите за мной и прикажите положить бурку (на зеленой подкладке). Здесь все идет хорошо. Ел. Ив.<sup>7</sup> благодарит Вас за письмо, кот. сегодня получила. — До скорого свидания. Уважающий Вас

В. Набоков».

Вид на курортный город Бад Киссинген. 18 августа 1910 года. Как и в первом случае, Владимир Дмитриевич, возвращаясь из-за границы (на этот раз без детей), извещает об этом управляющую именем открыткой. Марка выдрана с мясом — явно детские ручонки поработали.

...А через час я стоял на улице Герцена, бывшая Большая Морская, перед № 47. Чугунные лилии на крыше трехэтажного дома из розоватого камня растеряли почти все свои лепестки. Петербургский особняк Набоковых теперь занимает учреждение. А что если в доме напротив... Вскоре я уже точно знал, где может ждать меня удача... Дверь открыла тучная старая женщина с седыми стриженными под горшок волосами, с одутловатым мучнистого цвета лицом, которое не могли оживить сердоликовые сережки. До революции вся эта большая квартира принадлежала ее отцу, генералу от артиллерии Кузнецову. Среди предков были на-



Вид на курортный город Бад Киссинген

Автограф В. Д. Набокова на обороте открытки «Вид на курортный город Бад Киссинген»

местник Литвы и эксперт по дворянской геральдике при Священном Синоде, офицеры-гвардейцы и заместитель начальника Арсенала. Ниточку своей родословной она была готова размотать до эпохи Ивана Грозного. А вспомним, как Набоков с прилежностью крота буравит недра своей фамильной истории. Вспомним бретерский выпад Пушкина с своим шестисотлетним дворянством. Какая мощная корневая система питала когда-то наших соотечественников, каким не случайным было их самостояние на земле! И рядом с вековыми этими соснами и дубами какими уязвимыми смотримся мы, одним махом обрубившие свои корни...

Но вернемся в коммуналку, где доживала свой век Татьяна Владимировна Кузнецова, получая сорок два рубля пенсии и рисуя аляповатые цветы, которые давно никто не покупал. Из России генерал Кузнецов уехать не захотел, пребывая в убеждении, что к мрамору грязь не пристает; в восемнадцатом, в разгар гражданской войны, он умер от тифа в армии Колчака. Остальной родне не привелось умереть естественной смертью. Одно из братьев в тридцать седьмом трижды ставили к стенке. Дядя, прошедший печально известную «шпалерку», вышел оттуда (недолго) с почерневшими руками — его щипали несколько дней подряд, не давая заснуть. Оставленный без воды, он пил собственную мочу. «Я должна бы возненавидеть советскую власть, но у меня, слава богу, голова светлая. Могла ли уехать? Могла, только я гордая. И вообще... Здесь вода сладкая, а там портвейн кислым покажется».

В 1915 году родители отдали ее не в Смольный, утративший пальму первенства среди женских учебных заведений Петербурга, а в Екатерининское училище для благородных девиц. Физику им преподавал Младенцев, ученик Мечникова. Геометрию учили «по Волкову»: в классе — по живому, дома — по его учебнику. Дисциплина была строже, чем в монастыре. За малейший проступок лишали свиданий с родными. Заговорить тет-а-тет с женщиной (учителем!) считалось верхом неприличия. Занятия тянулись до глубокой ночи. Классидры, в смысле классные выдры, заставляли своих воспитанниц заучивать целые страницы. Читать в дортуарах было запрещено, и поэтому все, что девочки прибегали «для души», постепенно переключивало в библиотеку «запрещенных» книг, дремучий прообраз нашего спецхрана. В училище Кузнецова сразу выделила кухню Набокова, их у него было полдюжины, а именно Оню, которая позже промелькнет в его английской автобиографии, оставив автору на память пластмассовый детский браслет. С высокой стройной Оней Кузнецов разделяли в училище не только разница в два года, а вне училища — Большая Морская, когда кухня Набокова приезжала в дом напротив на елку или на бал, их разделяло нечто большее. За Оней в конце недели присылали карету, обитую атласом. (Са-

мого Набокова привозил в Тенишевское училище шофер «в ливрее».) Это была другая ступенька на социальной лестнице, притом что Владимир Дмитриевич слыл либералом и даже в Петербурге, не говоря уже о деревне, устраивая детские праздники, ломал сословные и прочие перегородки. Я показал Кузнецовой место в книге «Говори, память», где Набоков пишет про юную Оню, и вдруг глаза старухи просияли, и ее мучнистое лицо перестало казаться посмертной маской.

После исторического выстрела «Авроры» для благородных девиц наступили времена топить печи венскими стульями и падать в голодные обмороки. И привыкать, привыкать, привыкать. К тому, что под окнами стреляют, и городских, прячущихся на крыше немецкого посольства, сбрасывают на мостовую. Привыкать к уплотнению, к карточной системе, к черной работе. Однажды на улице она встретит свою подругу по училищу. «Помнишь, — спросит та, — как мы надевали на дежурства лайковые перчатки до локтей?» «Сейчас бы мне эти перчатки, — рассмеялась она в ответ. — Полы мыть».

Подруга вышла за маркиза и уехала во Францию. Кузнецова вышла (вторым браком) за геолога и уехала в Якутию. Однажды ей смехом предложили поразить из пистолета мишень, и она всадила пулю в пулю, не уронила честь отца, боевого генерала, которого офицеры называли «русским Вильгельмом Теллем»... Потом война, блокадный Ленинград, буханка хлеба за бриллиантовые серьги матери. И совсем неожиданное: вызов в Особый отдел и предложение работать в СМЕРШе. К чекистам в принципе у нее не было предвзятого отношения, как можно было бы ожидать.

— Вы хорошо знаете немецкий язык, — сказали ей в Особом отделе. — Если вам дорога наша родина, идите к нам, — особист зачем-то выделил слово «наша».

— Хорошо, — сказала она. — Но учтите, осведомителем у вас я не буду.

Татьяна Владимировна Кузнецова, дочь белого генерала, не стала уточнять, какого цвета родину он имел в виду. Ей была дорога родина как таковая. Та, которая была в опасности.

\* \* \*

6 мая я снова приехал в Рождествено. Ехал я сюда уже не как турист, готовый с оплаченным равнодушием позыркивать по сторонам вслед за пальчиком молоденькой гидессы, — я ехал к Набоковым «в гости». Как просто: садишься в «Икарус», эту машину времени, и через два часа ты в другой эпохе... мужчины в канифасовой паре за партией виста, загорелая девушка, ракеткой выбивающая, как ковер, ветку липы с застрявшим на ней воланом,

голос юного вымогателя из малинника: «Хочешь — достану? За двугривенный?» А за штакетником, там, где начинаются заливные луга, едва различимое вжик-вжик, высекаемое точильным бруском из затупившейся литовки... Ох уж этот романтический вздор, скрашивающий сомлевшему в дороге путешественнику дивные сны в стиле ретро! Надо ли говорить, что все было не совсем так или даже совсем не так, а как — тебе скоро расскажут, так что спи себе, пока перестраивают свои боевые порядки присягнувшие императору Павлу гатчинские пейзажи.

Было воскресенье, третья неделя по пасхе, праздник святого великомученика Георгия Победоносца. В церкви Рождест-



Наталья Павловна Богданова

ва Пресвятой Богородицы иконы были убраны белыми крестьянскими полотенцами с узорной вышивкой. Хоругви посверкивали золотом. Несколько лет назад Елена Владимировна, младшая сестра Набокова, приезжала в родные места. С тех пор местные старушки любят «вспоминать» о том, как она заказывала в церкви «служебен», хотя ей это даже в голову не приходило. На поездку в Рождество она отважилась один раз. В остальные свои приезды в Ленинград она редко покидала гостиницу: при ее «нансеновском паспорте», на фоне тогдашнего расцвета нашей бюрократии, право же; не стоило дразнить гусей, привлекая к своей

персоне излишнее внимание. По-английски сдержанная, чуждая всяких сантиментов, она избегала разговоров о «той жизни», никогда не рассказывала о брате. Лишь однажды в кругу друзей, в ресторане, когда принесли непрожаренную курицу, Елена Владимировна обмолвилась: «Раз за обедом подали сыроватого петуха, а брат нам говорит: "Смотрите, у него кровавые подмышки!"».

Из церкви мой путь лежал в деревню Батово. К многоквартирному каменному дому, где жила Наталья Павловна Богданова, я подошел в некотором замешательстве. А как бы себя чувствовали вы, если бы вам предстояла встреча с человеком 1876 года рождения? Дверь была приоткрыта, я робко вошел и сразу увидел сидящую в кухне у окна старуху в черной кацавейке, не старушку, а именно старуху, крепкую и плечистую.

— Здравствуйте, Наталья Павловна, — пробормотал я. — Извините, я постучал, да, видно, вы не расслышали.

— Это ты, мил-человек, не расслышал, а у меня ухо звонкое. Вот ноги, врать не буду, не шибкие, я потому и дверь не припираю, цельный день сижу в углу, как пенный квас. Да ты чего там, батюшка, заминаешься?

Я сел как-то бочком, одной ягодичей на табурет с проросшим в самой середке гвоздем и объяснил, зачем пожаловал. Наталья Павловна, внимательно выслушав, открыла младенчески беззубый рот.

— У генерала Набокова я, точно, работала. Два годка. Пра-чечная тут у них была, прямо у речки, в ней и жила. Там еще студеный ключок был, из трубки вода текла — чи-и-стая. У генерала девять детей было, пять дочек, четыре сына, считая Владимира Дмитриевича. (Старуха бойко сыпала именами.) Хороший был барин. Давали мне семнадцать рублей... в месяц, а как же. Что припасла, то и носи, да еще на ребят надо. Мужья тогда одежду не покупали. А так-то всего хватало. В Батове, ты запиши, были лучшие телята, паси где хочешь. А овес! Мы его уберем, а нам за это угожь. Ты пишешь? Ну-ну. Потом цветы... сколь мы цветов в ихней аллее пересажали! Вот и считай: господ обстирать, домой сбегай, огород, корову подоить, летом сенокос!.. всю жизнь на пупе вертишься.

Рассказывая, старуха держала на коленях перетруженные руки с совершенно скрюченными пальцами. Сидела она под божницей с зажженной свечой. Фитиль горел ровным точечным огоньком, словно сберегая силы, воск если и оплывал, то как-то незаметно для глаза. Чем-то эта приземистая, упрямая, как пенек, свеча была сродни этой статрехлетней старухе.

— Баронесса Корф? Ну, какая... Хоть и генеральша, а простая была, шила с нами вместе платье к елке. Так у их было заведено: девочкам, господским и крестьянским, дарили платица или косыночки, мальчикам — штанишки, ремешки. И на елку все

дети ходили с матерям, с отцам. Да... А топить в доме она не разрешала. Холодный воздух, говорит, продлевает жизнь. И на пуху не спала. Вот тебе и баронесса.

Я спросил, что за слух такой, будто, когда здесь стояли немцы, кто-то видел Сергея Набокова. Старуха удивилась.

— Зачем бы сыну Владимира Дмитриевича сюда в войну приезжать? Мы голодоваем и ему голодовать? Чего старики-то не скажут. Всё вры. Я тебе, мил-человек, так скажу: много жить нельзя.

Когда я уходил, Наталья Павловна крикнула мне вслед, чтобы дверь оставил открытой.

— Может, еще кто прибудится, все мне, старухе, веселее.

Пока я иду из Батова в Выру, последнюю точку «набоковского треугольника», где затонуло его детство, поясню для читателя мой вопрос Богдановой. О том, что в войну появился в Рождество Сергей, младший брат Владимира Владимировича, рассказывал (не мне) некто Федор Власов, в дом которого будто бы тот заходил, одетый в форму немецкого офицера. Слух этот никем впоследствии не был подтвержден, однако ж он в какой-то степени повредил доброму имени Набоковых. Слух он и есть слух, и я бы мог им с чистым сердцем пренебречь, но потом подумал: зачем эта фигура умолчания, как будто *что-то было*? Хватит уже нам держать читателя за «тихого дурачка»<sup>8</sup>.

Анастасия Екимовна Алексеева, в девичестве Баранова, сестра того Мишки Баранова, что подвизался в роли самодержца всея Руси, принимала меня в светлой горнице. Подоконники были уставлены цветами в горшках. В красном углу висели иконы. На столе, покрытом деревенской скатертью, леденцы в вазочке и крашеное яичко. Одета хозяйка была чуть не по-зимнему: теплая вязаная кофта, валенки. Реденькие выцветшие волосы сзади сколоты гребнем. Руки на коленях подрагивали.

— Я сначала вам про Рукавишниковых, — сказала Анастасия Екимовна. — Иван Васильевич сына еще парнем отделил за то, что тот не веровал. Зайдет, бывало, в церковь, с ноги на ногу переминается, а не крестится. После смерти отца Василий Иванович не захотел хозяйничать, отдал землю крестьянам. Жилось нам тогда хорошо. За лекарства мы никогда не платили, больных поили миндальным молоком. Три разá была я у царя в Таврическом дворце. Вот, говорю, ваше императорское величество, осчастливьте, примите подарки от крестьян Василия Ивановича Рукавишникова. Лет пять аль шесть назад приезжала сюда внучка их, не то внучатая племянница, точно не скажу<sup>9</sup>.

— А про другого деда Володи Набокова, по отцу, что-нибудь помните? Или про бабушку его баронессу Корф?

— Баронессу Корф помню. Красивая такая, румяная. Три градуса тепла в комнатах держала. Это вы, говорит, на печке



выросли. Зимой в снег садилась. Шоколадом, помню, угощала. А ее внучка пела раз, я слышала:

На последнюю пятерку  
Ой, найму я лошадей,  
Дам я кучеру на водку,  
Погоняй-ка веселей!..

В середине песни Анастасия Екимовна дала петуха, но при этом осталась собою премного довольна.

— Алейникова, дочь доктора Розанова, говорила мне, что вы были нянькой у них в семье.

— Семнадцать лет я к ним в няньки поступила. Больница у нас была двухэтажная: вверху семья, внизу анбулаторный прием. Все выезды оплачивал Рукавишников. Кучер и конюх были нанятые. Я доктору помогала. К Набоковым, когда надо, тоже ездила. Дети у Владимира Дмитриевича на ломаном русском говорили. Их запирали с англичанкой, чтобы они учились<sup>10</sup>. Елену Ивановну весной, когда они из города приезжали, школьники цветами встречали. Больше про них не скажу, нас туда не приглашали. А Евгений Евгеньевич в гражданскую войну был на передовых позициях и там с ума сошел<sup>11</sup>. Домой приехал — днем спит, а по ночам блудит.

— Я ходил на место, где стоял дом Набоковых. Сильно тут у вас все изменилось?

— Как не измениться. Немцы половину леса выгубили. Черники сколько было! Мы с черниковой пельмени делали. Была тут раньше санатория, потом закрыли — коровы туберкулезом заражались. А где сейчас ГЭС, там была раньше мельница.

...Последняя, совсем короткая запись в моем блокноте: улица Саши Соколова (бывшая Церковная), дом 10. Моисеева Татьяна Павловна. Слышу ее голос:

— В революцию громили дом Рукавишниковых, сто подвод вывезли в Гатчину... золото, книги, всякое добро... целый месяц возили. Все ругаем, ругаем помещиков... А наши вот хорошие были. Деньги давали — на корову, на лошадь. Школу построили, больницу, народный театр. За две недели до елки мы все писали, кто какой подарок хочет. Конфет приносили — полный картуз... яблоки, апельсины, шоколад. Бери сколь хочешь. Дети Владимира Дмитриевича, когда мы приходили, говорили по-русски. Мы ходили смотреть, как Володя с Сережей играли в теннис, мальчишки им мячи подавали. Сережа картавил. Бывало, приедут из Петербурга артисты, на гумне сцену построят, а Сережа перед спектаклем читает: «Стганное небо, стганное небо, чегные тучи, стгашные облака...» Владимир Дмитриевич стоит румяный такой, а на щеке мушка. Он к нам в рождественскую школу, после трех классов, на экзамены приезжал. Вместе с

инспектором из Петербурга. По географии спрашивает: «Расскажите про центральный край России». Я отвечаю: «В центральном крае России пятнадцать губерний». «Умница», — говорит. И учительнице: «Помогите, говорит, эту девочку выучить». Нет, ничего про них худого не скажу. В войну никто из Набоковых сюда не приезжал. Жил до войны немец один в Ленинграде, этот был...

\* \* \*

Вот, кажется, и всё.

Передо мной лежит пасьянс из беглых наблюдений, устных рассказов, фотографий. Пасьянс, будем откровенны, не сошелся. Да, наверное, и не мог сойтись. Каждый видит по-своему. К тому же не застал я дома Михаила Екимовича Баранова-Царева, еще кого-то не застал, не переговорил с архитектором Семочкиным, воссоздателем трактира «У Самсона Вырина» и верным хранителем этих мест, а также большим, как я слышал, почитателем Набокова, — да мало ли с кем я тогда разминулся...

Наверное, следовало снять угол в тех краях, походить еще, поспрашивать. Что может заменить живой человеческий голос? Я и собирался вернуться — через месяц, может быть, два, ну, на худой конец, следующей весной. Прошло десять лет.

Вглядываюсь в лица чудных моих старушек. Тете Любе, ровеснице Набокова, было тогда восемьдесят. Барановой — побольше. Наталье Павловне — сто три. Кузнецова была неизлечимо больна...

Не хочу наводить справки. Для меня все они живы — на часах 6 мая 1979 года. Остановить время — кто из писателей не мечтал об этом? Немногим, в звездные минуты, это удавалось. В их числе — Набоков.

...Скажем же писателю спасибо за оказанное гостеприимство.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Забастовка рабочих на медеплавильном заводе братьев Чикиных, неподалеку от Батова.

<sup>2</sup> Козырек над могильным крестом.

<sup>3</sup> Немцы сожгли вырский дом при отступлении в 1944 г. Интересно, что в 1914-м, завещая другой, уже знакомый нам дом в Рождествено, его дядя Рукавишников грозился, что сожжет усадьбу дотла, если немцы дойдут до этих мест. История, как мы можем убедиться, дама злопамятная.

<sup>4</sup> Елена Ивановна, вслед за сыновьями, уехала из Петербурга вместе с младшими детьми в ноябре 1917 г.

<sup>5</sup> Она имела в виду Олимпиаду-80.

<sup>6</sup> С ее происхождением связана такая легенда: когда Петр I появился в тех местах, пышнотелая баба поднесла ему ковш с ключевой водой. «Какая дамища!» — воскликнул Меньшиков... и местная топонимика обогатилась новым названием.

<sup>7</sup> Мать писателя Елена Ивановна.

<sup>8</sup> См. эссе В. Набокова о «Герое нашего времени» (Новый мир. 1988. № 4).

<sup>9</sup> Не искаженный ли это слух о приезде в свое бывшее имение Елены Владимировны Набоковой?

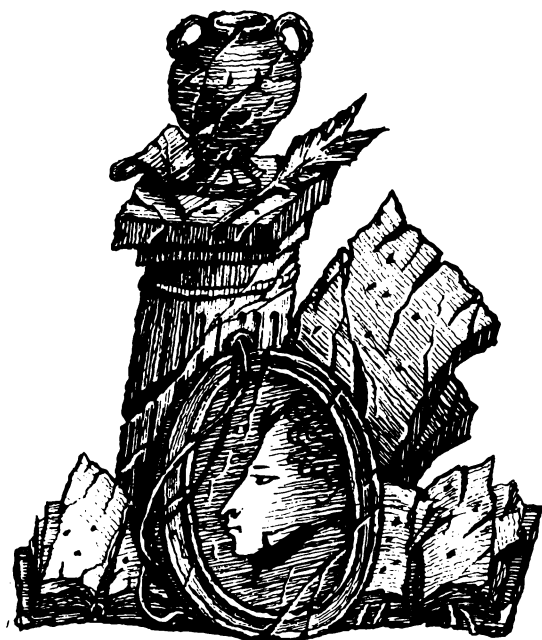
<sup>10</sup> «Несмотря на то, что мы говорили по-французски и по-английски, мы никогда не говорили на ломаном русском языке. Нас никогда не запирали с англичанкой, чтобы мы учились». — Из письма Е. В. Сикорской (Набоковой) автору этих заметок.

<sup>11</sup> Ср. рассказ Алейниковой о контузии, полученной ее отцом на фронте.

# ПУШКИНИАНА

*Анатолий Кулагин*

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ ПРЕПРОВОДИТЬ К ВАМ...»



## *Анатолий Кулагин*

### **«ЧЕСТЬ ИМЕЮ ПРЕПРОВОДИТЬ К ВАМ...»**

*Книга из библиотеки  
А. С. Пушкина*

Книга эта хранится в Ленинграде, в старинном здании на набережной адмирала Макарова — Пушкинском доме, в личной библиотеке великого поэта. Она уникальна уже одной этой своей принадлежностью. Но не только ею.

Во-первых, далеко не каждая книга из пушкинского домашнего собрания дала ему так много источников для собственных произведений, как эта.

Во-вторых, она связана с трагической историей последней дуэли поэта.

А в-третьих, со смертью Пушкина судьба книги не прервалась. Напротив — началась как бы вторая ее жизнь.

## 1

Объемистая книга среднего формата под заглавием «Поэтические произведения Мильмана, Боулса, Вильсона и Барри Корнуолла. Собрание в одном томе» вышла в Париже в 1829 году на английском языке<sup>1</sup>. В сущности, это четыре книги в одной: каждый раздел сборника самостоятелен, имеет даже свою пагинацию, ибо целиком посвящен одному из поэтов. И все же это единое собрание: для всех четырех разделов приняты общие издательские принципы. Каждый из них открывается небольшим предисловием, рассказывающим об авторе, затем идут сами произведения, сгруппированные по жанрам. Контртитул украшен четырьмя изящными портретами поэтов, представляющих одну эпоху истории английской литературы — эпоху романтизма.

Книгу выпустили братья Галиньяни, представители не совсем обычной издательской семьи. Их отец, Джованни Антонио Галиньяни, выходец из Италии, начал издавать в Париже на английском языке, завел свой книжный магазин. Сыновья продолжили дело отца. Семья Галиньяни (а они издавали не только книги, но и периодику, и тоже на английском) стала своеобразным полпредом британской культуры во Франции. Фирма пользовалась известностью: например, газета «Вестник Галиньяни» имела европейский читательский успех. Именно ее читает аристократ-англоман Павел Петрович Кирсанов в тургеневском романе. Но о самих Галиньяни в России всегда знали мало, а в нашем столетии эта фамилия вовсе исчезает со страниц справочников. Выручает старый «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона.

Выход книги совпал со временем повышенного интереса

Пушкина к английской литературе. К 1828 году относится основательное знакомство поэта с английским языком, и с этого времени словесность страны туманного Альбиона кажется ему лидирующей в современном литературном мире. В пушкинском черновом наброске, датированном концом 1828 года, читаем:

«В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному... Произведения английских поэтов (Вордсворта, Кольриджа. — А. К.)... исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина»<sup>2</sup>.

Писавший эти строки Пушкин, по-видимому, еще не был знаком с творчеством поэтов, представленных в парижском сборнике 1829 года, но естественно, что они, принадлежа к заинтересовавшей поэта романтической школе, тоже привлекли его. Поэтому появление сборника в пушкинской библиотеке не было случайностью.

Не будем гадать, каким путем книга пришла к Пушкину. Никаких фактов у нас нет. Зато известно, что, отправляясь в 1830 году в свое нижегородское имение Болдино, Пушкин берет сборник с собой. Наверное, до поездки он не успел познакомиться с книгой и рассчитывал сделать это в долгой дороге и в Болдине.

Поначалу Пушкин не предполагал, что его ждет трехмесячное затворничество в деревне (холерные карантинные перекрыли дороги), не собирался долго задерживаться там. Волей-неволей ему, не привыкшему обходиться без книг, приходилось перечитывать по нескольку раз одни и те же страницы (мы знаем, что еще был взят второй том «Истории русского народа» Николая Полевого). Но перечитывание помогало в творческой работе, подсказывало темы, сюжеты, образы.

Многие болдинские произведения восходят к материалам этой книги. Так уж получилось, что издание, ценное само по себе, связано для нас прежде всего с удивительным творческим взлетом русского гения.

Из четырех английских поэтов более всех привлек внимание Пушкина Барри Корнуолл (псевдоним Брайана Уоллера Проктера). В книге были помещены его небольшие «Драматические сцены». Этот жанр очень заинтересовал Пушкина, давно — еще со времен «Бориса Годунова» — размышлявшего о природе драматургии. В короткой сцене его привлекали динамичность действия, острота конфликта, фрагментарность композиции, психологическая насыщенность эпизодов. Подбирая заглавие для своего болдинского драматургического цикла, поэт в качестве одного из возможных вариантов записал: «Драматичес-

кие сцены», следуя английскому образцу. В «маленьких трагедиях» встречаются и текстуальные переключки с произведениями английского драматурга.

В Болдине Пушкин обращается не только к драматургии, но и к лирике Корнуолла, откликается на нее своими, как он говорил, «подражаниями». Это были не подражания в привычном для нас смысле слова (беспомощное копирование), а свободные, творческие переложения: «Заклинание», «Я здесь, Инезилья...», «Из *Barry Cornwall*». Каждый раз пушкинское стихотворение как бы перерастало рамки источника, вписывалось в контекст художественных исканий осени 1830 года. Так, ставшее впоследствии известным романсом стихотворение «Я здесь, Инезилья...» создавалось, по мнению некоторых исследователей, как песня Лауры для «Каменного гостя». Стихотворение «Из *Barry Cornwall*» («Пью за здравие Мери...») соотносится и с «Пиром во время чумы», и с так называемым «прощальным циклом»: «Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальней...»

До недавнего времени для пушкинистов оставался загадкой маленький болдинский набросок:

Тому одно, одно мгновенье  
Она цвела, свежа, пышна —  
И вот уж вянет — и  
опалена  
Иль жар твоей груди  
Младую розу опалил... (2, 489)

Теперь установлено, что и эти стихи восходят к поэзии Корнуолла, являются попыткой перевода его стихотворения «К розе»<sup>3</sup>.

В литературе о Пушкине отмечалось, что лирические темы Корнуолла, раскрытые им в мистическом ключе (например, тема встречи с возлюбленной в потустороннем мире), у Пушкина получают земной характер. Мироощущение английского и русского поэтов было глубоко различно.

В Болдине Пушкин обращался и к творчеству Джона Вильсона: «Пир во время чумы» является переложением одной из сцен трагедии английского автора «Город Чумы». Предполагается, что болдинское стихотворение «Цыганы» («Над лесистыми берегами...») является откликом на стихотворение Боулса «Цыганский шатер»<sup>4</sup>. Наконец, «Скупой рыцарь» соотносится в литературе с драмой Мильмана «Фазио»<sup>5</sup>.

Творческий урожай действительно богат: Пушкин не обошел вниманием ни одного из четырех авторов сборника. Но не исключено, что старая книга еще поможет нам в истолковании болдинских шедевров.

## 2

На исходе осени Пушкин покинул Болдино и, по-видимому, увез книгу с собой. Впрочем, она могла остаться в усадьбе (вдруг Пушкин ее забыл?) до следующего приезда поэта в 1833-м или даже 1834-м году, ибо никаких следов обращения Пушкина к ней за эти четыре года пока не обнаружено. Во всяком случае, в следующий раз поэт обращается к сборнику лишь в 1835 году, когда переводит первые строки драматической сцены Корнуолла «Сокол»:

О бедность! затвердил я наконец  
Урок твой горький! Чем я заслужил  
Твое гоненье, властелин враждебный,  
Довольства враг, суровый сна мутитель?..  
Что делал я, когда я был богат,  
О том упоминать я не намерен:  
В молчании добро должно твориться,  
Но нечего об этом толковать.  
Здесь пищу я найду для дум моих,  
Я чувствую, что не совсем погибнул  
Я с участью моей. (2, 516)

Нетрудно заметить личностный, автобиографический для Пушкина смысл переведенных им строк: мы знаем, что в последние годы жизни он оказался в стесненных материальных обстоятельствах. Так английский поэт становится своеобразным спутником пушкинской судьбы. Не случайно ему суждено было стать «последним литературным собеседником Пушкина»<sup>6</sup>.

В последний год жизни Пушкин занят своим журналом «Современник», много пишет для него, ищет новых сотрудников. За два дня до роковой дуэли с Дантесом, 25 января 1837 года, он обращается с письмом к жившей в Петербурге детской писательнице Александре Осиповне Ишимовой: «Петр Александрович (Плетнев. — А. К.) обнадежил меня, что Вам угодно будет принять участие в издании «Современника». Заранее соглашаюсь на все ваши условия и спешу воспользоваться Вашим благорасположением: мне хотелось бы познакомить русскую публику с произведениями Barry Cornwall. Не согласитесь ли Вы перевести несколько из его драматических очерков? В таком случае буду иметь честь препроводить к Вам его книгу» (10, 314).

На другой день, 26 января, Ишимова сообщает в ответном письме:

«Сегодня получила я письмо Ваше, и — скажу Вашими же словами: *заранее соглашаюсь* на все переводы, какие Вы мне предложите, и потому с большим удовольствием получу от Вас книгу Barry Cornwall. Только вот что: мне хотелось бы как можно



лучше исполнить желание Ваше насчет этого перевода, а для этого, я думаю, нам нужно было бы поговорить о нем. Итак, если для Вас все равно, в которую сторону направить прогулку Вашу завтра, то сделайте одолжение, зайдите ко мне»<sup>7</sup>.

Мы знаем, какими событиями были заполнены последние дни Пушкина. Зайти к Ишимовой ему было некогда. И вот 27 января, в день дуэли, он последний раз в жизни берет в руки перо:

«Милостивая государыня  
Александра Осиповна,

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам *Baggy Cornwall*. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше» (10, 320).

Ишимова получила это письмо и книгу в надписанном пушкинской рукой пакете в тот же день, в третьем часу пополудни. Позже писательница вспоминала: «Человек его (Пушкина. — А. К.) с письмом и книгою отправлен был им ко мне перед самым отъездом его на смерть, и когда он пришел от меня, то Ал(ександр) Серг(еевич) уже привезен был раненым! Это письмо, как последнее писанное им, долго ходило по рукам и его родственников, и при дворе и возвращено было мне не ранее как месяца через 10 одним из опекунов его детей, графом Строгановым»<sup>8</sup>.

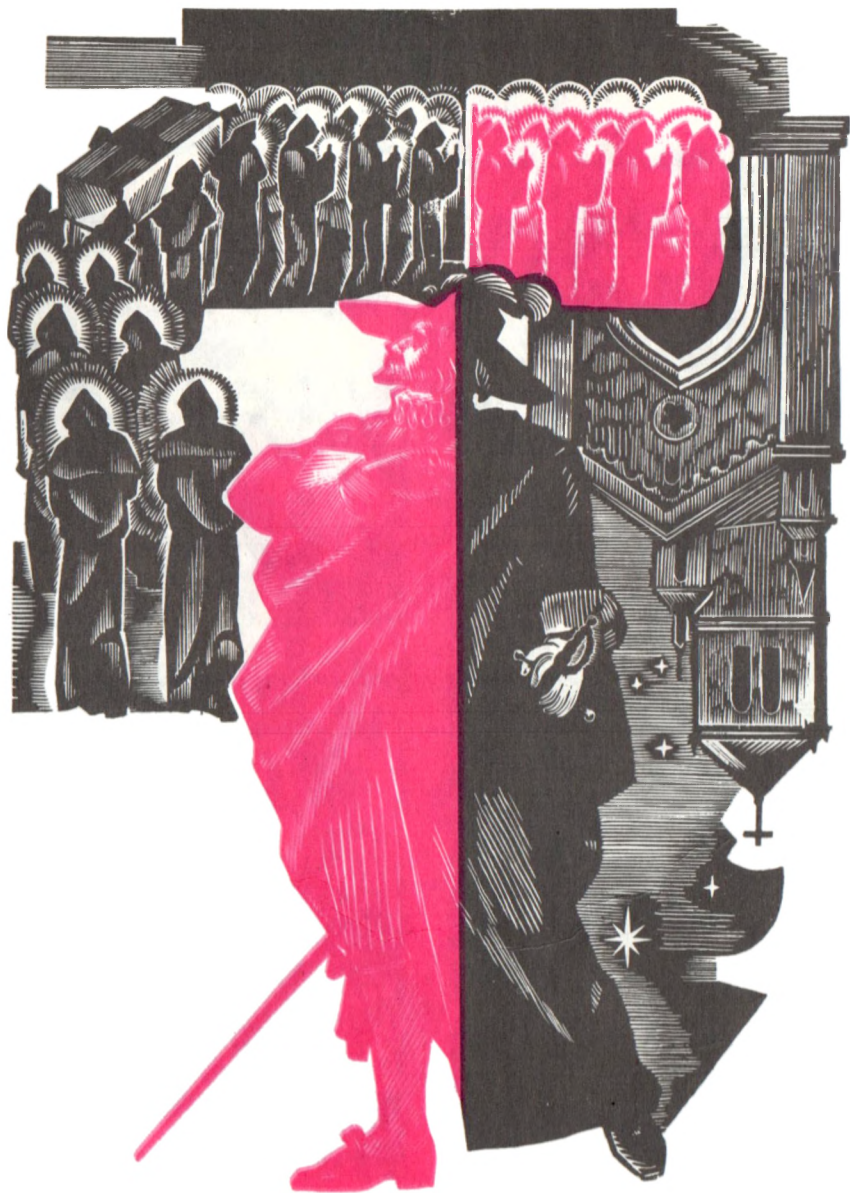
Сразу после смерти поэта Ишимова берется за работу. Пять отмеченных Пушкиным «драматических очерков» — «Людовико Сфорца», «Любовь, излеченная снисхождением», «Средство побеждать», «Амелия Вентворт», «Сокол» (тот самый «Сокол», которого Пушкин сам пытался переводить) — в ее переводе появились в 1837 году в восьмом томе «Современника». В предисловии к подборке был использован материал о Корнуолле из парижского издания. В «примечании издателей» (здесь, конечно, приложил руку Плетнев) кратко рассказывалось об истории переводов, инициатором которых был великий поэт.

Почему Пушкин выбрал именно эти произведения? Не так давно была опубликована статья Михаила Филина «Последнее письмо», где излагается любопытная и довольно убедительная гипотеза на этот счет. «В пяти пьесах Корнуолла, — пишет автор статьи, — Пушкин находит поразительные совпадения с собственной судьбой... Драматические отрывки Корнуолла, где монарх предстал хитрым льстецом, сладострастным святошей, сводником и, наконец, убийцей, стали гениальной находкой. Это была «месть полная и совершенная». Месть, возможная только после гибели... Последнее слово осталось за Поэтом»<sup>9</sup>.

Возможно, так оно и было. Ведь Пушкин в последние годы жизни склонен искать параллели своей судьбе в других эпо-



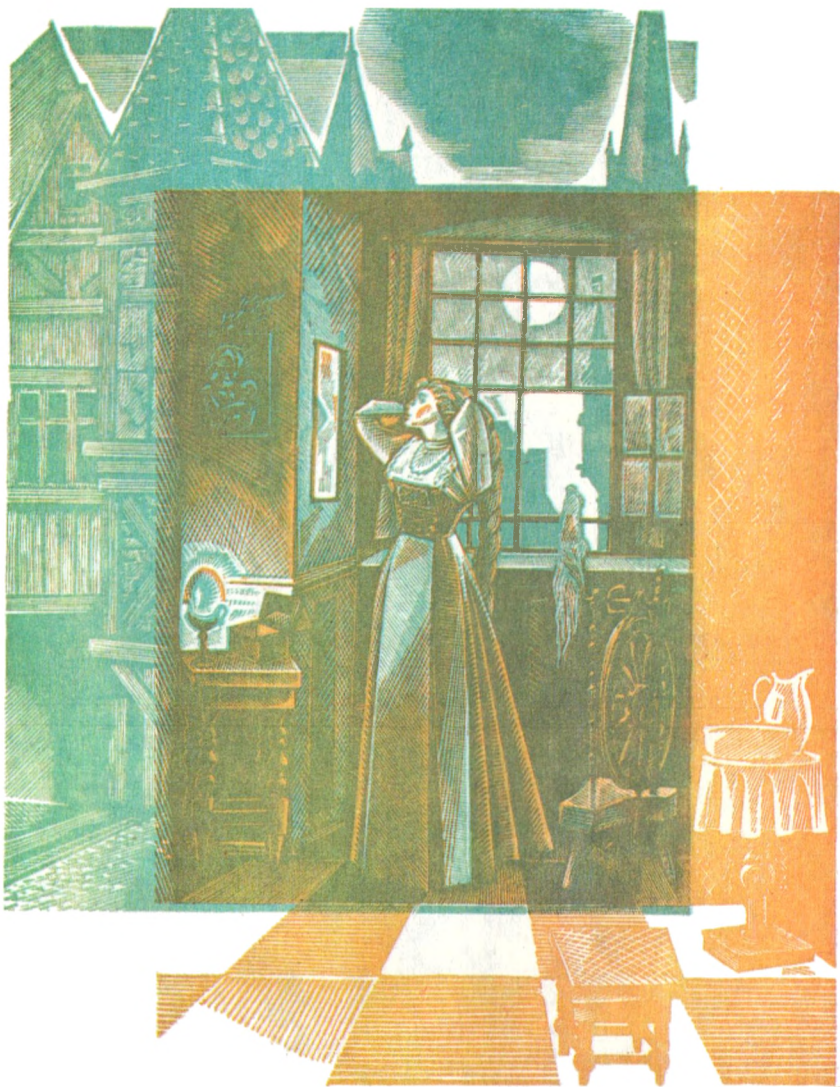
Французская классическая эпиграмма. М., 1977



П. Мериме. Новеллы. М., 1976

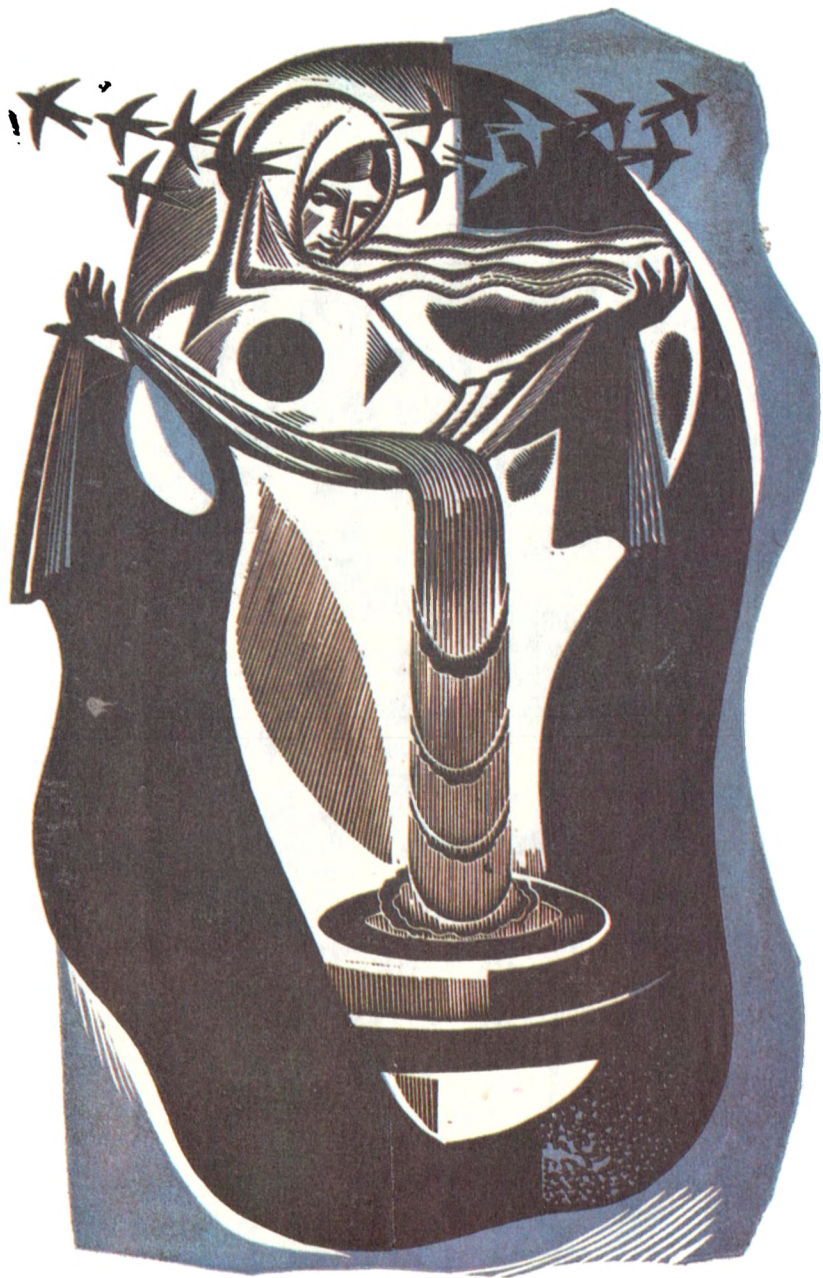


За землю Русскую. М., 1979



И. В. Гете. Фауст. М., 1982





Р. Гамзатов. Песни гор. Письмена.  
Патимат. М., 1983.



Софокл. Трагедии. М., 1988





Русская эпиграмма (XVIII—XX век). М., 1989



А. С. Пушкин. Руслан и Людмила.  
Первая публикация.

















хах и культурах. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать его эссе 1836 года «Александр Радищев» или «Вольтер».

Итак, книга покинула библиотеку Пушкина в день дуэли. Казалось бы, навсегда...

## 3

В самом деле, следы ее надолго теряются. Они обнаруживаются лишь спустя почти столетие.

12 октября 1934 года известный советский пушкинист Д. П. Якубович сообщает в печати о том, что сборник найден:

«Эта книга, — вероятно, последняя, которую читал Пушкин, — считалась утраченной. Теперь мне удалось найти ее в библиотеке П. А. Плетнева...»<sup>10</sup> Исследователь указал, что Пушкин отметил в оглавлении карандашными крестиками пьесы Корнуолла, впоследствии переведенные Ишимовой и опубликованные в «Современнике», и подчеркнул несколько слов в предисловии к ним. Так, рукою Пушкина подчеркнуто слово «стиль» («style»): очевидно, Пушкин хотел обратить внимание переводчицы на стиль английского драматурга.

Когда Б. Л. Модзалевский работал над описанием личной библиотеки поэта, вышедшим в свет в 1910 году, книга еще не была обнаружена, и поэтому в описании она не учтена. Это обстоятельство иногда вводит в заблуждение пишущих о Пушкине. В журнале «Вопросы литературы» (1984, № 4) была опубликована заметка Л. Трубе «С английского». Спустя пятьдесят лет после находки Д. П. Якубовича автор заметки объясняет отсутствие книги в описании Модзалевского и соответственно в библиотеке Пушкина тем, что «ведь к этому времени часть книг библиотеки была утрачена, а сборник, может быть, остался в Болдине?» Но это, как мы уже видели, далеко не так.

Странно было прочитать в той же заметке и такое: «Ее (книги. — А. К.) нет ни в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, ни в других библиотеках страны»<sup>11</sup>. Книга есть не только в Пушкинском доме, но и во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы в Москве. «Ленинка» же имеет снятый с этого издания микрофильм. Так что совсем не обязательно было Л. Трубе выписывать микрофильм книги из Франции по международному абонементу, что он, по его словам, сделал.

Что касается пушкинского экземпляра, то он включен в состав книжного собрания поэта под номером 1523.

Но как же сложилась судьба книги в почти столетнем отрезке времени от гибели Пушкина до находки Якубовича?

Библиотека Плетнева, в составе которой находилась книга, была передана в Пушкинский дом в 1911 году<sup>12</sup> — стало быть,

двадцать три года после этого книга лежала «неузнанной». Плетнев в свое время получил ее, конечно, от Ишимовой — ведь по смерти Пушкина дела «Современника» взял в свои руки именно он.

Остается неясным одно: почему из книги вырвана 152-я страница четвертой пагинации со стихотворением Корнуолла «Песня», послужившим источником пушкинского «Пью за здравие Мери...»?

В истории пушкинского экземпляра есть, возможно, еще одно лицо — известный критик, первый пушкинист Павел Васильевич Анненков. В первой половине пятидесятых годов Анненков изучает творчество и биографию поэта, готовит к печати собрание его сочинений и исследование о нем. Анненков обращается за помощью ко многим людям, знавшим Пушкина, в том числе к Плетневу. В руках исследователя сосредоточились рукописи поэта, различные материалы о нем, часть которых он оставил у себя. Не исключено, что Плетнев предоставил Анненкову для работы книгу с произведениями четырех английских авторов. Во всяком случае, Анненков с этим изданием был знаком: в своих «Материалах для биографии А. С. Пушкина» он ссылается на него, приводит в подстрочном переводе «Серенаду» Корнуолла — источник пушкинского стихотворения «Я здесь, Инезилья...»<sup>13</sup>. А в примечаниях ко второму тому «Сочинений Пушкина» издатель цитирует «Песню» Корнуолла — с той самой 152-й страницы, которой недостает в пушкинском экземпляре<sup>14</sup>. Стало быть...

Но не будем торопиться с выводами, ибо есть один аргумент против нашего предположения. В «Материалах...» Анненков пишет: «Исполняя завещание поэта, А. О. Ишимова перевела пять драматических очерков Корнуоля, вероятно, тех самых, которые были отмечены Пушкиным»<sup>15</sup>. Но почему «вероятно»? Разве не заметил Анненков пушкинские карандашные отметки в оглавлении? Возможно, он работал с другим экземпляром. Ведь его другом был большой знаток английской литературы критик и писатель Александр Дружинин.

...Так что пока не все загадки старой книги разгаданы. Но ясно одно: ей выпала большая, непростая и все-таки счастливая судьба.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> The Poetical Works of Milman, Bowles, Wilson, and Barry Cornwall. Paris, 1829.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 258 (далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы).

- <sup>3</sup> См.: Довгий О. Л., Кулагин А. В. «Тому [одно, одно] мгновенье...» // *Временник Пушкинской комиссии*. Л., 1987. Вып. 21. С. 83—85.
- <sup>4</sup> См.: Яковлев Н. В. К вопросу об английском источнике стихотворения Пушкина «Цыганы» // *Пушкин и его современники*. Пб., 1923. Вып. 36. С. 63—70.
- <sup>5</sup> См.: Чебышев А. А. Заметка о «Скупом рыцаре» Пушкина // *Памяти Леонида Николаевича Майкова*. Спб., 1902. С. 492—500.
- <sup>6</sup> Так был назван Корнуолл в редакционном примечании к публикации его произведений в «Современнике» (1837. Т. 8. С. 75—76).
- <sup>7</sup> Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 508.
- <sup>8</sup> Цит. по: Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834—1837. Л., 1969. С. 359.
- <sup>9</sup> Филин М. Последнее письмо // *Лит. Россия*. 1986. 7 февр. С. 17.
- <sup>10</sup> Якубович Д. Книга из библиотеки Пушкина // *Изв. ЦИК СССР и ВЦИК*. 1934. 12 окт.
- <sup>11</sup> Трубе Л. «С английского» // *Вопр. лит.* 1984, № 4. С. 274—275.
- <sup>12</sup> См.: Баскаков В. Н. Библиотека и книжные собрания Пушкинского дома. Л., 1984. С. 8.
- <sup>13</sup> См.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 264, 285.
- <sup>14</sup> См.: Пушкин А. С. Соч. / Изд. П. В. Анненкова. Спб., 1855. Т. 2. С. 541.
- <sup>15</sup> Анненков П. В. Указ. соч. С. 286.

*Николай Гумилев***ЧИТАТЕЛЬ КНИГ**

Читатель книг, и я хотел найти  
Мой тихий рай в покорности сознания,  
Я их любил, те странные пути,  
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,  
В проливы глав вступать нетерпеливо  
И наблюдать, как пенится поток,  
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером... О, как она страшна,  
Ночная тень за шкафом, за киотом,  
И маятник, недвижимый, как луна,  
Что светит над мерцающим болотом!

# РЕЗЦОМ И КИСТЬЮ

*Лола Звонарева*

*СЛОВО ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ*



## Лола Звонарева

### СЛОВО ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ

*Заметки о творчестве*

*Владимира Носкова*

*с отступлениями — монологами  
самого иллюстратора*

«У лени шедевров нет!» — наставляет Сальвадор Дали того, кто хочет стать художником. Не только невероятное число оформленных и проиллюстрированных (более шестисот!) Владимиром Носковым книг дает право начать словами Дали рассказ об этом замечательном московском художнике. Имя Сальвадора Дали неизменно называет Владимир Носков среди самых любимых своих живописцев. Стоит ли этому удивляться? Оглядываясь на своих великих предшественников, художник порой интуитивно чувствует то, к чему после долгих размышлений приходят историки культуры. «Если же искать в нашем веке последователей старонидерландской гротескной традиции, оплодотворившей в свое время искусство немцев и западных славян, — утверждает исследователь, — то их мы скорее всего найдем среди сюрреалистов. В их натуралистических фантазмагориях (осознают они это сами или не осознают) чувствуется старонидерландская закваска, какая-то родственность с Босхом, Дюрером, чешской и польской иконой»<sup>1</sup>. Владимир Носков неразговорчив, ироничен, неистово трудолюбив. Его лучшие работы говорят сами за себя: внимательному зрителю откроются в них и любимые идеи художника, и выразительные черты его творческой личности, и чуть «зашифрованные» отсылы к сюжетам и картинам ценимых им мастеров.

...В начале 50-х годов в Гослите двадцатисемилетнему Владимиру Носкову заказывали чаще всего обложки — к «Малахитовой шкатулке» П. Бажова, роману Ч. Диккенса «Большие ожидания». Но однажды, взяв очередной маленький заказ, он предложил редактору проиллюстрировать всю книгу, хотя для этого необходимо было изменить характер издания, запланированного без иллюстраций. Согласие неожиданно было получено. И вскоре, в 1958 году, появилось новое издание «Истории жизни Джонатана Уальда Великого» — пародийной биографии, разоблачающей, по словам самого Г. Филдинга, «не плута, а плутовство». Книга, печатавшаяся в Венгрии, получилась на редкость нарядной. Гравюры, нарезанные Владимиром Носковым на «корабельном» линолеуме, подчеркивали памфлетно-аллегорический стиль повествования. Бросалась в глаза остроумная «раскадровка» сюжета, пародийно-сатирические сцены были заключены в рамку, напоминающую экран. Искусствоведы замечали в этой первой большой работе моло-

дого художника особую кинематографичность. «...Носков кинематографически остро строит действие, — пишет Ю. Герчук, анализируя линогравюры, — подчеркивает экспрессивные детали, иногда резко отсекая рамкой ненужное, оставляя в поле зрения лишь какую-нибудь руку с тяжелой кружкой. Сатирический роман прошлого века он прочитывает... как книгу авантюрную и подвижную, с иронически-гротескными образами и острыми поворотами сюжета»<sup>2</sup>.

Книжная графика конца 50-х жила предошущением побед художников новой волны. В эти годы в книгу пришла целая группа талантливейшей молодежи, отстаивавшей острую, лаконичную манеру. И многие из них (Д. Бисти, А. Власова, М. Митурич, В. Носков) были выпускниками оформительского отделения редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института, где преподавали А. Д. Гончаров (в соавторстве с которым много раз выступал еще в институтские годы В. Носков, резавший гравюры по рисункам учителя) и блистательный эрудит, знаток истории книги А. А. Сидоров. Все эти люди очень хорошо понимали, что «книга рождается на уровне очень сложных многоаспектных взаимодействий, требует нового отношения к себе. Она — результат коллективного творческого процесса. Это отношение — результат «конструктивной» волны 60—70-х годов, поставившей вопрос об ответственности художника за окончательное содержание, цельность и ценность издания»<sup>3</sup>.

Владимиру Носкову для того, чтобы в таком ошеломляющем темпе и при этом достаточно интересно и самостоятельно иллюстрировать европейскую и отечественную классику (а настоящий книжный график всегда дает произведению свое собственное прочтение!), нужно было выработать особую систему «вхождения», помогающую погрузиться в текст, освободиться от общепринятых трактовок.

В. Носков постоянно помнил об опасности, подстерегающей добросовестного, но поверхностного иллюстратора. Точнее всех ее сформулировал Ю. Молок: «...графический комментарий очень уж уводит нас от действия... к реалиям истории его создания, от героев к автору. Роман или пьеса иллюстрируются скорее как историко-литературное исследование, посвященное данному произведению: художник берет на себя функции историка, сценариста, постановщика. Режиссерский кинематограф в такой книге оттесняет актеров, играющих по правилам традиционного театра перевоплощения»<sup>4</sup>. Внимательный к историческим реалиям, В. Носков не склонен перегружать ими изображение. Претендуя на роль постановщика, он не забывает о своих актерах — действующих лицах книги.

...Отступление первое. Слово Владимиру Носкову: «Начиная работу над книгой, читаю медленно, внимательно, с «переживани-





Иллюстрация к повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»

ями», что-то вроде «радиопостановки» для себя, независимо от того, знакомое или новое произведение. Параллельно выписываю номера страниц с интересующими меня ситуациями, с портретными характеристиками героев и т. д., то есть конкретику. Это этап вживания в атмосферу произведения и его событий. Уже сложившееся отношение к содержанию и его идее надо ритмически по всей книге распределить, обдумать сюжетную линию, отражающую дух произведения, характеры героев, специфику среды. Рукопись прочитывается второй, третий раз полностью или частично... Работа идет по системе Станиславского — художник, как режиссер, должен выстроить все сцены с декорациями и мизансценами героев, а потом включиться в сопереживание, как актер: все на себе испытать, пережить до боли»...

Сравниваю работы В. Носкова: выполненные кистью (черной гуашью) иллюстрации к повести «Хромой Бес», написанной в традиции плутовского романа испанским драматургом XVII века Луисом Велесом де Гевара (М., «Художественная литература», 1963) с гравюрами к анонимной повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злключения» (М., «Художественная литература», 1975). Рисунки к «Хромому Бесу» подробны, откровенно гротесковы. Художник отбирает наиболее эффектные (с точки зрения «оператора») сцены: полет над городом, стремительная погоня. Спустя десять лет В. Носков проиллюстрирует эту же повесть и в технике ксилографии. Эмоциональная палитра художника стала более разнообразной: рядом с шаржированными фигурами замечает откровенно романтические черные силуэты — развеваются просторные плащи, низко надвинуты широкополые шляпы.

В испанских повестях художник подчеркнул лукавую авторскую иронию, мрачноватый комизм положений, добавив к ним не свойственные плутовскому роману конкретность и глубину психологических характеристик. Иллюстрируя «Жизнь Ласарильо с Тормеса», В. Носков избегает «многолюдности». Он сосредоточивается на анализе психологии действующих лиц, помогая нам увидеть в полуфольклорном персонаже современный человеческий тип.

Слепец и мальчик-поводырь — популярные герои европейских фарсов с XIII века. На полях испанской рукописи, датированной XIV столетием, сохранилось их изображение, целиком совпадающее с избранным В. Носковым для иллюстрации эпизодом «Ласарильо...» — находчивый мальчишка пьет через соломинку вино из кувшина, который прижимает к себе слепец. Насмешлив и прохладен взгляд художника: ему явно не жаль нищенствующих бездельников — слепца-скупердяя и его плута-поводыря. Но взглянемся в задний план иллюстрации: на фоне старательно распаханной каменистой земли почти совсем потерялся маленький силуэт согнувшегося над плугом крестьянина и его измученной клячи. Композиция построена так, что эмоциональный акцент ставится

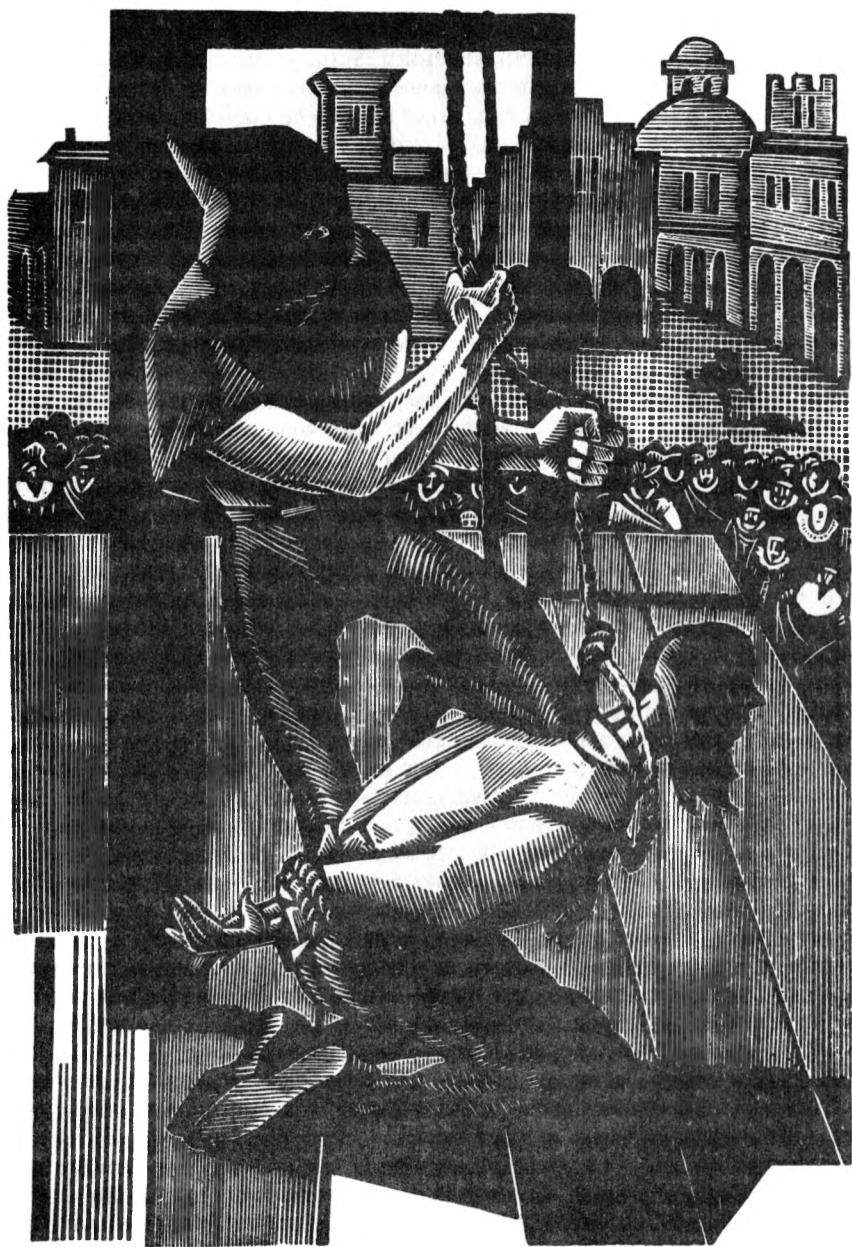


Иллюстрация к роману Т. Нэша «Злополучный скиталец,  
или Жизнь Джека Уилтона»

на этом, возникающем в «подтексте» социально-психологическом конфликте между работающим под палящим солнцем земледельцем и отдыхающими в тени дѳерева бродягами-пикаро.

На второй гравюре к повести о Ласарильо «длинный и тощий, похожий на борзую собаку» дворянин будто и не кость в руках держит — столь напыщенно горделива осанка этого изголодавшегося аристократа.

И, наконец, последняя гравюра: «лучшая из всех женщин Толедо», целомудренно потупившись, делит свои милости между согнувшимися в полупоклоне мужчинами, демонстративно не замечая фривольного жеста старого друга. Пять героев — пять разных характеров, созданных художником благодаря точно найденному жесту, позе, выражению лица, «говорящей» детали интерьера. Так, окна в доме дворянина чем-то напоминают тюремные. А белый овал за спиной «лучшей женщины Толедо» воспринимается не как обычный пустующий оконный или дверной проем, он тревожит и озадачивает своей вопиющей пустотой. От психологического портрета художник сделал шаг к ассоциативной символической, изобразительной метафоре.

Зная об увлечении В. Носкова графикой начала века, понимаешь, что черный квадрат, повторяющийся в правом нижнем углу двух гравюр (в повести о Ласарильо), — не случайный элемент композиции. Пророческий символ мертвящего рационализма, механического разума, не подвластного эмоциям, глухого к голосу сердца, — так воспринят «Черный квадрат» знатоками творчества Казимира Малевича. Ну а разве не уместен он на страницах «Ласарильо...» — книги, «научающей побеждать враждебную фортуна с помощью хитрости и обмана, соревнуясь с себе подобными в алчности и бесцеремонности»?<sup>5</sup>

Интересно, что Владимир Носков не любит рисовать кульминационных сцен (как это делали все традиционалисты — от Д. Кардовского до Д. Шмаринова). Он предпочитает показывать героя до или сразу после решающего события в его жизни. Одной из самых удачных и запоминающихся иллюстраций к роману Томаса Нэша «Злополучный скиталец, или Жизнь Джека Уилтона» стала гравюра, изображающая героя накануне казни. Мы не видим лиц — ни палача, ни жертвы, но в напряженной спине осужденного ощущаешь почти животный страх... Лишь рубаха на безнадежно согнувшемся торсе беспомощно белеет, задавленная наступающими сверху и снизу черными массами.

С конца 60-х годов ассоциативно-метафорическая иллюстрация все основательнее забирает художника в плен. Ему заказывают оформление к знаменитым поэтическим текстам — «Избранному» Байрона, драмам и басням Лессинга, сборнику русских поэтов, «Цветам зла» Шарля Бодлера, книге Э. По, антологии немецкой поэзии за десять столетий (в переводах Л. Гинзбурга).



Иллюстрация к сборнику «Немецкая поэзия. Век X — век XX»

В наш рациональный век, отмечают философы, трагически уменьшилось поэтическое начало в жизни человека. Вытеснение поэзии из жизни, литературы сопровождается вытеснением гравюры из книги. Многим она кажется устаревшей, возможности ее — ограниченными, искусствоведы заговорили о «негравюрном времени». «Ксилографии сопровождают по преимуществу книги поэтические и романтические, произведения возвышенно-философского склада, создания давних веков, в которых жизнь предстает в формах экзотических, далеких от привычного нам уклада. И даже обращаясь к произведениям иного — повествовательно-бытового или психологического строя, гравированная иллюстрация нередко романтизирует их, отдаляет от быта, подчеркивает эмоциональную экспрессию»<sup>6</sup>. Кто может стать сегодня рыцарем ксилографии? Лишь тот, чье мироощущение созвучно определенно выявленной временем семантике жанра. Уже ранние работы В. Носкова выдают с головой неисправимого романтика: для него страсть, тайна, столкновение человеческой воли и рока — отнюдь не отвлеченные материи, а естественная среда обитания, в которой так органично ощущает себя его поэтическая и восторженная душа. В 1966 году сделал художник миниатюрные гравюры к книге Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде»: у героев иллюстраций нередко вместо лиц — чистые, нежные овалы, но ведь и у персонажей эпоса как бы нет индивидуальностей, зато романтический пафос пронизывает даже пейзажи и передается читателю.

...Отступление второе. Слово Владимиру Носкову: «В моей любимой технике гравюры на дереве я могу, вслушиваясь в эмоциональный строй произведения, дойти от черно-белого (драматического звучания) до серебристо-светлого (жизнеутверждающего) тона. По-моему, лишь в ксилографии есть возможность заставить штрих петь, сделать чередования серого и белого ритмическими, музыкальными. Мне кажется, что ни в одной другой технике штрих не может быть столь певучим и звонким. Возможности ксилографии неисчерпаемы. Все время открываешь в ней что-то новое. Думаю, важно и то, что ксилография больше других техник связана со шрифтом. Ведь его тоже вырезали на дереве в свое время. И это осязаемое и сегодня внутреннее созвучье текстовой страницы и иллюстрации-гравюры делает книгу особенно органичной...»

В последние годы художник увлекся цветной ксилографией. Впервые в этой технике он оформил сборник «Французская классическая эпиграмма» (М., «Художественная литература», 1979). Причем В. Носков попытался уйти от традиционного принципа, предполагающего контурный рисунок и его раскрашивание: в этих гравюрах контур рождается совмещением двух красок благодаря печати в две доски.

Иллюстрации к подарочному изданию «Фауста» Гете (М., «Художественная литература», 1982) тоже исполнены в две доски.



Иллюстрация к книге Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде»



Иллюстрация к книге Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде»



Тревожные, неожиданные краски выбрал для своих гравюр художник — темно-зеленую и красно-коричневую. Они создают таинственную напряженную атмосферу. В книге существует сложная система объединяемых и разделяемых цветом пространств (необычный эффект возникает еще и из-за того, что доски накладываются со сдвигом — В. Носков остроумно использовал выразительные возможности гравюрной техники).

В работе над «Фаустом» художнику помогло и особое чувство эпохи, ее неповторимого стиля. А увлечение европейской классической литературой появилось очень давно — в юношеские годы, когда будущий график стал прислушиваться к советам своего дяди, родного брата матери — профессора Леонида Петровича Нелюбова, известного геолога и библиофила, начавшего собирать книги еще в 20-е годы.

В конце 30-х произошла первая встреча двенадцатилетнего Володи Носкова с европейской живописью. В музее Нового западного искусства подростка поразили полотна А. Матисса. То один, то вместе с отцом — художником-картографом Александром Исидоровичем Носковым — Володя стал приходить сюда довольно часто. Одаренный художник-оформитель Александр Носков работал в театре и рекламе, придумывал оригинальные пространственные модели для витрины магазина и павильона ВДНХ. Мальчик, все время видевший отца рисующим или что-то мастерящим, рано начал помогать ему.

Детство — южный городок Евпатория, отрочество — Подмосковье, Салтыковка, где отец — заместитель директора местного полиграфического комбината. Так рождалась династия, три поколения которой будут самым непосредственным образом связаны с полиграфией. (В 80-е годы под фамилией Носков-Нелюбов стал выступать в иллюстрации тридцатилетний сын художника — Владимир Носков-младший, интересно дебютировавший в книжной графике, оформив сатиры Лукиана, лирику С. Михалкова и повести А. Алексина.)

Может быть, именно Матисс научил молодого художника не бояться великих предшественников? Начинаящий график, никогда не забывающий о любимых книгах, выбирает для дипломной работы сверхсложную тему, стремясь решить ее по-своему, никого не повторяя. В 1951 году экзаменационная комиссия Московского полиграфического института оценивала иллюстрации Владимира Носкова к роману Сервантеса «Дон-Кихот».

Умения передавать в гравюрах дух эпохи художнику не занимать: помогает природный артистизм, который оттачивается со временем. Одна из последних работ В. Носкова — гравюры к трагедиям Софокла. Заметно, что художник сознательно подчеркивает статичность персонажей, эффектную продуманность их поз. Такой изобразительный ход подсказала драматургическая манера



Иллюстрация к трагедии Софокла «Царь Эдип»



Иллюстрация к трагедии Софокла «Филоктет»



Иллюстрация к трагедии Софокла «Электра»

Софокла, метко названного «Фидием литературы». Еще Гегель по пластической замкнутости сравнивал героев великого древнегреческого трагика со статуями. Особая уравновешенность хоров Софокла (в отличие, например, от Эсхила), склонность к диалогическим частям передана художником в самой композиции — хор на каждой из гравюр четко разделен на две группы. Шрифтовые надписи, венчающие каждую ксилографию, стилизованы под финикийское письмо.

Безусловно, не меньших знаний, чем иллюстрирование классики, требует от иллюстратора работа над оформлением произведений национальных авторов (увы! — очень многие здесь обходятся привычным набором стандартных клише).

...Отступление третье. Слово Владимиру Носкову: «Много сил отдал оформлению книги стихотворений Расула Гамзатова «Письмена. Песни гор. Патимат». В свое время я иллюстрировал его прозу — книгу «Мой Дагестан». Тогда, почти двадцать лет назад, я в течение месяца ездил по этому горному краю. Об его удивительной истории и сегодняшнем дне мне рассказала жена Расула — Патимат. Затем моим гидом стал местный историк, также влюбленный в эту землю. Воспоминания о поездке до сих пор живут в моей душе, что, наверное, помогает мне в работе над новым сборником стихов поэта. Я отбирал для иллюстрации стихотворения, где поэтический образ наиболее зрителен, где можно с минимальными потерями пластически выразить душевное состояние, рождаемое у читателя теми или иными строками...»

Свои, особые отношения у Владимира Носкова с русской историей и отечественной классикой. Запомнились несколько лет назад увиденные на юбилейной выставке в Центральном Доме литераторов станковые листы к «Слову о полку Игореве». Среди наиболее выразительных графических символов — меч, символизирующий княжескую власть и славу (на древнерусских иконах и книжных миниатюрах князь изображался с мечом). Меч часто становился символом свободы и независимости («отдать меч врагу» — признать себя побежденным). Подобную символическую нагрузку несет изображение меча и на обложке сборника «Сыны славы» — проиллюстрированной В. Носковым книги исторических драм в стихах Константина Скворцова (М., «Советский писатель», 1988). Задумываясь над названием, вспоминаешь сильное и смелое выражение из «Слова о полку Игореве» — «звонить в славу», означавшее «гордиться славой предков», быть окруженным ореолом их славы. Символичность заголовка подчеркивается художником самой цветовой гаммой — на белом фоне обложки появляются золотой (в средневековье именно он ассоциировался с вечностью и славой) и красный цвета, напоминающие о том, что славные страницы истории Отечества окрашены кровью лучших ее сыновей.

«Ориентация на карнавальную культуру, острота социальных



Иллюстрация к книге Р. Гамзатова «Мой Дагестан»



Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»



Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».



характеристик, романтика гражданских идеалов — многое в скворцовских пьесах созвучно моему собственному творчеству», — писал Владимир Носков в «Литературной газете». Семь поэтических драм разных жанров — трагедия и скоморошья представления, легенда и драматическая фантазия на темы из русской истории — будто семь ступеней в прошлое Отечества. В центре каждого произведения — Личность, над секретом обаяния и таланта которой многие десятилетия ломали голову современники и потомки. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, народная героиня Алена Арзамасская, мастер уральского украшенного оружия Иван Бушуев и декабрист, писатель Александр Бестужев-Марлинский... Как ярко в этих людях воплотились выразительнейшие черты русского национального характера!

Символика русских народных песен, фольклорная образность оказались необычайно близки В. Носкову, иллюстрировавшему драматические поэмы писателя: только так можно объяснить появление в ксилографиях своеобразного «птичьего» мотива (присутствовавшего, кстати, и в гравюрах художника к «Слову о полку Игореве»). Силуэты трех соколов встречаем на обложке книги «Сыны славы». «Сокол был символом князя, и в таком значении этот символ широко используется в „Слове...”<sup>7</sup>». Стоит, может быть, сказать и еще об одном — патриотическом — смысле этого образа, также обыгранном в «Слове о полку Игореве» — взрослые соколы отважно защищают свои гнезда от более сильных хищных птиц.

Вьются вороны над крестом (а на нем — одежды царевича Дмитрия), будто предвещают вороны трагедию Смутного времени. Тревожно распахнул крылья лебедь над охваченным пламенем монастырем — словно предсказывает мученическую смерть мужественной Алене Арзамасской. Крыло — уж не Пегасово ли? — появится на гравюре, предшествующей драматической легенде «Ущелье Крылатых коней». Высоко над полем — две ласточки, над спокойными водами озера — одинокая чайка: Мефистофель напрасно пытается заслонить от Курчатова, главного героя одноименной драматической фантазии К. Скворцова, этот идиллический пейзаж-мечту...

Художник, поместивший на обложке изящные абрисы крыльев — золотого и алого, тонко почувствовал романтическую природу дарования писателя: мотив полета очень важен для К. Скворцова, внутренняя окрыленность — неизменная черта любимых героев поэта. Потому драматическую легенду «Бестужев-Марлинский» он открывает печальными строками из поэмы декабриста «Андрей, князь Переяславский»:

Белеет парус одинокий,  
Как лебединое крыло,  
И грустен путник ясноокий;  
У ног колчан, в руке весло...



Иллюстрация к драматической легенде К. Скворцова  
«Ущелье крылатых коней»



Иллюстрация к драматической легенде К. Скворцова  
«Ущелье крылатых коней»

Небольшие заставки стали как бы камертонами, они предсказывают эмоциональную мелодию каждой из драматических поэм. А вот открывающие пьесы иллюстрации-развороты не просто представляют нам главных героев драмы, а по-своему комментируют суть конфликта. Художник для каждой драматической поэмы находит свою ведущую метафору. В трагедии «Смутное время» — это загадочная парсуна — царский портрет... без лица. В «Алене Арзамаской» — крест, символ жестоких страданий, на которые осуждена судьбой непокорная Алена. В ксилографии к «Ваньке Каину» — руки всезнающего божества, играющего жизнями людей, будь то могущественная царица или находчивый вор.

В последние годы художник вновь отказывается от многофигурных композиций. Ему интереснее фиксировать внимание зрителя на характерах главных действующих лиц. Для разворота, иллюстрирующего трагедию «Алена Арзамаская», сделано исключение: здесь очень много героев. Несколько неожиданно смотрится лодка с семью гребцами, помещаемая художником в верхней части креста, ставшего центром композиции. Но обратимся к содержанию пьесы: народная драма «Лодка» органично включена К. Скворцовым в текст трагедии. К ним, этим безымянным гребцам, упрямо гребущим в будущее, устремлена отважная всадница Алена. Полет ее свободолюбивой души не может остановить даже смерть, а на земле не осталось для нее места: справа и слева мрачным воплощением Власти и Смирения застыли черные силуэты вооруженных стрельцов и склонивших головы монахинь.

...Отступление четвертое. Слово Владимиру Носкову: «Круг моих литературных симпатий очень широк. Мне везло, с самого начала работы в книге приходилось иллюстрировать настоящую литературу — с яркими и живыми образами героев, чувствам которых нельзя было не сопереживать. В моем восприятии любого поэтического произведения всегда есть что-то очень личное: подобно многим, я в юности писал стихи. Но мне кажется, чем талантливее и оригинальнее поэзия, тем труднее ее иллюстрировать. Интересный поэтический образ, как правило, многомерен, и эту его многоплановость очень сложно передать. В своих иллюстрациях к стихам стремлюсь соединить лаконичность с многозначной символикой.

Больше всего ценю эмоциональное созвучие тексту. Иллюстратор, подобно актеру, должен входить в образы, ощущать как свои собственные радости и горести героя. Только при этом условии можно пластически передать выстраданное. Заканчиваешь оформление книги, и часто на смену радости приходит неудовлетворенность. Хочется начать все сначала и сделать по-другому. Особенно побуждает к этому классика...»

Двенадцать лет лежала в издательстве «Художественная литература» заявка Владимира Носкова с предложением оформить

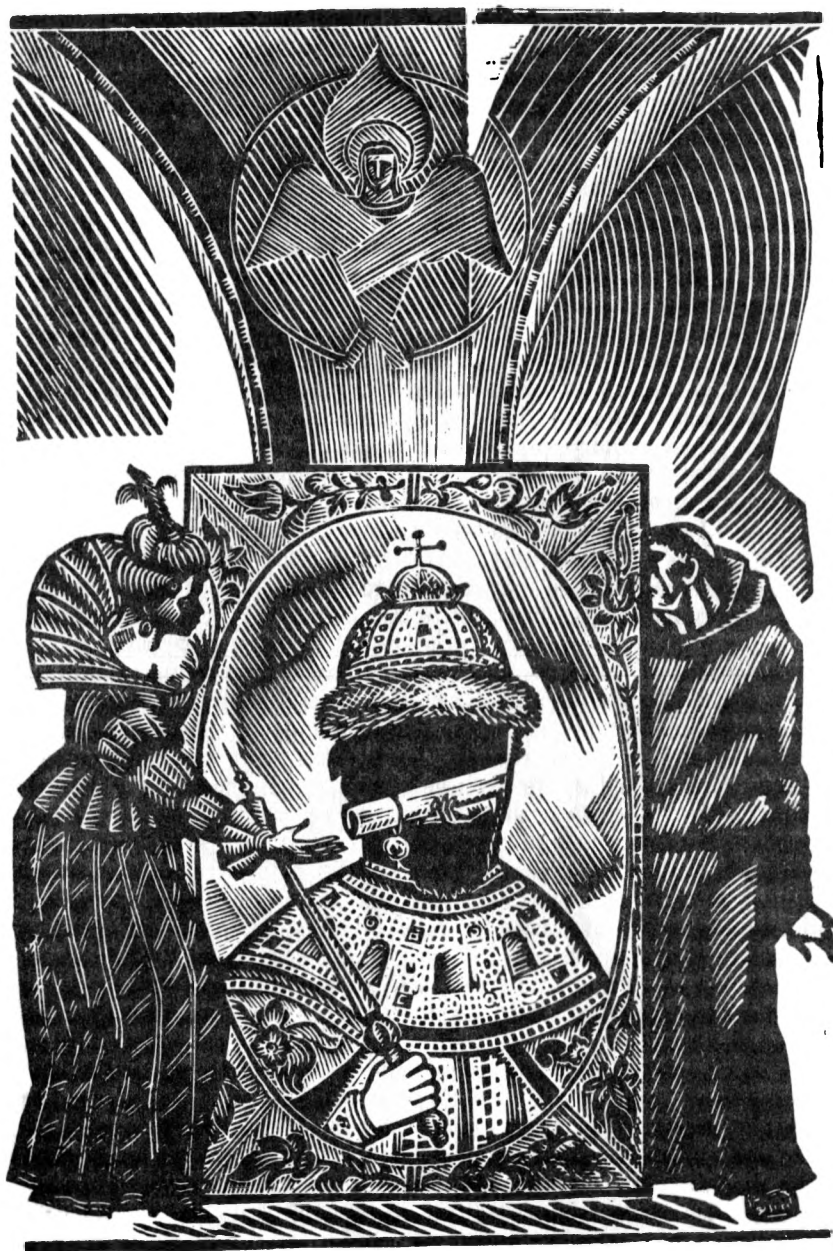


Иллюстрация к трагедии К. Сворцова  
«Смутное время»

подарочное издание поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». В студенческие годы он сделал первые эскизы иллюстраций. Но по-настоящему сосредоточиться на гравюрах к этой поэме смог только в 1987 году. И, наверное, принимаясь за новую сложнейшую работу, не раз вспоминал совет Руслану старца-отшельника, «добродетельного Финна»:

Наполни сердце новой силой,  
Любви и чести верен будь.

Может быть, именно поэтому одной из самых удачных иллюстраций к поэме стала гравюра с изображением сцены благословения Руслана мудрым отшельником. Ксилография наполнена мерцанием, переливами, причудливо-загадочной игрой отблесков и бликов света, дробящегося в таинственной полутьме пещеры. Огонь светильника перекликается с мерцанием созвездий на темном фоне неба. Сцена эта обретает явно символический смысл: старец не просто благословляет Руслана, а передает идущую из глубины веков эстафету духовности, бескорыстного служения Добру и Правде.

Перечитывая с детских лет знакомые строфы, художник хотел избежать готовых, сразу приходящих на ум решений и композиций — «проходной», развлекательной сказочности. Гораздо более трудно и интересно раскрыть эпическое начало «Руслана и Людмилы», напомнить читателю, что перед ним — героическая поэма, повествующая о Любви, Чести и Верности.

Судите сами: изображение парящего над землей Черномора, схватившись за бороду которого летит Руслан, встречаем на фронтисписе первого издания поэмы, вышедшего в 1820 году. Гораздо сложнее нарисовать Людмилу, ставшую невидимой в шапке Черномора и продолжавшую в тоске бродить по волшебному саду. Но филигранная техника цветной гравюры помогла художнику решить эту задачу. Полупрозрачна фигура красавицы-княжны — складки ее тяжелого, вышитого сарафана не скрывают от нас ни фонтана в центре озера, ни живых, серебрящихся струй уютного водоема.

Оригинальное совмещение двух самостоятельных пространств видим на другой гравюре — изображении волшебного сада Черномора, сада, в котором царит вечное лето, а рядом — будто по контрасту — снежная холодная зима: волшебное пространство строится как таинственный овальный купол. И, как всегда у В. Носкова, в центре композиции — главный герой, здесь — героиня. Как всегда точен художник в графическом описании одеяния княжны. Изящную конкретность нарисованного поэтом портрета художник попытался передать в гравюре — изображением фаты, «прозрачной, как туман», которая, белесо мерца, клубится, обтекая стройный стан Людмилы, одетой в «лазурный, пышный сарафан».

Стремление В. Носкова делить плоскость гравюры на несколько самостоятельных пространств, выделяя «пространство действия», «духовное пространство» и третье — «ассоциативно-метафорическое», отмечал еще Д. Шмаинов, анализируя на страницах журнала «В мире книг» иллюстрации графика к прозе и стихам Э. По. Впервые же совместить на листе эти два пространства (реальное и воображаемое) график попробовал в одной из иллюстраций к стихотворению Байрона, лирический герой которого предчувствует разлуку с любимой. Но если в гравюрах к стихам Э. По, Байрона, «Фаусту» Гете прокомментированный художником мотив сновидения-предчувствия раскрывал в первую очередь лирическую грань произведения, то в ксилографии к поэме «Руслан и Людмила» (речь идет об иллюстрации с изображением Руслана, размышляющего на поле давней битвы) тот же прием работает на усиление публицистического начала.

В привидевшейся Руслану, застывшему среди костей и черепов, смертельной битве нет победителей. Такое прочтение художником этой сцены помогает увидеть иной смысл и в пушкинских строках, обыгрывающих столь любимый народной поэзией и живущий в «Слове о полку Игореве» образ поля битвы, распавшего конскими копытами, засеянного костями, политого кровью:

О поле, поле, кто тебя  
Усеял мертвыми костями?  
Чей борзый конь тебя топтал  
В последний час кровавой битвы?  
Кто на тебе со славой пал?  
Чьи небо слышало молитвы?  
Зачем же, поле, смолкло ты  
И поросло травой забвенья?..

Уходя от чрезмерной публицистичности — в эпос, от лирики — в иронию, В. Носков продолжает искать скрытые возможности в самой технике ксилографии, стремясь преодолеть привычную статичность книжной иллюстрации. Жаль, что отнюдь не всегда эти новаторские поиски находят поддержку у художественных редакторов наших издательств.

...Отступление пятое. Слово Владимиру Носкову: «Страницу рассматриваю как динамический элемент книги. Взяв в руки поэтический сборник или солидного объема роман, мы раскрываем его, и страницы сразу приходят в движение. С этим движением и связаны мои поиски в последние годы. Хочется, чтобы страница работала в динамике, пейзаж на одном листе продолжался другим на обороте. Возможно, есть в этом что-то от кино, моих давних пристрастий к этому виду искусства. Но в книге зритель волен повернуть страницу в обратную сторону. Так возникает элемент интриги, игры...»

В конце 70-х — начале 80-х годов художник сосредоточился на иллюстрации эпиграмм, будто почувствовав острый дефицит иронии в нашей словесности тех лет. Все другие жанры тогда серьезно потеснила нравоучительная проповедь, мемуарно-дидактические произведения, знающие молодое поколение читателей с «облагороженным» и приглаженным вариантом истории. А сколько правильных слов о правде и бескорыстии было сказано в те годы с высоких трибун людьми, чей тщательно скрываемый образ жизни выдавало непристойно-пошловатое выражение лица. Совсем как у героя изоэпиграммы В. Носкова; постная мина этого персонажа подозрительно напоминает обнаженный женский торс. Так проиллюстрировал художник четверостишие Жана Оже Гомбо, приближенного кардинала Ришелье, не утратившее ехидной злободневности спустя почти четыреста лет:

Поль богомольцев поражает  
Притворством ревностным своим.  
Он стал ханжой и полагает,  
Что это значит — стал святым.

По мнению художника, иллюстрировать французские эпиграммы, чаще всего обыгрывающие бытовые или любовные коллизии, легче, чем русские, свидетельствующие о боях политических и литературных. Почти год ушел на поиск одного иллюстративного хода для сборника отечественных эпиграмм. И В. Носков принял решение: зная культурно-исторический фон, он стал сочинять свои графические эпиграммы на эту же тему, избегая буквализации сюжета.

За три десятилетия работы в книге художник воспитал в себе профессиональное «книжное» сознание — формат воспринимался им сегодня как важнейшая семантическая единица книгостроения. Собрание эпиграмм, убежден В. Носков, миниатюр, пленяющих читателя убийственной точностью гротеска или пародии, блистающих тщательно отточенной формой, требует от дизайнера книги если не миниатюрного, то уж непременно небольшого, уютного формата. И с художником соглашаешься, подержав в руках изысканные книжицы — в половину обычного формата — сборник, оформленный В. Носковым, «Французская классическая эпиграмма» и антологию «Русская классическая эпиграмма» (М., «Художественная литература», 1986; с иллюстрациями Г. Клодта).

Остается лишь пожалеть, что замысел художника не нашел сочувствия у тех, кто работал над книгой в издательстве «Советская Россия», — формат сборника русских эпиграмм, гравюры к которому художник уже выполнил, повинуясь чьей-то неумной воле, был произвольно изменен.

Столь же сильно пострадала при издании последняя книга стихов Расула Гамзатова с ксилографиями В. Носкова. Худож-



ник сделал четыре варианта каждой заставки, изменяя ракурс скачущего всадника, летящего орла, бегущей лани. Он мечтал, чтобы у читателя, листающего книгу, возникало ощущение движения, полета, путешествия по горному Дагестану. Но издатели предпочли привычно, по старинке, повторить в каждом из разделов лишь одну и ту же заставку.



Иллюстрация к роману Т. Манна  
«Юные годы короля Генриха IV»

Больше повезло художнику, давно увлекавшемуся «цветоведением», освоившему цветную фотографию и цветное любительское кино, в реализации своих «колористических мечтаний». Если цветные ксилографии к сборнику «Русская эпиграмма» график печатал при помощи трех досок, то для иллюстраций к «Рус-

лану и Людмиле» готовились четыре. Пробуя все новые и новые варианты, художник далеко не сразу находит цветное решение, передающее эмоциональную атмосферу изображенной на гравюре сцены.

И все же легко заметить, что цвет для В. Носкова менее важен, чем линия. Певучий, музыкальный штрих, то полувоздушный, легкий (как в гравюрах к «Жизнеописанию Бенвеннито Челлини»), то напряженно-суровый (как в иллюстрациях к роману Т. Манна «Юные годы короля Генриха IV»), то колюче-острый (как в ксилографиях к поэзии Байрона), — главное для него условие рождения настоящей гравюры: «Художник проникает в объект, сливается с ним в единое целое, в своем объекте он нашел самого себя — вот почему его трактовка объекта есть в то же время выражение его собственной сущности» (А. Матисс)<sup>8</sup>.

Кто-то упрекнет графика в чрезмерной традиционности, кто-то — в излишней зашифрованности, «ребусности» отдельных композиций. Но большая часть зрителей и читателей согласится — в лучших работах В. Носков соединяет психологическую убедительность графического рассказа с точно найденными символами. Среди его любимых деталей — летящие птицы, полуфантастическое дерево с причудливо изогнутыми ветвями, неперемное окно на заднем плане, помогающее углубить пространство и создать ощущение эпохи и страны, благодаря меняющемуся стилю оконных переплетов или витражей. Художник часто заключает изображение в рамку. Он может даже этот, чисто оформительский элемент сделать необычайно разнообразным. Так, в обрамлении гравюр из «Французской классической эпиграммы» использовать семнадцать различных вариантов рамки, многие из которых, согласно замыслу художника, прихотливо «зарифмованы» с отдельными элементами композиции самой иллюстрации.

...Над самшитовой доской склонился художник со стихелем в руке. И слово, вышедшее из-под пера Мастера столетия назад, обретает сегодня новую плоть. Преодолевая сопротивление твердого самшита, график резко и часто касается резцом глянцевой поверхности покрытого черной краской дерева, помогая рождению белых летящих штрихов. Так из хаоса тьмы возникает образ Гармонии, задолго до самого первого штриха увиденный внутренним взглядом художника. Пройдет не так уж много времени, и, глядя на иллюстрацию в книге, вышедшей массовым тиражом, думаю, нам захочется повторить слова поэта:

Мы живем мгновенья,  
Не годы, нет... когда, как высотой,  
Захватывает дух нам красотой.  
И что бы ни твердил железный век,  
Ты лишь мгновенья эти — человек!<sup>9</sup>

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Илюшин А. А. По поводу книги о немецкой и чешской живописи XV в. // Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969. С. 364.
- <sup>2</sup> Герчук Ю. Я. Советская книжная графика. М., 1986. С. 90.
- <sup>3</sup> Троянker А. Т. Разговор об иллюстрации // Иллюстрация. М., 1988. С. 82.
- <sup>4</sup> Молок Ю. Библиофил и современная книга // Альманах библиофила. 1987. Вып. 22. С. 154.
- <sup>5</sup> Томашевский Н. Плутоской роман // Плутоской роман. М., 1975. С. 11.
- <sup>6</sup> Герчук Ю. Я. Книжная ксилография «негравиюрного» времени // Советская графика. М., 1986. Вып. 8. С. 180.
- <sup>7</sup> Грихин В. А. Героическая поэма Древней Руси // Слово о полку Игореве. М., 1986. С. 15.
- <sup>8</sup> Матисс. Сб. ст. о творчестве. М., 1958. С. 74.
- <sup>9</sup> Скворцов К. В. Бестужев-Марлинский // Скворцов К. В. Сыны славы: Драм. произведения. М., 1988. С. 667.

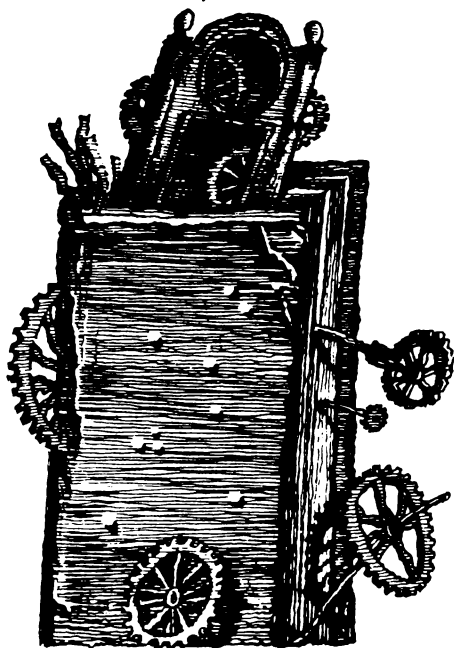
# ДЕЛА МИНУВШИЕ

*Сергей Голицын*

*БЕРЕНДЕЙ И БЕРЕНДЕЕВНА*

*Гарольд Злочевский*

*МОСКВА ДАВНО ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ*



**БЕРЕНДЕЙ И БЕРЕНДЕЕВНА**

Сижу в безмолвии «рабочей комнаты писателя» Центрального Дома литераторов и бережно перелистываю пожелтевшие страницы журнала «Новый мир», № 12 за 1925 год. Книжка тоньше нынешней, и нет привычной голубой обложки, и шрифт заголовка другой. В оглавлении вижу: «М. Пришвин. Весна воды и леса. Очерк»...

Да ведь я держал в руках этот журнал и читал этот очерк шестьдесят лет тому назад! С ума можно сойти! Я был школьником, только еще мечтал стать писателем. Шестьдесят лет тому назад!

Мне вспомнилось, что тогда я читал этот небольшой очерк, словно слушал прекрасную музыку; меня захватила благозвучность языка торжественного и счастливого гимна, славящего пробуждение природы на берегу неизвестного мне в те далекие времена Плещеева озера, близ столь же неизвестного мне города Переяславля-Залесского.

Пришвин рассказывал о весенних ручьях, о ярком солнце и синих тенях на тающем снегу, называл себя сказочным царем Берендеем, вспоминал, что и ближе болото называется Берендеевым, и ближайшая к Переяславлю железнодорожная станция тоже называется Берендеево. И жену свою он ласково величал: «Моя Берендеевна», говорил о ней с огромной любовью и огромным уважением, рассказывал, что недавно отметили они свою серебряную свадьбу...

И теперь на старости лет я снова держу в руках выцветшую книжку «Нового мира» и вспоминаю далекие-далекие дни своей молодости, вернее, только два тогдашних незабываемых дня...

\* \* \*

Весной 1926 года, то есть месяца четыре спустя после выхода в свет пришвинского очерка, я приехал на каникулы к своему дяде в город, который ныне называется Загорск, а тогда именовался, и между прочим — с древних времен, Сергиев Посад.

Зашагал я по шпалам высокой железнодорожной насыпи, любуясь великолепным видом всемирно известного архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры, дошел до пересекавшей полотно улицы Вифанка или, в просторечии, — Лифанка, теперь улица Комсомольская, свернул направо, потом налево и попал в слободу, называвшуюся тогда Красюковка. И запрыгал в своих туфельках между лужами.

Была «весна воды и леса». Всюду бежали ручьи, набухали почки на стоявших перед маленькими домиками березах и липах, на яблонях и вишнях в садах.

И дядя, и тетя встретили меня радостно, их многочисленные дети обступили меня, также радостно и одновременно стеснительно улыбаясь, смотрели на меня, на своего старшего по возрасту двоюродного брата.

Сам дядя работал музыкантом в городском кино, а тогда фильмы были немые, хотя иной раз с такими артистами, каких я никогда не забуду. И сопровождались те фильмы игрой на пианино или оркестром. Дядя играл на виолончели.

А еще он был страстным охотником. И как раз чистил ружье, собирался на следующий день на охоту. Куда? За тридцать верст, на Дубну.

— И Михаил Михайлович едет и другие охотники, — закончил он свою речь.

— Михаил Михайлович? Сам Пришвин? Писатель? — Я невольно вздрогнул.

А дядя спросил меня совсем буднично, словно приглашал в кино или просто погулять:

— Хочешь со мной?

Хочу ли? Да такое только во сне можно увидеть!

Но тетя сразу вернула меня на землю.

— Посмотри на свои ноги, — сказала она.

Вообще-то в туфельках я до дядиного дома еле добрался и вдрызг промочил ноги. В такой обуви нечего было и думать об охоте. Однако никаких лишних сапог у дяди не нашлось. Что делать?

Дядя как раз собирался к Пришвину — договариваться о различных деталях завтрашней поездки; но собирался он к нему позднее, уже вечером. Как видно, придется идти немедленно, может, у Михаила Михайловича найдутся сапоги.

Зашагали вдвоем, перепрыгивая через лужи. Я шел и трепетал. Сейчас впервые в жизни увижу настоящего, живого писателя. Нет, увижу царя Берендея! Нет, увижу Бога!

Пришвин жил близко, через улицу, на самой Вифанке.

Вскоре мы поднялись на резное крыльцо небольшого, в три окошка, серого цвета домика. Дядя резко дернул за ручку звонка. Открылась дверь. Перед нами предстала пожилая, невысокая, полная женщина.

Ах, какое у нее было лицо! Коли встретишь такую где-нибудь на улице — невольно засмотришься; а минует она тебя и, право, захочется оглянуться.

Поэт некогда сказал:

Есть женщины в русских селеньях  
С спокойною важностью лиц,  
С красивой силой в движеньях,  
С походкой, со взглядом цариц, —

Их разве слепой не заметит,  
А зрячий о них говорит:  
«Пройдет — словно солнце осветит!  
Посмотрит — рублем подарит!»

Она одарила нас приветливой улыбкой, ее большие голубые-голубые глаза словно светились.

Я понял, что это была Берендеевна. А звали ее Ефросинья Павловна.

— Как я рада вас видеть! Проходите, проходите, — говорила она немного нараспев, мягким, грудным голосом, пропуская нас вперед, в жилые комнаты.

И тотчас же несколько собак встретили нас веселым лаем, обступили, тыкаясь носами в наши ноги.

И предстал он сам, в белых валенках, в короткой меховой кацавейке.

Росту он был невысокого. Волосы на голове кудрявились, открывая выше лба крутую блестящую зальсину; глаза из-под щетки бровей глядели на меня зорко и как бы изучающе. А темная борода лежала на груди, длинная и пышная, подлинная берендеевская. Это уж потом, много спустя, когда переехал он в Москву, то надел хороший костюм, а бороду укоротил и перестал походить на царя Берендея...\*

Обменялись крепкими рукопожатиями.

— Можно, можно, — сказал глуховатым голосом Пришвин. — И я, бывало, мальчишкой на охоту хаживал.

Берендеевна принесла две или три пары запыленных, старых сапог, а также холщовые портянки. Я не знал, как ими оборачивают ноги. Она меня научила. Примерили сапоги — в самый раз. Может, они принадлежали одному из двух сыновей, но тогда их не было. И сейчас мне хочется думать, что я обул сапоги самого писателя...

И уже мы сидим за большим, длинным столом. Пришвин и дядя — на одном конце, я — в одиночку на другом.

Я, конечно, оглядел всю обстановку. Какая там мебель стояла — право, не помню. Были полки с книгами. Одна дверь вела в спальню, другая — в кабинет.

Единственное, что я запомнил — это картину на стене, или точнее — раму от картины. Верно, деревенский мастер взял два, толщиной с детскую руку, березовых полешка, расколол их пополам и соединил концами. Так получилась необычная белая рама. Какая картина была в нее вставлена, увя — позабыл.

Я сидел и наблюдал.

Пришвин меня поразил своей подвижностью. Дядя рассказывал, а Михаил Михайлович то наклонялся вперед, то отки-

\* Эти последние сведения взяты из неизданных воспоминаний писателя Н. П. Смирнова.

дывался к спинке стула. Он был явно возбужден дядиным рассказом, однако слушал внимательно. Они чокались гранеными стаканчиками, закусывали солеными грибами. Михаил Михайлович изредка задавал вопросы. Он предвкушал предстоящую охоту.

А сейчас я думаю, что тогда он впервые собирался на Дубну и дядя красочно ему расписывал охотничьи достоинства тамошних болот, лесов и озер.

Берендеевна мне все подкладывала пирожки. И хоть явились мы после обеда, а этих хрустящих, немислимо вкусных, с рисом, с капустой, с грибами, еще с чем-то я умял неприлично много. А Берендеевна все подкладывала и подкладывала, приговаривая:

— Кушай, кушай, голубчик! Вот этот, вот этот возьми...

Мы ушли. Договорились, что придем к трем часам утра. Выедем еще до рассвета, по морозцу...

\* \* \*

Прежде чем заняться этим очерком, я постарался расспросить своих двоюродных братьев, которые постоянно в детстве бегали в гостеприимный пришвинский дом. И еще я просмотрел все труды, посвященные писателю. Меня поразило, как мало там было уделено его жизни в Сергиевом Посаде — Загорске, где он прожил целых девять лет, с 1926 по 1935 год.

А мне думается, что те годы были для него самыми счастливыми, самыми яркими, самыми плодотворными.

Его новый роман, начало которого сперва называлось «Юность Алпатов», печатался в «Новом мире», в четырех номерах, с № 2 по № 5 за 1926 год. Читатели заметили, роман «Кашеева цепь» пользовался успехом, о нем заговорили.

А Пришвин, получив солидный гонорар, оставил свою работу наблюдателя на метео- и биостанциях близ Переяславля-Залесского и переселился ближе к Москве. Он купил домик на Красюковке.

Родовая орловская крестьянка Ефросинья Павловна, по рассказам моих двоюродных, завела корову, кур, поросенка, принялась ухаживать за огородом, рассадила яблони и вишни.

А он пошел бродить с ружьем по сергиевским окрестностям, встречался с охотниками, с крестьянами. И набирался новых впечатлений, и мечтал о новых замыслах, но пока черпал образы из своих прежних переяславльских запасов. И творил, творил... И люди читали, наслаждались, передавали затертые журналы из рук в руки...

Он очень быстро перезнакомился и подружился с сергиевскими охотниками. Одним из них был мой дядя, которого он вывел в некоторых своих маленьких рассказах того времени под именем музыканта Т. Помню еще главного уездного лес-



ничего Обрехта, еще некоего чудака-фенолога Баркова, был еще врач, был еще юрисконсульт, были другие охотники. Все они — интеллигенты старого образца — отличались остроумием, знали много охотничьих побасенок. И одновременно были страстные охотники. Позднее они выбрали Пришвина председателем Союза охотников, и он, неутомимый, увлеченный, много времени отдавал своей общественной деятельности...

В тот предзакатный час все его новые друзья, заспанные, молчаливые, явились к нему со своими молчаливыми и тоже заспанными собаками. Берендеевна поднесла каждому охотнику по стаканчику настойки собственного приготовления. Тут подъехали три или четыре подводы с заспанными бородатыми мужичками-возчиками, и мы отправились через весь город, выехали на старинный Углицкий тракт, ведущий прямо на север, к реке Дубне.

Наверное, не иначе как Михаил Михайлович нанял возчиков. С той поездки мне прежде всего запомнилась невылазная грязь на дороге. Лошади, случалось, еле вытаскивали телеги и ноги, плелись шагом. А мы больше шли пешком. На телегах в соломе были зарыты ружья и разная поклажа.

Михаил Михайлович тогда увлекался фотографией, и тяжелый фотоаппарат висел на его груди на ремне. Иногда он забегал вперед или отходил в сторону и фотографировал нас.

Наверное, я тогда любовался окрестными видами полей и лесов, пробуждением природы, следил за стаями пролетающих птиц. Но с тех пор, за шестьдесят лет, мне довелось столько повидать весен воды и леса по разным краям нашей страны, что все мои многочисленные весенние впечатления слились в моей памяти в единое и прекрасное целое. А вот ту грязь и сверкающие на солнце лужи на дороге я никогда не забуду.

Наконец, только к полудню мы добрались до деревни на берегу Дубны. Остановились в просторной избе. Ребятишки нас обступили, женщины хлопотали вокруг стола и вокруг огромной, как корабль, русской печки. Закусывали наскоро, пили только молоко. Михаил Михайлович строжайше запрещал другие, более крепкие напитки. Он закусывал и одновременно расспрашивал о чем-то хозяина — белобородого, величавого старика. Тот рассказывал медленно, с расстановкой, а карандаш Михаила Михайловича быстро бегал по блокноту.

Писатель и в избе, и потом на охоте постоянно вынимал блокнот. Он записывал не только рассказы собеседников, но и свои впечатления — что увидел, что подметил. Сейчас я думаю, не о неизвестной ли болотной водоросли Клавдофоре, которой были посвящены потом некоторые его очерки, он расспрашивал тогда старика?

Потом все мы вышли на крыльцо. Михаил Михайлович с

фотоаппаратом в руках забегал туда-сюда, прицеливался, даже припадал на одно колено. Он фотографировал нас вместе с собаками, потом фотографировал всю семью — старика-хозяина со старухой, с сыновьями, со снохами, с многочисленными ребятами. Их набралось, наверное, больше двадцати; такие тогда были семьи под одной крышей. Уцелели ли сейчас те фотографии?

Охотники разошлись в разные стороны — кто к темному еловому лесу за рябчиками и тетеревами, на тягу за вальдшнепами, кто углубился в пойму Дубны.

Я шел сзади своего дяди. Ружья у меня не было. И вообще-то я исполнял роль собаки на пару с серебряным медалистом, черно-пегим кобелем — гончим выжлецом по кличке Орел.

Шестьдесят лет — ужасающе много! И я сейчас, увы, забыл — шагал ли тогда рядом с нами Михаил Михайлович с ружьем в руках, с фотоаппаратом на груди и бежал ли рядом с ним его пес — прославленный им в ряде очерков и рассказов рыжий сеттер Ярик? Хочется думать, именно таким я действительно увидел тогда писателя и хорошо запомнил его облик.

Кажется, дядя подстрелил пару уток, а вспугивали мы их множество, и Орел бросался вперед за добычей.

Только после захода солнца дядя и я, невыносимо усталые и голодные, вернулись в деревню. Охотники возвращались один за другим...

Женщины опять захопотали вокруг стола и русской печки, босоногие ребята опять бесцеремонно столпились вокруг нас.

Охотники оживленно принялись обмениваться репликами — что видели, что подстрелили. А Михаил Михайлович сидел в красном углу на лавке у стола, расспрашивал о чем-то старика, и его карандаш быстро бегал по блокноту.

Нас всех пригласили к столу. И началась та оживленная, беспорядочная, после каждой стопки водочки все более громкая и все более сумбурная беседа, когда наперебой хвастаются охотничьими успехами, необыкновенной статью и чутьем своих собак. Мужички-возчики молча уписывали различные кушанья.

Если же заговаривал Михаил Михайлович, все замолкали, оборачивали к нему головы, старались не пропустить ни одного слова из его возбужденной, пересыпанной сочными словечками речи.

Он явно был центром, был тем царем Берендеем, которому беспрекословно подчиняются его подданные.

Спали мы вповалку на полу. Я лег рядом с дядей на овчинную подстилку, укрылся своим пальто, скинул только сапоги, и тотчас же уснул...

Перед рассветом нас разбудил неугомонный Михаил Михайлович. Мы умылись ледяной водой прямо на улице. Я поливал из кружки дяде, он поливал мне. Наскоро мы попили молока с

хлебом и, молчаливые, разошлись опять в разные стороны — кто за утками, кто за тетеревами и рябчиками. Собаки покорно следовали за своими хозяевами.

Вернулись с охоты среди дня. Обедали молча. Горячительных напитков не оставалось, и потому застольная беседа велась словно нехотя. Торопились возвращаться обратно, чтобы успеть приехать до темноты. Один неугомонный Михаил Михайлович с блокнотом в руках продолжал вытягивать из старика-хозяина очередной рассказ.

Опять поехали, вернее, зашагали пешком, с трудом вытаскивая сапоги из густой глинистой грязи. От усталости я еле шел. Утомленных собак рассадили по телегам.

Уже после захода солнца добрались мы, наконец, до города. Кто-то собрался прощаться. Нет, такое Михаил Михайлович допустить не мог! И сказал:

— Моя Берендеевна вас ждет.

И этого было достаточно, чтобы друзья-охотники, хоть и до изнеможения усталые, приняли его приглашение.

И уже все мы, в том числе и мужички-возчики, уселись за уставленный яствами стол. Подогретая домашней настоечкой беседа беспорядочно забурлила. Охотники наперебой хвастались победами над утками, рябчиками и вальдшнепами. И опять, когда вторгался в разговор Михаил Михайлович, все замолкали, слушали его со вниманием.

Я сидел на конце стола. А милейшая Ефросинья Павловна, хлопотавшая с очередным блюдом, время от времени подходила ко мне и все подкладывала и подкладывала в мою тарелку божественного вкуса пирожки. И все приговаривала:

— Кушай, кушай, голубчик! Вот этот, вот этот возьми...

Совсем поздно вечером дядя со мной явился на свою квартиру. Я лег и тотчас уснул и проспал до двенадцати дня...

\* \* \*

Наверное, года через два, когда я уже кончил школу и учился на Высших литературных курсах — сокращенно ВГЛК, осенней порой опять мне довелось приехать в Сергиев Посад, недавно переименованный в город Загорск.

Я остановился, конечно, у дяди. А утром, на рассвете, с коробом за плечами, отправился один в недалекий лес по грибы.

Не помню, много ли мне тогда удалось найти белых. Пора было возвращаться домой. Я вышел на поляну и неожиданно издали увидел Пришвина.

Он шел вдоль опушки, в шляпе, в сапогах, в старом полинялом плаще, с ружьем за плечами, с фотоаппаратом на груди. Рыжий сеттер изящно переступал лапами, поминутно поднимал

голову и, обмахиваясь хвостом, подавался из стороны в сторону. Учув человека, он замер, вытянув морду.

А Пришвин вдруг застыл, не замечая меня. Наверное, для него, на людях чаще оживленного, подвижного, такое оцепенение было не совсем обычным. Он, верно, всей грудью вдыхал лесные запахи. По его прищуренным глазам я догадывался, как он, наслаждаясь одиночеством, всем сердцем своим, всем помышлением своим ушел в созерцание окружающей осенней золотой красоты. Он был царем Берендеем и с пристальным вниманием и любовью вглядывался в свое лесное царство.

Постоял он, постоял, свистнул собаку и медленно побрел дальше, завернул в лес и скрылся...

Больше я его никогда не видел.

# Гарольд Злочевский

## МОСКВА ДАВНО ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ

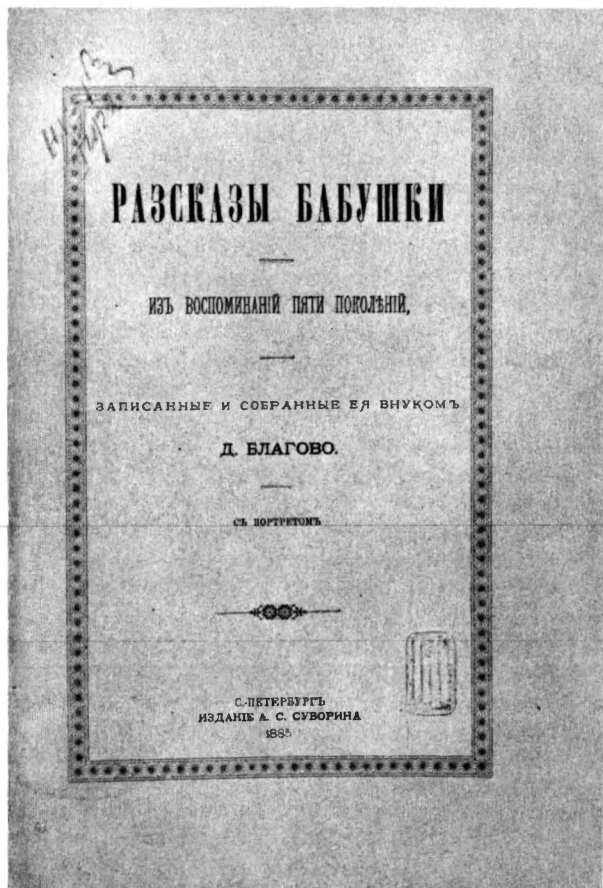
Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, считая их излишними и утомительными, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют перед нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша.

Д. Благово

На тонкой издательской бумажной обложке бледного голубовато-серого цвета в скромной, но изящной рамке напечатано: «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово», С.-Петербург, издание А. С. Суворина, 1885. События, о которых повествует книга, охватывают огромный исторический период от времен Петра I до середины XIX века. Собственно рассказы составляют 455 страниц. К ним приложен указатель личных имен, упоминаемых в книге. Напечатанный убористым шрифтом в два столбца, указатель занял еще 30 страниц.

Перевернем титульный лист, и перед нами портрет молодой, уверенной в себе женщины, одетой по моде конца XVIII века, но скромно. Это и есть известная мемуаристка Елизавета Петровна Янькова (1768—1861). Портретист изобразил ее в возрасте 26 лет. Елизавета Петровна, дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, дочь знаменитого историка, разностороннего ученого и государственного деятеля Василия Никитича Татищева (1686—1750), который был лично известен Петру I, храбро сражался в Полтавской битве в 1709 году, за что получил благодарность самого государя; был ранен в этом сражении. Много работал Татищев в области горного дела на Урале: управлял казенными заводами, организовал фабрично-заводское обучение рабочих. Он положил начало основанию Екатеринбурга, ныне Свердловска. Значение многогранной деятельности Татищева для России еще в прошлом веке точно сформулировал историк Д. А. Корсаков: «Наряду с Петром Великим и Ломоносовым он явился в числе первоначальных зодчих русской науки. Математик, естествоиспытатель, горный инженер, географ, историк и архитектор, лингвист, ученый, юрист, политик и публицист и вместе с тем практический деятель и талантливый администратор, Татищев по своему обширному уму и многосторонней деятельности смело может быть поставлен рядом с Петром Великим»<sup>1</sup>.

Обладая хорошей памятью, Елизавета Петровна до глубокой старости помнила не только события, участницей и современницей которых была, но и многочисленные семейные предания. Подробно повествует она о последних днях и обстоятельствах кончины своего знаменитого прадеда в селе Болдино под Москвой, где им в 1745—1750 годах написаны 5 томов «Истории Российской



Обложка книги  
Д. Благово  
«Рассказы  
бабушки»

с древнейших времен». Село это находится в 6 километрах от станции Головково Октябрьской железной дороги, а рядом на погосте Рождествено, возле церкви, могила В. Н. Татищева.

Передаёт Янькова и рассказы очевидцев казни Е. Пугачева на Болотной площади в Москве.

Московское дворянство в конце XVIII — начале XIX века

составляло всего 6—8 процентов населения города, но сплачивалось в целую общественную группу, связанную одними классовыми интересами: крепостным правом, службой, бытовым укладом. Татищевы, Римские-Корсаковы, Щербатовы были в родстве с представителями других более или менее знатных фамилий. Поэтому Янькова, прожившая в Москве почти всю свою долгую жизнь, была знакома со многими интересными людьми, знала



Елизавета  
Петровна  
Янькова

их в течение десятилетий. В её воспоминаниях бесконечная вереница лиц XVIII и XIX веков. Среди них встречается много исторических личностей. Современникам она часто дает меткие характеристики, свидетельствующие о ее наблюдательности. Иногда эти характеристики нелицеприятны, но удивительно лаконичны: «В Москве было одно очень богатое и в свое время известное семейство Свиныхных... Люди очень богатые и оттого пренадменные... У них, говорят, и за столом никогда ничего

свиного не подавали, так они боялись намек на свою фамилию... Я их встречала, но с ними не знакомилась».

Многие рассказы Елизаветы Петровны относятся к периоду царствования Александра I. Любопытные воспоминания посвящены событиям 1812 года, особенно связанным с Москвой, из которой Яньковы уехали первого сентября, накануне прихода французских войск: «От нашего дома с Пречистенки (Кропоткинской) и до Крымского брода... тянулись экипажи, кареты, коляски, дрожки и тележки; все едут, спешат выбраться из Москвы, кто идет пешком, навьючен узелками и мешочками... В понедельник, сентября второго... вошли французы в Москву. Войска были холодны и голодны, наги и босы; дорвавшись до Москвы, они тотчас же рассыпались по городу промышлять... Мародеры... отнимали, что им полюбится... Москва очень опустела: вместо 280 тысяч жителей, не осталось и десятой доли; ...пожарные трубы, всю команду из Москвы вывезли, и когда начались пожары, то неприятелю не оставалось и средств для их прекращения... Большею частью поджигали свои дома сами хозяева. Многие говорили: «Пропадай все мое имущество, сгни мой дом, да не доставайся окаянным собакам...» Бонапарт торжествовал, когда, вступив в Москву и поселившись в Кремлевском дворце, вообразил себе, что со взятием столицы он покорил и всю Россию; но не тут-то было: с этого-то времени и начались все его бедствия... Когда Бонапарт вышел из Москвы, в Кремле остались после него более 1000 фур, нагруженных всяким добром: так награбленное добро впрок и не пошло. Конечно, во время пожаров поггло в Москве много древностей и драгоценностей, но самое драгоценное, что было, все вывозили; Патриаршую ризницу и Оружейную палату... увозили в Нижний и в Вологду. Из московских монастырей и церквей увозили всяких сокровищ на 600 подводках. Куда увозили все архивы — я не знаю, а из Опекунского совета бумаги и заложенные вещи отправлены были на барках в Казань».

Известно<sup>2</sup>, что после пожара и выхода неприятеля из Москвы в городе из 9158 домов осталось всего 2626. Вернувшись в столицу в 1813 году, Янькова увидела картину страшного разорения. Вот как она вспоминала об этом: «Весь город по сую (левую. — Г. З.) сторону Москвы-реки был точно как черное большое поле со множеством церквей, а кругом обгорелые остатки домов: где стоят только печи, где лежит крыша, обрушившаяся с домов; или дом цел, сгорели только флигеля; в ином месте уцелел только один флигель... Увидев Москву в таком разгроме, я горько заплакала: больно было увидеть, что случилось с этой древней столицей, и не верилось, чтобы она когда-нибудь и могла опять застроиться». На месте нового своего дома (Яньковы «перешли на новоселье» в этот дом в ноябре 1811 года), что стоял на углу Пречистенки и Мертвого переулка (переулок Н. А. Островского), Елизаве-

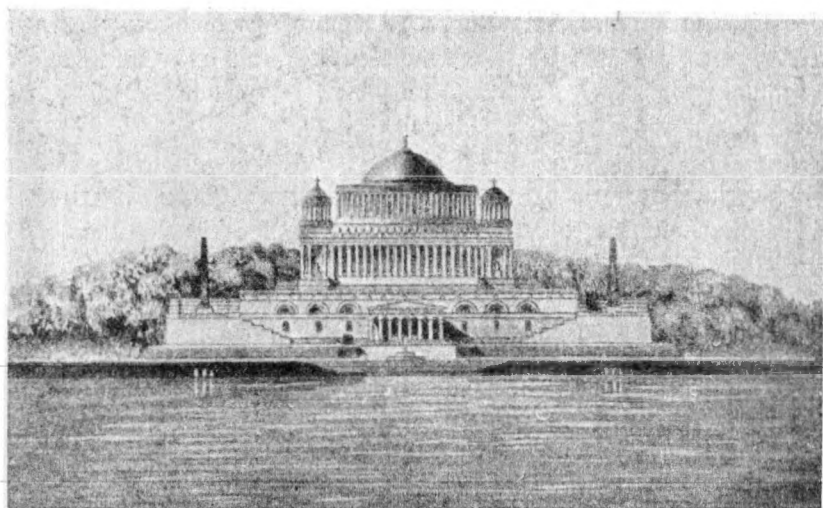


та Петровна «увидала... совершенно пустое выгорелое место... и еще много других домов на Пречистенке, почти вплоть до самого Зубова, где ныне бульвар, — все это погорело. Дом Хитровой, Настасьи Николаевны, однако, уцелел, долгое время он один-единешенек стоял посреди обгорелых развалин». Но город стал быстро залечивать раны. Уже к 1817 году было восстановлено 2514 домов и построено вновь 6174<sup>3</sup>. Елизавета Петровна с удовлетворением отмечает, что послепожарная Москва «стала гораздо лучше, чем была прежде: улицы стали шире, те, которые были кривые, выпрямились, и дома стали строить больше все каменные, в особенности на больших улицах». Конечно, Янькова любила свой родной город и искренне радовалась его быстрому возрождению. Но, справедливости ради, следует отметить, что к 1817 году из всех вновь выстроенных зданий каменные составляли лишь около 10 процентов, и в дальнейшем, вплоть до 1842 года, в Москве преобладало строительство деревянных домов<sup>4</sup>.

Подробно поведала Елизавета Петровна печальную историю строительства храма-памятника в честь освобождения Москвы от наполеоновского нашествия, рассказала о трагической судьбе его автора — архитектора А. Л. Витберга (1787—1855).

Александр Лаврентьевич Витберг, сын «шведской нации лакировальщика», блестяще окончил полный курс Академии художеств в Петербурге по классу живописи с правом на заграничную командировку. В конце декабря 1812 года, после изгнания наполеоновских войск из пределов России, Александр I издал манифест о сооружении в первопрестольной столице мемориального храма «в память освобождения Москвы от неприятеля», и Витберг, решив принять участие в конкурсе, увлекся проектированием храма-памятника. В 1813 году он приехал в Москву, бросив службу, выгодные заказы, отказавшись от заграничной командировки. Два года напряженно работал Витберг. Без чьей-либо помощи он изучил теорию архитектуры, мало ему знакомую, и создал замечательный проект мемориального храма, который победил в конкурсе около двадцати других проектов (в том числе Воронихина и Кваренги). Для воплощения своего замысла — создания памятника победы народа над грозным врагом, Витберг выбрал место на Воробьевых (Ленинских) горах, где в «1812 году стоял последний неприятельский пикет», в самой середине излучины, которую образует Москва-река, огибая обширную низину, занимаемую в настоящее время сооружениями Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Храм Витберга — «один из грандиознейших и широчайших замыслов в истории нового зодчества»<sup>5</sup> — должен был явиться крупнейшим сооружением в мире: его высота от подножия на вершине горы до креста — 170,7 метра (две высоты колокольни «Иван Великий!»), а от уровня Москвы-реки — 234,7 метра. Этот огромный архитектур-

ный комплекс должен был состоять из трех храмов: нижнего среднего и верхнего. «Форма нижнего храма представляет параллелограмм, среднего — квадрат и равноконечный крест, верхнего же — вид кольца. Храм сей (верхний. — Г. З.) будет о пяти главах, из коих в четырех меньших поместится 48 колоколов, составляющих четыре гармонические музыкальные аккорда. По обеим сторонам нижнего храма, вмещающего в себя память жертвы 1812 года... распространится колоннада до 300 сажень (одна сажень равна 2,1335 метра. — Г. З.), по концам которой поставлены будут два памятника вышиною до 50 сажень: один из пушек, завоеванных от Москвы до границы отечественной, а другой из пушек, завоеванных от оной до Парижа... Таким будет храм



А. Л. Витберг. Проект храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Вариант. 1820-е годы

Христа Спасителя, который удивит Вселенную своим великолепием», — с восторгом писал современник<sup>6</sup>. Торжественная закладка храма была приурочена к пятой годовщине изгнания наполеоновских войск из Москвы и происходила 12 октября 1817 года при огромном стечении народа: присутствовало около 400 тысяч человек гражданского населения и более 50 тысяч военных. В этот день Янькова тоже отправилась на Воробьевы горы. «И хотя по моему чину мне нигде и места не было, — сообщает Елизавета Петровна, — но нашлись добрые люди, и я все видела лучше многих сенаторских и генеральских жен». Она подробно описывает торжества. Вопреки своему желанию, Витберг был



Вид храма Христа Спасителя,  
построенного у Пречистенских ворот по проекту К. А. Тона

назначен директором строительства храма, а потому и членом комиссии по его сооружению. В состав комиссии входил и родной брат Яньковой Николай Петрович Римский-Корсаков. Поэтому о событиях, происходящих вокруг строительства, и о самом Витберге Елизавета Петровна была хорошо информирована. К сожалению, намеченное грандиозное строительство ограничилось земляными работами и сооружением казарм для рабочих, мастерских, кузниц. Витберг не был деловым человеком. Завистники, воры и казнокрады, окружавшие его, запутали финансовую часть строительства, писали жалобы в Петербург. В 1826 году была назначена ревизия. В результате комиссию по сооружению храма закрыли в 1827 году, а в 1828 году ликвидировали и само строительство. Негласный процесс, длившийся затем более семи лет, завершился тем, что в 1835 году Витберга признали виновным «в злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казны», имущество его конфисковали и продали с молотка, а самого архитектора сослали в Вятку (Киров) под надзор полиции. «Через интриги погубили бедного Витберга, человека очень честного и, говорят, великого художника и знатока в своем деле, — заключает Янькова. — Помешал не песок и не отдаленность местности, а то, что Витберг был человек не практический и думал все сделать без подряда и без взяток, ну, конечно, и попал впросак. Но самая пушая для него была беда, что он попал между двух огней: между графом Аракчеевым и князем Голицыным, министром духовных дел; они друг другу солили и вредили, а Витберг из-за их вражды погиб ни за что, ни про что». Его «преследовали по наветам сильных врагов... совсем скрутилась его жизнь». Только осенью 1840 года Витберг получил «высочайшее прощение» и переехал в Петербург. Но жестокая несправедливость, нужда, смерть близких подорвали его здоровье, душевные силы, стала развиваться нервная болезнь. В 1851 году Витберга разбил паралич, а в 1854 году во время пожара в квартире погибли почти все его чертежи, проекты, рисунки. Это был последний удар жестокой судьбы: в январе 1855 года замечательный мастер русского ампира скончался. Его похоронили на Волковом кладбище в Петербурге.

Много лет жизни посвятил Витберг совершенствованию своего главного проекта, продолжал работать над ним даже в ссылке. Он надеялся, что справедливость восторжествует и проект будет осуществлен. И вот «в 1836 году придумали продолжать храм, — сообщает Янькова, — стали говорить о построении его на месте бывшего Алексеевского монастыря у Пречистенских ворот; в 1837 году монастырь перевели в Красное село (близ станции метро «Красносельская». — Г. З.) и строения стали разбирать, а в 1839 году совершили новую закладку на новом месте». Храм начали строить, но по проекту архитектора

К. А. Тона (1794—1881) в эклектическом русско-византийском стиле. Строительство огромного храма Христа Спасителя завершили в 1883 году. В. Л. Снегирев охарактеризовал храм Тона как «уродливое воплощение величественной идеи Витберга»<sup>7</sup>. Однако в инженерном и особенно в градостроительном плане храм Тона, несомненно, был интересен. Художественную ценность представляли его интерьеры. В начале 1930-х годов храм Христа Спасителя был варварски уничтожен, чтобы освободить место для строительства Дворца Советов, так и не сооруженного. Последние 30 лет здесь плещутся хлорированные воды плавательного бассейна «Москва».

Печальная судьба постигла и здания гражданской архитектуры, возведенные в Москве по проектам Витберга. Дом, построенный в 1813 году для поэта И. И. Дмитриева «у Спиридония», был разобран в 1893 году, а на его месте сооружен по проекту Ф. О. Шехтеля роскошный «готический» особняк З. Г. Морозовой (улица Алексея Толстого, 17). Не сохранился и дом Дмитриевой на Мещанской улице (проспект Мира), построенный в 1815 году. В 1948 году В. Л. Снегирев, изучавший творческое наследие Витберга, писал<sup>8</sup>, что сохранился дом Н. В. Посникова, построенный по проекту знаменитого архитектора не позднее 1820 года, «получив позднейшую пристройку; расположенная сзади, она не изменила фасада здания». Племянник владельца этого особняка был женат на дочери Яньковой — Анне Дмитриевне. Елизавета Петровна сообщает, что находился особняк «под Донским, самый первый дом от монастыря по левую сторону, ежели ехать оттуда. Дом небольшой, но очень поместительный и прекрасно расположен». Николай Васильевич Посников служил секретарем у княгини Екатерины Романовны Дашковой (1744—1810), которая в 1783—1796 годах была директором Петербургской академии наук и президентом Российской академии, и, как пишет Янькова, «пользовался её неограниченным доверием и особым, исключительным благорасположением... Не будучи ни знатным, ни чиновным и совсем не богатым, Посников умел приобрести уважение всей Москвы: кого он только ни знал, кто-то у него ни бывал, и все относились к нему с почтением... Посников о княгине говорил редко, но всегда с восхищением и великим уважением: „Великий, матушка, была она человек, имела ум гениальный, европейский“». Сама Елизавета Петровна «Дашковой не знала, мельком видала раза два в то время, как в последние годы она жила в Москве, по возвращении своем из ссылки в деревню... И потому, — заявляет Янькова, — о ней не могу ничего сказать достоверного, а за верность слышанного ручаться не могу, говорить же о столь известных людях понаслышке не приходится». Я очень надеялся отыскать дом Посникова, но не смог. Запросил сведения об этом здании в Музее архитектуры

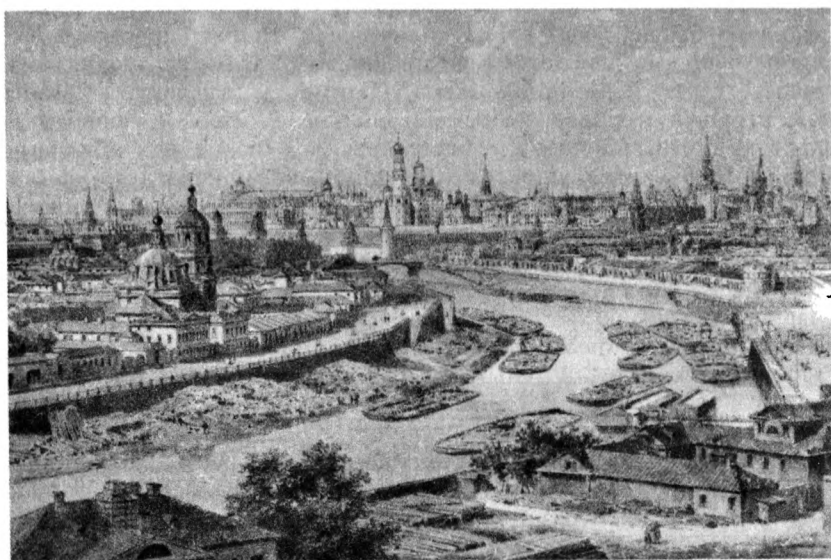
имени А. В. Шусева. Мне сообщили, что дом не сохранился. Жаль. Это была последняя постройка гражданской архитектуры, сооруженная в Москве по проекту Витберга.

На улице Фрунзе стоит большое пятиэтажное здание (дом 19), украшенное величественным портиком. В основе его двухэтажный дворец генерала от кавалерии Степана Степановича Апраксина. Дворец сооружен в 1792 году в формах классицизма по проекту Ф. И. Кампорези. В 1831 году здание перешло в казну. Его перестроили и передали Александровскому сиротскому институту, специально учрежденному для воспитания и обучения детей военных, погибших во время эпидемии холеры в 1830 году. Ко времени перестройки дворца относится, очевидно, и сооружение домово́й церкви института по проекту Витберга. В 1850 году институт преобразовали в кадетский корпус, а в 1863 году — в Александровское военное училище. После Октябрьской революции здание последовательно занимали Реввоенсовет, Наркомвоенмор, Наркомат обороны. Современный вид оно приобрело в 1946 году по проекту М. В. Посохина и А. А. Мндоянца.

Много интересного содержат рассказы Яньковой об архитектурном облике центра Москвы, о переменах в застройке города, которые происходили при жизни мемуаристки: «Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие рвы, в которых стояла зеленая вонючая вода, и туда сливали всякую нечистоту... Сады стали разбивать после 1818 года. Каменный мост я застала с двойною башней, наподобие колокольни: он был крытый и по сторонам торговали детскими игрушками. Самые лучшие из игрушек были деревянные козлы, которые стучаются лбами. Были игрушки и привозные, и заграничные... Набережная была только местами вымощена, а берега реки камнем стали обкладывать... в 1790-х годах; до тех пор они были и изрыты, и часто весной обваливались... Я застала еще Тверские ворота, Арбатские, Никитские, Серпуховские. Некоторые были даже деревянные и очень некрасивые; многие стали ветшать, их велено было снести; это было в 1780-х годах. Теперь осталось на память одно только название. Я помню, когда была в Москве речонка Неглинная и через нее было несколько мостиков: Боровицкий деревянный, другие — каменные. Я слыхала от батюшки, что он застал мельницы на Москве-реке... была мельница на Неглинной. Речку помню, а мельниц я уже не застала; их было три: у Водяной башни, у Троицких ворот и у Боровицких. На Кузнецком мосту точно был мост, и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузниц, отчего и название до сих пор осталось. Мост был хотя и деревянный, но преплохой, и сломали его гораздо после французов. Улица, называемая Кузнецкий мост, издавна была заселена иностранцами: были французские и немецкие лавки. Теперь



**Ф. Я. Алексеев. Вид на Воскресенские, Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в 1811 году**



**Вид на Московский Кремль. Не ранее конца 1840-х годов**



**А. Шарлемань, Ж. Жакоте. Александровский сад.  
Конец 1840-х годов. Вдали храм Христа Спасителя**



**Неизвестный художник. Кузнецкий мост в середине XIX века**



говорят «ехать на Кузнецкий мост», а в наше время говорили: «ехать во французские лавки»... Прекрасный дом Пашковых на углу Знаменки (улица Фрунзе) и Моховой (проспект Маркса) был строен Александром Ильичем Пашковым... Я помню, когда дом Пашковых был во всем блеске, свежий и новый, как с иголки. Пред домом били фонтаны; по саду расхаживали разные птицы: павлины, фазаны; было несколько пребольших сетчатых птичников из золоченой проволоки; иногда в саду играла их собственная крепостная музыка; у них бывали зачастую театры и праздники».

С осуждением освещает Елизавета Петровна события 14 декабря 1825 года. Однако из повествования мы узнаем о многих декабристах, их семьях, восхищаемся мужеством вдовы К. Ф. Рылеева Натальи Михайловны, которая ничего не захотела принять от царя ни для себя, ни для пятилетней дочери Настеньки, оставшись в тяжелом материальном положении после казни мужа. А вот рассказ о самоотверженном поступке еще одной женщины, француженки Поль (Полины) Гебль, соединившей свою судьбу с декабристом И. А. Анненковым: «Была в Москве одна очень богатая женщина, Анна Ивановна Анненкова. Она имела сына, попавшего в заговор, за что он и был приговорен к ссылке. Ему нравилась одна француженка; кто она была — цветочница ли, торговка ли какая или гувернантка — порядком не знаю, но только не важная птица, впрочем, державшая себя хорошо и честно. Когда она узнала, что Анненкова ссылается, она явилась и говорит его матери: «Ваш сын меня любит, и я разделяю его привязанность; выйти за него замуж при прежних его обстоятельствах я не решилась бы, потому что чувствую великую разницу его и моего положения, но теперь, когда он несчастлив и назначен в ссылку, я его не брошу, последую за ним, и ежели вы нам дадите ваше благословение, я буду его женой». Анненкова была тронута таким благородным поступком, обняла эту молодую девушку и сказала ей, что как ни горько ей терять сына, но она спокойнее отпустит его, зная, что он будет иметь при себе жену, такую достойную, благородную и любящую женщину». И это сказала чопорная великосветская барыня. Были среди декабристов и родственники Яньковой, в частности родной племянник Александр Вяземский. Однако ему повезло благодаря ходатайству старшего брата Андрея, который «доказал свою верность государю во время смуты 14 декабря... Александра перевели в армию тем же чином и запретили ему на некоторое время въезд в столицу». И, завершая рассказ о племяннике-декабристе, Елизавета Петровна сообщает, что «он всегда резко и язвительно отзывался про государя и государыню». Правда, в присутствии тетушки и в ее доме князь был очень сдержан. «А то я бы и принимать его перестала», — верноподданнически заявляет Янькова.

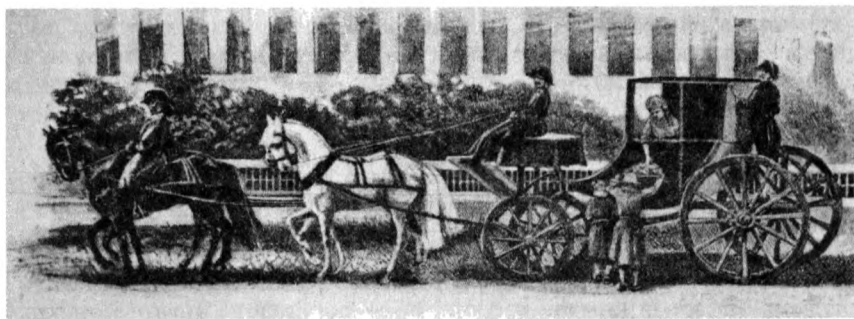
К сожалению, воспоминания о важных исторических событиях, происходивших при долгой жизни Елизаветы Петровны, занимают незначительное место в ее рассказах: старопоместное московское дворянство, доживавшие свой век отставные чиновники и военные, опальные вельможи, а тем более их жены мало интересовались политикой, общественными и гражданскими проблемами. Поэтому в рассказах бабушки нет общей картины её эпохи, не очерчены отдельные исторические периоды, в которые происходят описываемые события. Янькова занята была в основном кругом домашних, родственных, светских интересов. В 1822 году она приезжала в Петербург. Осмотрев все, что было замечательного в столице на Неве и её окрестностях, Елизавета Петровна восторгалась Эрмитажем, Павловском, Гатчиной, Царским Селом и особенно Петергофом, его фонтанами. А вот знаменитая «янтарная комната, про которую столько кричали, когда её отделали, и считали чудом, мне совсем не так понравилась, как я ожидала, после всего, что я про неё слышала, — вспоминала Янькова. — Я думала, что янтари подобраны под цвет и составлены из них разводы и узоры, а увидела я сплошную мозаику из мелких и крупных кусочков разной величины, вразброд и как попало... Очень это пестро, но нимало не поражает и совсем не так выходит, как думается, не видав. Может статься, это редкость, что могли собрать столько янтарей».

Не будучи чиновной дамой, Елизавета Петровна не имела доступа ко двору. Но однажды ей достали билет на бал, дававший право в Зимнем дворце с хоров смотреть, как развлекались высочайшие особы и придворные. «Очень мне любопытно было следить за всеми этими господами, — сообщает Янькова, — как они старались незаметным манером друг друга оттереть и будто бы случайно стать там, где могли привлечь к себе внимание или надеялись услышать милостивое слово. Все эти фокусы находящимся в зале незаметны, а с хор видно всех в одно время: смотри только, так вот и увидишь, куда все стремятся». Деловитость, холодная расчетливость, убыстряющийся темп петербургской жизни не прельстили Янькову, и через несколько месяцев она вернулась в милую ее сердцу Москву.

В феврале 1837 года, когда пришло в Москву печальное известие о трагической гибели «славного сочинителя Пушкина», Янькова вспомнила о своем знакомстве с его бабушкой М. А. Ганнибал и со всею семьёю поэта. Её рассказ, в частности о детских годах Александра Сергеевича, относится к 1809—1810 годам, когда Пушкины жили «где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом». Елизавета Петровна ездила туда с дочерьми на танцевальные уроки, которые они брали вместе с сестрой Пушкина, сестрой Грибоедова и другими у известного И. А. Иогеля, считавшегося в Москве

«лучшим танцмейстером... Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина, — вспоминает Янькова. — Старший внук её Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не скажу, чтобы очень приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались... мальчик умен и охотник до книжек». Отдав должное гению Пушкина, Янькова восторгается и прозой Н. М. Карамзина, написанной «разговорным языком», его «Историей государства Российского», изложенной «мастерски и бойко», которую очень легко читать.

Подробно и всесторонне описывает Елизавета Петровна жизнь дворянской Москвы, отмечает эволюцию нравов в век нынешний (XIX) по сравнению с веком минувшим (XVIII). Мы находим в «Рассказах бабушки» богатейший материал для бытовой



Делабарт. Барский экипаж начала XIX века

истории центральной России XVIII — середины XIX века. Симпатии Яньковой принадлежали времени, сформировавшему её мировоззрение, — второй половине XVIII века. Это было время, когда дворянству жилось широко и привольно. Она описывает огромные богатства московских вельмож, которые «не скряжничали над ними» и устраивали праздники, великолепные пиры для сотен гостей, а в своих парках и садах — общественные гулянья и увеселения, какие в XIX веке организовывали уже только антрепренеры.

В пору молодости Елизаветы Петровны очень широко жили не только первостепенные богачи. Вот как она описывает выезд одного из своих родственников, у которого «была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цуг лошадей в шорах с перьями, а назади, на запятках, букет. Так называли трех людей, которые становились сзади: лакей выездной в ливрее,

по цветам герба, напудренный, с пучком и в треугольной шляпе; гайдук высокого роста, в красной одежде, и арап в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанный турецкой шалью и с белою чалмой на голове. Кроме того, перед каретой бежали два скорохода, тоже в ливреях и в высоких шапках: тульи наподобие сахарной головы, узенькие поля и предлинный козырек. Так выезжали только в торжественных случаях, когда нужен был парад, а когда ездил запросто, то скороходов не брали, на запятках были только лакей и арап, и ездил не в шесть лошадей, а только в четыре, но тоже в шорах, и это значило ехать запросто». Крепостное право предоставляло дворянству практически неограниченную власть над сотнями и тысячами «своих людей», и дворянство беззастенчиво пожинало плоды их труда. Янькова почти не упоминает о тяжелом положении крепостных крестьян. Очевидно, она не отсылала пороть их на конюшню, но не видно, чтобы старалась улучшить жизнь этих людей. О том, как жилось в деревнях, может дать представление встреча Елизаветы Петровны с сельским духовенством в одной из её вотчин: «Какое же было моё удивление: священник приходит в валенках, а диакон и дьячок в лаптях и превонючих тулупах. Сначала я это терпела... потом мне это надоело, и я велела сшить всем трем сапоги и им подарила. Надобно было видеть их радость: уж так я их этим утешила», — заключает свой рассказ Янькова. Если в такой бедности жило сельское духовенство, то можно себе представить нищету, в которой пребывала паства. Тяжело жилось крепостным и в городе. Мы читаем в книге о том, как вздорная, жестокая генеральша А. Н. Неклюдова избивала до крови своего «управителя» из крепостных, который при этом стоял и все терпел. Чтобы крепостные девушки-вышивальщицы работали без отдыха, та же Неклюдова сажала их за пяльцы у себя в зале и косами привязывала к стулу, а чтобы, измученные многочасовым трудом, они не дремали вечером и кровь не прилиwała им к голове, «привязывала им шпанские мухи к шее».

Описывая подробности дворянского бытия, очень характерные для эпохи Екатерины II, Елизавета Петровна вспоминает: «Людей в домах держали тогда премножество, потому что, кроме выездных лакеев и официантов, были еще: дворецкий и буфетчик, а то и два; камердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят; ключник, два дворника, скороходы, кучера, фореиторы и конюхи, а ежели где при доме сад, так и садовники. Кроме этого, у людей достаточных, и не то что особенно богатых, бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть по немногу, а все-таки человек по десяти. Это только в городе, а в деревне — там еще всякие мастеровые, и у многих псаря и егеря, которые стреляли дичь для стола; а там скотники, скотницы, — право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревен-

ских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по двести человек прислуги, ежели не более». Далее Янькова отмечает, что в послепожарной Москве уже не было и не могло быть подобного, так как дворянская жизнь и средства измельчали: «Теперь и самой-то не верится, куда такое множество народа держать, а тогда так было принято, ведь казалось же, что иначе и быть не могло». Типичной в этом отношении была и жизнь в родительском доме в детские годы Елизаветы Петровны. «По воскресеньям и праздникам гостей съезжалось премножество, обедывало иногда человек по тридцати и более. И всё это приедет со своими людьми, тройками и четвернями: некоторые гостят по несколько дней — такое было обыкновение. Батюшка принимал всех приветливо и говаривал: «Он мой сосед... приехал ко мне в гости, сделал мне честь, — моя обязанность принять его радушно. Свинья тот гость, который, сидя за столом, смеется над хозяином; но скотина и хозяин, ежели он не почитит своего гостя и не примет ласково»... В прежнее время много бывало таких домов в Москве, куда все езжали по искреннему сердечному расположению, безо всякой особой надобности и без ожидания каких-нибудь веселостей, потому что умели чтить и уважать истинное достоинство, оттого и было больше общительности». Нравы тогда были просты, семейный уклад в значительной степени патриархален. Вспоминая годы отрочества и юности, Елизавета Петровна рассказывала: «Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их — не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было послушаться отца или мать и беспрекословно не исполнить, что приказано. Как это возможно? Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали: ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь... Да, такого панибратства, как теперь, не было; и, право, лучше было, больше чтили старших, было больше порядку в семействах и благочестия... Теперь все переменялось, не нахожу, чтобы к лучшему. Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало: что тогда был вечер, теперь, по-вашему, еще утро!.. День у нас начинался в 7 и в 8 часов; обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званый обед, в два часа; в пять часов пили чай... Поутру чай никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в девять часов... и как теперь бывают званые обеды, так бывали в то время званые ужины в десять часов. Балы начинались редко позднее шести часов, а к двенадцати все уже возвратятся домой. Так как тогда точно танцевали, а не ходили, то танцующих было немного. Главным танцем был менуэт, потом стали танцевать: гавот, кадрили, котильоны, экосезы. Одни только девицы и танцевали, а замужние женщины — очень немногие, вдовы — никогда».

Во времена молодости Яньковой сватать девушку приезжали

к её отцу, и он практически решал судьбу дочери. Возраст и «наружность» жениха, как правило, не имели значения. Считали, что «последнее дело смотреть на красоту; ежели от мужчины не шарахается лошадь, то, значит, и хорош». Поступали по пословице: «Суженого конем не объедешь!» Вот как Елизавета Петровна вспоминает день, когда она стала невестой. Её пригласили в гостиную, где рядом с отцом сидел жених. «Когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне: «Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал свое согласие, теперь зависит от тебя принять предложение или не принять... подумай и скажи». Я отвечала: «Ежели Вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться, соглашаюсь и я»... Батюшка стал перед образом лицом на восход и потом взял мою руку и передал Дмитрию Александровичу. «Вот, друг мой, — сказал он, — отдаю тебе руку моей дочери, люби её, жалуй, береги и в обиду не давай; её счастье от тебя теперь зависит». А мне батюшка примолвил: «А тебе, Елизавета, скажу одно: чти, уважай и люби мужа и будь ему покорна; помни, что он глава в доме, а не ты, и во всем его слушайся». Это называлось в наше время «ударил по рукам»; через несколько дней был назначен сговор. Моему жениху было 34 года, мне 25 лет... Жених привез мне (на сговор. — Г. З.) жемчужные браслеты, потом дарил мне часы, веера, шаль турецкую, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами, и множество разных других вещей... Мы жили близ Остоженки в своем доме, и венчали меня у Илии Обыденного. Подвенечное платье у меня было белое глазетовое... Волосы, конечно, напудрены и венок из красных розанов, — так тогда было принято, а это уже гораздо после стали венчать в белых венках из флер-д'оранж. Батюшке угодно было, чтобы свадебный обед был у него в доме... А мне, признаюсь, Дмитрий Александрович приходился по мысли: не то чтобы я в него влюблена (как это срамницы-барышни теперь говорят)».

Женское образование тогда практически отсутствовало: учились дома и кое-как. «Всё учение в наше время, — рассказывала бабушка, — состояло в том, чтобы уметь читать да кое-как писать, и много было очень знатных и больших барынь, которые кое-как, с грехом пополам, подписывали свое имя каракулями». В исключительных случаях, характеризуя женщин своего круга, Янькова сообщает об их образованности. Как о редкости она повествует, что одна ее родственница «и по-русски и по-французски писала очень изрядно и говорила с хорошим выговором».

Рассказы Елизаветы Петровны изобилуют интересными отступлениями, обобщениями, ярко отмечающими ту или иную бытовую подробность, событие, характерное для описываемого ею времени. Так, бабушка Аграфена Федоровна Татищева нюхала табак, — сообщает Янькова, — «как почти все в наше время, потому

что любили пощеголять богатыми табакерками... В наше время редкий не нюхал, а курить считали весьма предосудительным, а чтобы женщины курили, этого и не слыхивали; мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе, и ежели при дамах, то всегда не иначе, как спросясь сперва: «позвольте». В гостиной и в зале никогда никто не курил и без гостей в своей семье, чтобы... не осталось этого запаху и чтобы мебель не провоняла... Курение стало распространяться заметным образом после 1812 года, а в особенности в 1820-х годах: стали привозить сигарки, о которых мы не имели и понятия, и первые, которые привезли нам, показывали за диковинку».

Отметив, что «каждое время имеет свои особые привычки и понятия», которые вначале кажутся странными, а затем становятся «совершенно обыкновенными», Елизавета Петровна рассказывает о том, как в начале 1800-х годов её супруг, читая газеты, сказал: «Представь себе, какой вздор печатают: будто в Америке англичане хотят устроить дорогу, по которой будет ездить без лошадей, а посредством силы паров: это, значит, как в сказке будет ковер-самолет. Каких глупостей не печатают!» Тогда это казалось невероятным, а прошло 30 или 40 лет, и у нас у самих стали кататься по железным дорогам, и что тогда мы считали вздором, теперь оказывается возможным и становится самую обыкновенною вещью. Пароходам тоже дивились в первое время, и серные спички, которые сами зажигаются, совсем не редкость и не диковинка, а за сто лет все это сочлось бы едва ли не колдовством.

Вспоминая Москву своей молодости, бабушка неоднократно подчеркивает, что в те далекие годы в первопрестольной столице родственные связи очень уважали и считали: «Кто своего родства не уважает, тот себя сам унижает, а кто родных своих стыдится, тот через это сам срамится». И потому жили по пословице: «Родство люби счесть и воздай ему честь». Обычаи тогда строго соблюдали, «и когда кто из родственников умирал, носили по нём траур, смотря по близости или по отдаленности, сколько было положено. А до меня ещё было строже. Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год — черный шелк и можно кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надеть серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые. Да и молодую не похвалили бы, если б она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур два года: первый — шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое шерстяное, но не слишком светлое... Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли о-де-ко-

лон, о-де-лаванд и о-де-ларен де-гонри, по-русски — унгарская водка, о которой теперь никто и не знает. Богатые и знатные люди обивали и свои кареты черным, и шоры были без набора, кучера и лакеи в черном... Когда свадьбы бывали в семье, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест».

Уже к середине XIX века, по мнению Елизаветы Петровны, «все приличия плохо соблюдают». На склоне лет бабушка с досадой и даже с некоторым раздражением отмечает, как изменилась Москва: «Теперь нет и тени прежнего: кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя». И далее совсем как у Грибоедова в «Горе от ума»: «Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы — на что она стала похожа... Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их. Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет: не по имени живут. Говорят про старых людей, что мы хвалим только свое время; чего тут хвалить, когда все пошло вверх дном; домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнь скудна». Приводя примеры в подтверждение своих вельможных убеждений, Елизавета Петровна раскрывает интересные подробности московской жизни начала пятидесятых годов XIX века: «Что по-нашему за срам и стыд считали — теперь нипочем. Ну, слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах, или жили в меблированных помещениях, бог знает с кем стена об стену? А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки... На то и герб, чтобы смотреть у него, а не чтобы прятать — не краденый, от дедушек достался... В мое время за великий стыд почитали на ямских лошадях куда-нибудь ехать... а теперь это все нипочем: без зазрения совести, в простых наемных каретах, таскаются по городу среди белого дня, или того еще хуже, на извозчиках рыскают».

Вопреки брюзжащему пессимизму бабушки, внук ее, Д. Д. Благово, уточняет, что еще в 1845—1851 годах «веселил Москву своими многолюдными и блестящими праздниками» С. А. Римский-Корсаков — последний хлебосол первопрестольной столицы. Дом Сергея Александровича был хорошо известен в городе. Построили этот двухэтажный особняк в 1803 году. Стоял он против Страстного монастыря и главным фасадом выходил на площадь Тверских ворот, или Страстную (Пушкинскую). Дом уцелел во время московского пожара в 1812 году, как, впрочем, почти все строения на площади. Сначала домом владела Мария Ивановна Римская-Корсакова, мать Сергея Александровича, которая, по словам Яньковой, «была хороша собой, умна, ласкова,



приветлива и великая мастерица устраивать пиры и праздники... Она и сама любила повеселиться, и веселила Москву, давая балы для своих дочерей, которых у неё было пять». Гостей всегда было много в этом доме. Его посещали А. С. Пушкин и А. С. Грибоедов. Многих персонажей «Горя от ума» Грибоедов взял из окружения Римской-Корсаковой. Не случайно предания считали этот особняк «домом Фамусова», хотя прототипом самого Фамусова послужил дядя писателя А. Ф. Грибоедов — типичный представитель барской Москвы, проживавший на Волхонке. Сергей Александрович унаследовал хлебосольство своей матушки. «Каждую неделю, по воскресеньям, бывали вечера запросто, и съезжалось иногда более ста человек, и два, три большие бала в зиму. Но изо всех балов особенно были замечательны два маскарада, в 1845 и 1846 годах, и ярмарка в 1847 году: это были многолюдные блестящие праздники, подобных которым я не помню и каких Москва, конечно, уже никогда более не увидит», заключает Благово. Очевидно, в начале 1850-х годов особняк был продан и праздники в нем прекратились. В 1867 году в доме размещалось Строгановское училище технического рисования. В 1878 году центральную часть здания надстроили третьим этажом. В таком виде оно, сохранив черты классического стиля, еще в начале 70-х годов нашего века украшало Пушкинскую площадь. К сожалению, общественности столицы не удалось отстоять это историческое здание, и ныне оно навсегда утрачено. На его месте с 1975 года возвышается новый корпус издательства «Известия».

Интересны рассказы бабушки о театрах Москвы и подмосковных усадб. В конце XVIII — начале XIX века «в Москве жило много знати, людей очень богатых, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров». Такой театр считался критерием образованности хозяина, являлся признаком хорошего тона и потому был престижен. В публичных и «вельможных» театрах репертуар составляли драматические, оперные и балетные спектакли. Играли пьесы Я. Б. Княжнина, В. А. Озерова, А. О. Аблесимова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. П. Сумарокова, Н. П. Николаева, П. О. Бомарше, К. Гольдони, Ж. Б. Мольера, Д. Дидро, Вольтера, других отечественных и зарубежных авторов. Некоторые пьесы шли на французском языке. Оперные спектакли давали итальянские певцы, гастролировавшие в Москве, но исполнялись и оперы отечественных авторов: Е. И. Фомина, М. М. Соколовского, В. А. Пашкевича, М. Матинского. Так, в старом Петровском театре, который существовал с конца 1780 по 1805 год на месте современного Большого театра, шла одна из первых русских опер Соколовского и Фомина (либретто Аблесимова) «Мельник-колдун, обманщик и сват». Елизавета Петровна вспоминала, что ей были интересны пьесы Сумарокова, а итальянские оперы «ничего не стоили», по-

тому что «прескучные были эти итальянцы». Впрочем, она признается, что не была большой любительницей театра.

Московское светское общество не часто посещало в те времена публичные театры, «оттого что приличнее считалось бывать там, куда хозяин приглашает по знакомству, а не там, где каждый может бывать за деньги». И Елизавета Петровна заключает: «У кого же из нас не было в близком знакомстве людей, имевших свои собственные театры?» Одними из таких хороших знакомых были Апраксины. Степан Федорович Апраксин — фельдмаршал при императрице Елизавете Петровне и непосредственный начальник батюшки Яньковой по службе. Его сын Степан Степанович Апраксин — генерал, при императоре Александре I вышел в отставку и поселился в Москве, где долгое время избирался губернским предводителем дворянства. Знаменитая усадьба Апраксиных Ольгово располагалась «в соседстве» с имением Яньковых Горки. Елизавета Петровна вспоминала: «Чего только не бывало в Ольгове: был отдельный театр, свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охоты. Эти 20 или 25 лет, которые провели Апраксины у нас в соседстве, в летнее время и по зимам в Москве, было самое веселое время моей жизни, и хотя я сама не была никогда большою охотницей до рассеянной жизни, но тут мне приходилось поневоле тешиться для моих дочерей».

Описывая московский дом Апраксиных на Знаменке, краткая история которого приведена выше, Янькова дополняет, что он «был в свое время совершенным дворцом и по обширности одним из самых больших домов в Москве. В этом доме бывали такие празднества, каких Москва уже не увидит... В доме Апраксиных был отдельный театр с ложами в несколько ярусов, и когда в Москву приезжала итальянская опера, то итальянцы в этом театре и давали свои представления... Все знатные певцы, музыканты и певицы, которые бывали в Москве, непременно попоют и поиграют у Апраксиных, и много хорошего наслушалась я на своем веку в их доме». В труппе Апраксина выступали: известный тенор П. А. Булахов, один из его сыновей П. П. Булахов — композитор, автор популярных песен и романсов «Тройка», «Нет, не тебя так страстно я люблю», «Вот на пути село большое», комик Малахов, другие известные актеры того времени. После пожара 1812 года, уничтожившего деревянный государственный Арбатский театр, спроектированный К. Росси и построенный в 1808 году, казенная труппа будущего Большого театра выступала на апраксинской сцене с 1814 по 1818 год. В 1827 году А. С. Пушкин слушал здесь оперу Россини «Сорока-воровка».

Характеризуя театральную жизнь Москвы в течение многих лет, Янькова не обошла вниманием и деятельность известного Медокса, театр которого впервые посетила в отроческом возрасте. «И хотя зала была очень грязновата, тесна и невзрачна, но, не

видав лучшего, мы и этим были довольны». Очевидно, речь идет о так называемом «Знаменском оперном доме» — деревянной пристройке к особняку графа Р. И. Воронцова, которую в 1776 году арендовал московский губернский прокурор князь П. В. Урусов для организации публичных спектаклей. К нему присоединился Медокс Меккол (Михаил Егорович) Медокс, приехавший в Россию из Англии. Театр пользовался успехом. 26 февраля 1780 года во время представления трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец» театр сгорел. Урусов потерпел значительные убытки и отошел от реализации своей благородной затеи. Медокса же пожар не остановил, и он продолжил дело, создав «публичный Петровский театр» — предшественник Большого театра.

Кирпичное здание воронцовского особняка, построенное в 1760-е годы, сохранилось (улица Фрунзе, 12). В. И. Баженов считал этот дом одним из выдающихся произведений русской архитектуры. Первоначально он был простроен «покоем» (в виде буквы «п»). В прошлом особняк неоднократно перестраивался и современные формы классического стиля приобрел в 1816—1825 годах. Елизавета Петровна неоднократно бывала в бывшем воронцовском особняке, который одно время принадлежал её брату Николаю Петровичу Римскому-Корсакову. По преданию, Л. Н. Толстой описал это здание в «Войне и мире» как дом отца Пьера Безухова. Ныне в нем размещается Московская средняя музыкальная специальная школа имени Гнесиных.

Медокс, по словам Яньковой, был «большой шарлатан и великий спекулятор», но считался искусным механиком: «сделал премудреные часы с разными штуками, с музыкой и с фигурами, которые двигались и плясали... Этот Медокс по Москве расхаживал в красном плаще, и потому его прозвали кардиналом». Был он человеком энергичным, предприимчивым и состоятельным, владел в Москве домами, обширным садом за Рогожской заставой, «и он там устроил у себя для публики всякого рода увеселения: воксал<sup>9</sup>, гулянье, театр на открытом амфитеатре в саду, фейерверки и т. п. Многие туда езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие Гулякины и Транжирины», — вспоминала Елизавета Петровна. Воксалы являлись предшественниками будущих «эрмитажей». Они размещались в парках и представляли группу сооружений, включавшую летний концертный зал или театр, танцзалы, рестораны, трактиры. Медоксу принадлежал и воксал близ Дурного (Товарищеского) переуллка, недалеко от Таганской площади. Публику изобретательный хозяин развлекал также различными «механическими и физическими представлениями» — интересным зрелищем, основанным на технике сценических эффектов. Это доходное «дело» дало ему средства для строительства здания старого Петровского театра, возведенного по проекту архитектора

Х. Розберга всего за пять месяцев. Открытие театра состоялось 30 декабря 1780 года спектаклем по пьесе Аблесимова «Странник». В 1789 году Медокс разорился, и его детище перешло в ведение Опекунского совета, который оставил старого владельца директором. После гибели Петровского театра 8 октября 1805 года Медокс больше не занимался театральной деятельностью. Все бывшие его «увеселительные» парковые постройки сгорели в 1812 году. Умер Медокс в 1822 году.

Устраивали в Москве во второй половине XVIII века и различные массовые развлечения для детей: «...качели и балаганы; насажают нас в кареты, — вспоминала бабушка, — пошлют смотреть, как паяцы кривляются. Приехали какие-то итальянцы с кукольным театром, и это нас больше забавляло, чем трагедии и комедии».

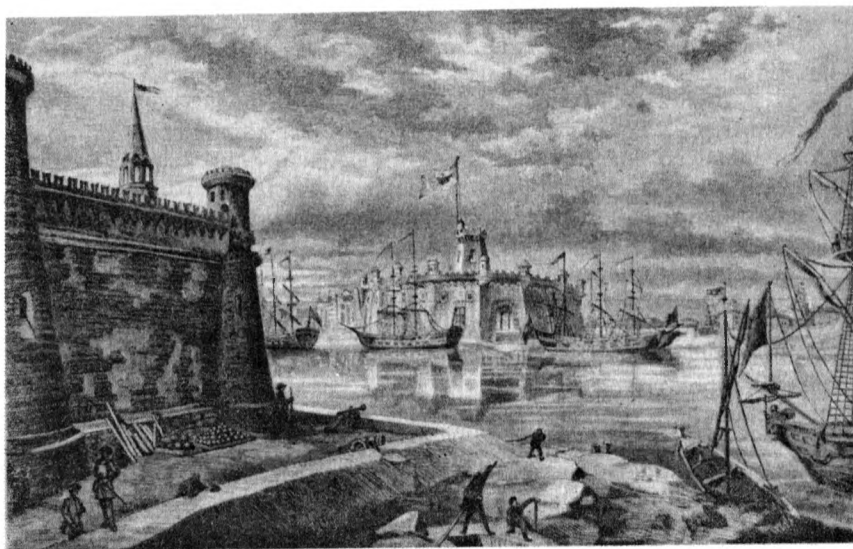
К середине XIX века, естественно, многое изменилось в жизни театральной Москвы. Но Елизавета Петровна не примет нового, и, отмечая, что прежде «в театр езжали реже, чем теперь, и не всякий», она со светским пренебрежением характеризует нового театрального зрителя: «Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр, а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства».

В старину организовывали в Москве праздники по случаю побед в войнах и в связи с заключением мира. Один из таких праздников был устроен в 1775 году на Ходыньском поле графом П. А. Румянцевым-Задунайским по случаю заключения мира с Турцией. Он проходил «с большими затеями: ...построены были разные крепости и города с турецкими названиями: где был театр, где зала для обеда, другая бальная, разные беседки и галереи. Торжество начиналось с утра и продолжалось весь день до поздней ночи, несколько дней сряду, с неделю, что ли. Все постройки были сделаны на турецкий лад с разными вычурами: башни, каланчи и высокие столбы, как при мечетях, и чего-чего, говорят, не было. Были построены Триумфальные ворота, граф Румянецв имел торжественный въезд на золотой колеснице, наподобие римских. Тут были на поле ярмарки, базары на восточный манер, кофейные дома, даровой обед и угощение кому угодно, театральные представления (нечто вроде рыцарского турнира, на котором сражались благородные девицы), канатные плясуны. Места для зрителей были устроены на подмостьях, в виде кораблей с мачтами, с парусами; и это в разных местах, которые названы именами морей: где Черное, где Азовское и т. п.».

Описывает Янькова и многочисленные публичные гулянья в праздничные дни в Сокольниках, в Марьиной роще, в Лефортове, на Красной площади, на Девичьем Поле, в Подновинском, в Не-

скучном и в других местах, отмечает особенности каждого, дает исторические справки.

Так, ранней весной устраивали гулянье на Красной площади и в Кремле. Елизавета Петровна называет его прекрасным гуляньем и дает краткое описание: «По Волхонке, мимо Василия Блаженного к Иверским воротам, кареты тянутся, бывало, на несколько верст; едешь, едешь — конца нет. Вдоль кремлевской стены, напротив гостиных рядов, расставлены палатки и столы, вроде ярмарки; торговали вербами, детскими игрушками и красным товаром. Это было больше детское гулянье. Потом Кремлем не велено было ездить, по причине ворот, — происходили замешательства».



М. Казаков. Увеселительные строения, воздвигнутые на реке Ходынке по случаю празднования мира с Турцией в 1775 году

Гулянье в Сокольниках первого мая было «очень давнишнее» и самое красочное. Янькова сообщает, «что ещё Петр I, в ту пору, как в своей молодости жил в Москве, ездил в Сокольничью рощу и любил пировать там с немцами и другими иноземцами, для которых расставлялись длинные столы. От этого Сокольничья роща и называлась долгое время «Немецкие столы», и в мое время говаривали еще: гулянье в «Немецких столах», то есть в Сокольниках. Туда очень много ездало и порядочного общества, и так как ездали многие цугом и в золоченых каретах, лошади в перьях, то гулянья бывали самые нарядные... Некоторые знатные люди посы-

ляли туда с утра в свои палатки поваров; пригласят гостей, обедают в одной палатке, а потом пойдут в другую сидеть и смотреть на тех, которые кружатся по роще в каретах... Дач в Сокольниках в прежнее время не было».

Гулянье в Лефортовском дворцовом саду — «больше для купечества и для Замоскворечья. В саду гулянье было для пешех, и щеголихи с Ордынки и бог весть откуда являлись пренарядные, в бархатах и атласах, с перьями, цветами, в жемчугах и бриллиантах. Так как это ужасная даль от той стороны Москвы, где мы жили, то мне и пришлось всего только один раз там побывать. Я думаю, потому туда мало господ езжало, что гулянье это летом,



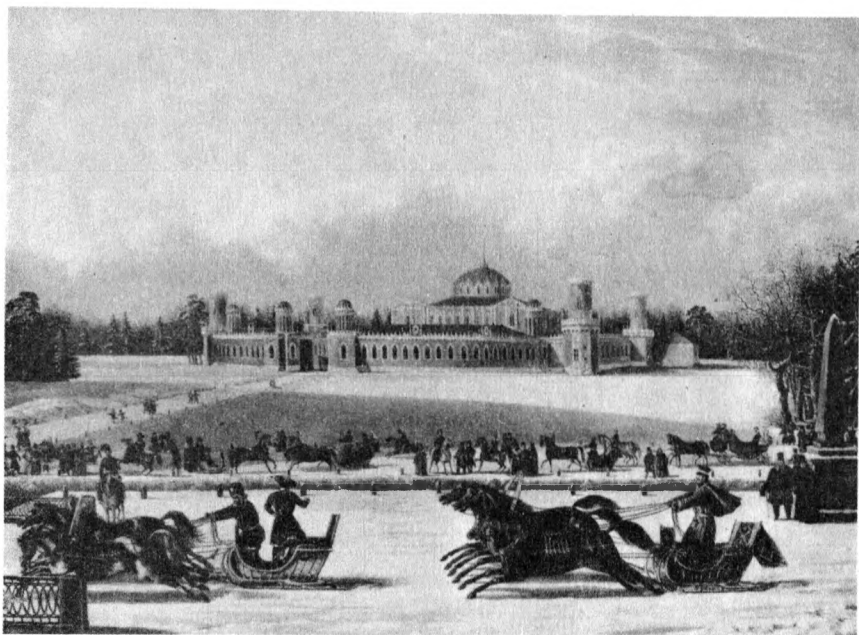
Ф. Дюрфельд. В Замоскворечье. 1800 год

когда уже многие по деревням разъедутся, а купечество всегда жилось в своих домах в городе, а не по дачам, как теперь».

Очень модным было посещение Нескучного сада в начале 30-х годов XIX века, где «для забавы московской публики» построили летний «непокрытый» деревянный театр, вмещавший 1500 зрителей. Театр имел партер, ложи и галерею во втором ярусе под ложами. Сцену этого воздушного театра «приспособили так, что деревья и кусты заменяли декорации. Два раза в неделю... там бывали представления, и зрителей собиралось довольно. В эти дни (один из них воскресенье. — Г. З.) бывало гулянье, а после

театра очень часто пускали фейерверк». Всего четыре года продолжались театральные представления в Нескучном саду. Мода в светском обществе на посещение этого парка прошла. Здание театра продали на слом, а в Нескучном саду стали проходить праздничные гулянья демократических слоев московского общества, чиновников, учащейся молодежи.

Переменчивая мода увлекла состоятельную публику из Нескучного сада за Тверскую заставу, в Петровский парк, где, как грибы, стали возникать «сиятельные» дачи. Здесь еще в 1775—1782 годах по проекту М. Ф. Козакова был возведен Петровский



Неизвестный художник. Санные гонки в Петровском парке.  
1830—1840-е годы

подъездной дворец, в архитектуре которого сочетаются элементы классицизма, декоративность древнерусских форм и черты готики. Земля, на которой построен дворец, находилась прежде во владении Высоко-Петровского монастыря. Отсюда и название дворца. Чтобы оживить эту местность, начальнику Комиссии для строения Москвы А. А. Башилову было поручено «устройство парка». Янькова характеризует Александра Александровича как «премилого и прелюбезного» человека: «Я встречала его еще молодым... Он был првеселого характера, большой шутник, но без примеси злословия, приятный собеседник и душа общества». Башилов «устроил ресто-

рацию», построил прекрасный деревянный театр и воксал близ дворца. «Тут и... начались гулянья по воскресеньям и по праздникам, театры и балы в воксале».

Благово дополняет воспоминания бабушки своими: «Когда начали разводить Петровский парк, я был еще так мал, что этого не помню, но с 1838 года я там бывал. Пред воксалом, на лугу, были устроены детские игры: качели, коньки, бильбоке (французская игра: на конце палки закреплена чашечка, в которую надо поймать бросаемый вверх шар, привязанный на длинной нитке. — Г. З.) и т. п., и мне случалось не раз там играть. Будучи моло-



Дитц. Благородное дворянское собрание и Охотный ряд.  
Конец 1840-х годов

дым человеком, я бывал нередко в воксале и в театре, где раз или два в неделю играли французские актеры тогда бывшей в Москве постоянной труппы, а по воскресеньям бывал русский спектакль. Мимо воксала было гулянье в экипажах и много гуляющих пешком. Пока был жив Башилов, парк процветал, и это продолжалось более пятнадцати лет. После воксал начал ветшать и в 50-х годах пришел в упадок». В память об «устроителе» Петровского парка были названы улицы: Башиловка (Башиловская), Старая Башиловка (Расковой) и Башиловская аллея (Новая Башиловка).

В 1783 году по предложению сенатора, действительного статского советника М. Ф. Соймонова и известного масона князя



А. Б. Голицына было создано московское Благородное (дворянское) общество, членами которого могли стать только потомственные дворяне, владевшие именьями в Московской губернии. 19 декабря 1784 года общество приобрело для своих собраний большой жилой дом князя В. М. Долгорукова, построенный в классическом стиле. Перестройку здания для общественных нужд и последующую (в начале 90-х годов XVIII века) пристройку осуществили по проекту Матвея Федоровича Казакова, создавшего выдающийся памятник архитектуры. С разрешения Екатерины II дом Благородного собрания стал в 1793 году фактически первой в истории России частной собственностью, юридически принадлежащей общественной организации — объединению московского дворянства. Сейчас это всем хорошо известный Дом союзов с знаменитым Колонным залом.

Первоначально собрания предполагалось созывать для выборов губернского предводителя дворянства и других должностных лиц. Однако, оставив для деловых встреч лишь один день в неделю — вторник, московское дворянство превратило свое собрание в увеселительное. Оно начиналось с конца октября и продолжалось до второй половины апреля. Елизавета Петровна довольно подробно вспоминает, как развлекались, веселились, отдыхали в доме московского Благородного собрания в годы ее молодости. В приемные дни — «куртаги», которые были учреждены в Москве, гости съезжались в дом Благородного собрания к 18 часам. Старухи и мужчины играли в карты, «барыни собирались с работами, а барышни танцевали... Танцующих бывало немного, потому что минут был танец премудренный: поминутно то и дело, что или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе, пожалуй, или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнешь в спину; мало этого, береги свой хвост, чтоб его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует». Присутствующие обычно становились вокруг танцующих и смотрели, «как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется. Тогда и в танцах было много учтивости и уважения к дамам. Вальса тогда еще не знали, и в первое время, как он стал входить в моду, его считали неблагопристойным танцем: как это обхватить даму за талию и кружить ее по зале». Благородное собрание охотно посещали. Первое время, «чтобы не было роскоши в туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям, и какой губернии был муж, такого цвета и платье у жены». Однако порядок этот удержался в течение всего двух сезонов. Уже через несколько лет на одном из балов в Благородном собрании «дамы и девицы все в платьях или золотых или серебряных, или шитых золотом, серебром, камней на всех премножество; мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с камнями; ...всегда

шелковые чулки и башмаки; явиться в сапогах на бал никто и не посмел бы, — что за невежество! Только военные имели ботфорты... Кроме того, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало... Некоторые девицы сурмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым... При императоре Павле никто не смел и подумать о том, чтобы без пудры носить волосы». Дворяне знатного происхождения носили обувь с красными каблукми, пренежав это «очень смешное доказательство знатности» у



Модные платья середины 1780-х годов

французов. К 24 часам веселье в Благородном собрании заканчивалось, и все разъезжались по домам.

С пренебрежением и даже с возмущением описывает Елизавета Петровна «уродливые» моды начала XIX века, особенно «которые пошли после двенадцатого года», называя безобразными чепцы и шляпы, пришедшие на смену парикам. Мужчины начали стричь волосы, перестали употреблять пудру, «а с пудрою вместе, конечно, и французский кафтан попал в отставку». Женские платья стали носить «очень узкие, пояс под мышками, спереди нога видна по щиколотку, а сзади у платья хвост. Потом платья

совсем окургузили, и вся нога стала видна, от того под цвет каждого платья были шелковые башмаки из той же материи, ...а на голове начали носить какие-то картузы... токи и береты, точно лукошки какие, с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами. Уродливее ничего и быть не могло; в особенности противны были шляпки, что называли кибитками... Много я видала этих дурачеств, — с негодованием сообщает Янькова, — застала фижмы, *les paniers* (паньё): носили под юбками нечто вроде кринолина, мушки, и пережила отвратительные моды 1800 и 1815 годов, когда все подражали французам, а французы старались на свой лад переиначить одежды римлян, туники, то есть, с позволения сказать, чуть не просто рубашки». Единственно разумным считает Елизавета Петровна отмену пудры для солдат после коронации Александра I: «Где же солдату завиваться и пудриться?» Изюм всех мод, какие были на протяжении ее долгой жизни, самыми лучшими Янькова считает моды 1780—1790 годов, а также 1840—1850 годов, когда носили «платье полное, пышное, длинное, лиф с мысом, а на головах наколки небольшие».

Дома, в которых жила или бывала Елизавета Петровна, находились в центре Москвы. От рождения и до замужества Янькова жила в старом родительском доме близ Остоженки, в приходе церкви Илии Обыденного<sup>10</sup>. Этот дом отец продал в 1798 или 1799 году и купил прекрасный каменный особняк на Зубовском бульваре. После свадьбы Елизавета Петровна поселилась в доме мужа близ Зубовской площади, возле церкви Неопалимая Купины<sup>11</sup>. Когда этот дом обветшал, Яньковы продали его в 1806 году и в том же году купили дом Бибиковых на углу Пречистенки и Мертвого переулка. «Дом был старый и ветхий, — сообщает Елизавета Петровна, — но нам было, главное, нужно место, и мы решили строиться сами, как удобно для нашего семейства». Этим «местом» Яньковы владели более 20 лет.

Возвратившись в Москву после изгнания наполеоновских войск, Яньковы наняли бельэтаж дома у церкви Бориса и Глеба<sup>12</sup>, на Никитском (Суворовском) бульваре, второго от угла Воздвиженки (проспекта Калинина), в котором жили, пока строился новый дом (взамен сгоревшего) в их владении на углу Пречистенки и Мертвого переулка. Десять лет (до 1838 года) проживала Елизавета Петровна в тихом Штатном (Кропоткинском) переулке, в приходе церкви Троицы в Зубове<sup>13</sup>, в небольшой городской усадьбе с маленьким садом. Когда флигель и надворные строения обветшали, Янькова продала усадьбу и наняла дом в Трубниковском переулке, близ Поварской (улицы Воровского), у церкви Рождества в Кудрине<sup>14</sup>. Последние 12 лет жизни Елизавета Петровна провела в доме дочери Аграфены Дмитриевны Благово, очевидно, на Плющихе, где дочь нанимала дом, принадлежавший Ло-

шаковского, «через два или три дома от Смоленской Божией Матери»<sup>15</sup>, но в приходе на Бережках»<sup>16</sup>.

Из всех домов, в которых жила Янькова, точно удалось установить адрес лишь одного, сохранившегося (в перестроенном виде) до недавнего времени. Это дом № 18 на Кропоткинской улице, тот самый «новый дом на Пречистенке», построенный Александром Михайловичем Татариновым (крепостной архитектор Яньковых) после изгнания наполеоновских войск из Москвы, в который Елизавета Петровна «переехала на житье» в 1818 году (дом снесен в 1967 году, на его месте — маленький сквер). «Тогда любили... каретные гулянья, которые были прекрасные и премноголюдные, — вспоминала Янькова. — Нить карет начиналась от Новинского (улица Чайковского), тянулась в два ряда по обеим сторонам, шла по Поварской, Арбатом, по Пречистенке от Знаменки и по Зубовскому и Смоленскому бульварам опять выходила на гулянье. В четверток на Святой неделе я обыкновенно приглашала к себе близких знакомых обедать, и после того молодежь садилась к окнам и смотрела на катающихся в каретах; некоторые, проехавшись по гулянью, приезжали к нам и оканчивали у нас вечер». Такое «бойкое место на Пречистенке» все же очень утомляло хозяйку «от беспрестанной езды» по улице, и в 1827 году Елизавета Петровна продала дом.

Редким памятником архитектуры первой половины XVIII — начала XIX века является дом № 9 по улице Огарева (бывший Газетный переулочок). Он представляет собой усадебный комплекс, состоящий из двух флигелей, построенных в 1810 году, и главного двухэтажного дома, сооруженного в первой половине XVIII века. Этот большой каменный дом, стоящий в глубине участка, в начале 90-х годов XVIII века принадлежал Яньковым. Елизавета Петровна была в этом доме только один раз в 1793 году: ездила с визитом к сестре своего жениха Дмитрия Александровича. Вскоре дом перешел к новому владельцу.

Почти 25 лет прожила Янькова на Пречистенке. Дворянская знать начала селиться в этом районе со второй половины XVIII века. Ей импонировало отсутствие здесь фабрик и заводов, ремесленников и магазинов. В конце XVIII — начале XIX века Пречистенка и окружающие ее переулочки становятся одной из самых аристократических частей Москвы. Здесь «все друзья и все родные». Постоянно то в одном, то в другом доме собираются гости, едят, пьют, музицируют, принимают заезжих знаменитостей, известных иностранных артистов, ведут светские разговоры, сплетничают, танцуют, играют в карты. «Одним из самых известных и уважаемых» в Москве в течение почти сорока лет был на Пречистенке дом Н. Н. Хитрово, которую Елизавета Петровна «знала коротко, уважала и любила» и, очевидно, посещала балы и танцевальные вечера, которые устраивала Настасья Николаевна; «рос-

коши в доме не было: зала была не велика, однако для пол-Москвы доставало места, и все веселились...». На Кропоткинской, в прилегающих улицах и переулках до наших дней сохранились дома, в которых бывала Янькова. Вот адреса некоторых из них.

Кропоткинская, 16. Здание, которое с 1922 года занимает Дом ученых, с конца XVIII века по 1816 год принадлежало (без пристройки, осуществленной в 1931 году) генералу от инфантерии Ивану Петровичу Архарову, московскому военному губернатору с 1796 года. Занимая до того должность обер-полицмейстера «отставной столицы», Архаров создал полицейский полк, солдаты которого своей грубостью и бесцеремонностью держали горожан в страхе. Москвичи нарекли тех стражей порядка «архаровцами». Тогда и родилось это крылатое слово недоброго значения — громила, хулиган. А в дворянской среде Архарова отличало чрезмерное хлебосольство, которое называли «кувырканием». «Дом его на Пречистенке был открыт для всех знакомых и утром и вечером. Каждый день у них обедали не менее сорока человек, а по воскресеньям давались балы, на которые собиралось все лучшее московское общество; на обширном дворе, как ни был он велик, иногда не умещались экипажи съезжавшихся гостей. Широкое гостеприимство скоро сделало дом Архаровых одним из самых приятных в Москве, чему особенно способствовала жена Ивана Петровича»<sup>17</sup>, Екатерина Александровна, урожденная Римская-Корсакова, которая приходилась Яньковой троюродной сестрой, «близкой по родству и сердечному чувству». Архарова была дружна с матерью А. С. Пушкина. Елизавета Петровна часто бывала в доме сестры вплоть до 1812 года; перед войной Архаровы переехали в Петербург. Во время пожара дом, очевидно, не сгорел, а обгорел, был восстановлен и продан Ивану Александровичу Нарышкину, дяде Натальи Николаевны Гончаровой. На свадьбе А. С. Пушкина с Гончаровой Нарышкин был посаженным отцом у невесты. С этими Нарышкиными Яньковы были «незнакомые домами», но встречались «где-нибудь в обществе». Впоследствии дом дважды перестраивали — в 1867 и в 1910 годах.

На соседней Остоженке стоит огромный дом № 38, построенный по проекту М. Ф. Казакова в классическом стиле в 1771 году с частичным использованием более древних строений XVII века. До 1805 года он принадлежал генерал-аншефу П. Д. Еропкину, который в 1786—1790 годах служил главнокомандующим (генерал-губернатором) Москвы. «Он был очень умен, благороден и бескорыстен, как немногие; в разговоре очень воздержан, в обхождении прост и безо всякой кичливости... Когда Еропкины живали в Москве, у них был открытый стол, то есть к ним приходили обедать ежедневно, кто хотел, будь только опрятно одет и веди себя за столом чинно», — вспоминала Янькова. В молодости Елизавета Петровна, несомненно, посещала этот извест-

ный всей Москве дом на Остоженке, так как Еропкин был «хороший батюшкин знакомый» и неоднократно вместе с супругой навещал ее отца. Значит, были и ответные визиты. Посещения Еропкиным «батюшкиного» дома непременно сопровождалось определенным церемониалом. «Приедет Петр Дмитриевич цугом в шорах, с верховым впереди, и остановится у ворот, а верховой трубит в рожок, и когда выйдут и отворят ворота и тоже из рожка ответят с крыльца, тогда он въедет». В 1812 году дом сильно пострадал от пожара, но вскоре был восстановлен. С 1806 года здание принадлежало московскому купеческому обществу, и в нем размещалось коммерческое училище, в котором учился писатель И. А. Гончаров. В этом доме родился историк С. М. Соловьев, его отец был служащим училища. Знаменитый историк прожил здесь 30 лет. В настоящее время здание занимает Государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза.

Бывала Елизавета Петровна и в доме бабушки Прасковьи Александровны Ушаковой — двоюродной тетки отца, которая после 1812 года и до октября 1824 года жила во 2-м Ушаковском (Хилковом) переулке, в собственном доме. Здесь, на территории дома № 22, за строением № 3, маленький дворик, войдя в который можно увидеть сохранившуюся часть того старинного барского особняка. Бабушка Прасковья Александровна, «благочестивая и добрая... любила меня и все родство свое», — вспоминала Янькова. У хлебосольной хозяйки часто гостила многочисленная родня, в том числе Настасья Федоровна Грибоедова с сыном Александром, будущим поэтом, композитором и дипломатом. В тихом Хилковом переулке, почти напротив дома П. А. Ушаковой, стоит здание (дом № 3), не выделяющееся архитектурными достоинствами. Это бывший особняк большой городской усадьбы, перестроенный в 60-х годах XX века. Когда-то от него к Москве-реке спускался прекрасный сад. Заросшие аллеи, пни погибших старых деревьев — все, что осталось от этого сада. В усадьбе с 1828 года размещалось «новоустроенное заведение минеральных вод», о котором не раз упоминает Янькова. Это был «всеевропейский курорт на Остоженке», известная лечебница, которую основал и содержал профессор Христиан Иванович Лодер, «действительный статский советник и кавалер», личность знаменитая в Москве (в 1812 году Лодер занимался устройством госпиталей для русской армии. По его проекту был построен в городе анатомический театр, в котором профессор читал лекции по анатомии. Он завещал Московскому университету «превосходный кабинет восковых препаратов анатомических аномалий»). Именитые (в том числе особы из царской семьи) и состоятельные пациенты принимали здесь курс лечения искусственными минеральными водами и длительными прогулками «скорым шагом» по дорожкам сада. Московские острословы окрестили их «лодырями». Здесь же в весенние и летние месяцы было

своеобразное место смотрин, «московский рынок женихов и невест».

Летние месяцы Янькова проводила в одной из своих усадеб. Более других она любила имение Горки, доставшееся мужу по наследству, что в 55 километрах от Москвы, на Клинско-Дмитровской гряде. Горки живописно располагались на высоком берегу реки Волгуши. «Очень хороша местность, и сад раскинут по горам», — сообщает Елизавета Петровна. Да к тому же от Москвы недалеко. Из «Рассказов бабушки» мы подробно узнаем не только о жизни в Горках, но и об истории и помещичьем быте многих усадеб, расположенных в обширном районе бывших Дмитровского и Клинского уездов (особенно вдоль реки Волгуши и ее притоков): от скромного имения в Хорошилове до богатых усадеб в Ольгове и Обольянове (ныне Подъячево). Впервые Елизавета Петровна ехала в Горки летом 1793 года. Места эти считались глухими: бесконечные леса, в которых водились даже медведи. «За мостом, где начинается сад, влево, был тогда большой и густой лес; нижний сад тоже был, как настоящий лес... Наконец въехали на прекрутую гору, проехали мимо церкви и остановились у крыльца... Дом совершенно новый, только что отстроенный и ничем еще внутри не отделанный. На следующее утро, когда я вышла на балкон, который в сад, я увидела очень хороший вид: направо и налево за палисадником рощи, перед домом за рекой. густой лес и только маленький просек напротив дома, узенький, как щелка». Так было в конце XVIII века. А что сохранило время до наших дней?

Когда я задумал писать о «Рассказах бабушки», решил вновь посетить эти места, но не традиционным путем, которым добирался сюда прежде (автобусом по Рогачевскому шоссе до села Каменки, затем, свернув направо, по другому шоссе всего 5 километров до Горок). Погожим октябрьским днем 1983 года я пошел от станции Икша Савеловской железной дороги. Миновал станционный поселок, затем дачный — «Берендеевку» и лесной дорогой вышел в «сельцо Хорошилово», в котором Янькова не раз навещала соседей. Первый ее визит в Хорошилово описан в книге. Ныне к «сельцу» примыкает большое распаханное поле, со всех сторон окаймленное лесом. Всего три дома. Усадебные строения не сохранились. Остатки липового парка островком прижались к живописному пруду, от которого я уходил по широкой старинной еловой аллее, изрядно поредевшей. От Хорошилова шел не менее трех часов лесом, который то поднимался на холм, то опускался в низину. Я наслаждался, казалось, бесконечным разнообразием пейзажей, тишиной, свежестью воздуха, прозрачностью ручья, чистотой умытого дождем леса. На шоссе, ведущее в Горки, вышел в двух километрах от бывшей усадьбы. Пересек мост над быстрой Волгушей. На повороте к Горкам, у дороги, растет огромная сос-

на — два сросшихся когда-то ствола. Ветви одного из стволов как бы указывают въезд на «прекрутую гору», куда ведет широкая асфальтированная дорога. Вдоль дороги старые деревья: справа — десяток лип, слева — столько же елей. Многие из могучих деревьев не дожили до наших дней — видны огромные пни. Справа от дороги усадебный парк, изрядно дополненный молодыми посадками. А на вершине холма — церковь, построенная в 1739 году. В 1809—1816 годах церковь перестраивали, дополнив двумя приделами. Решили заменить второй — деревянный — ярус колокольни кирпичным с благословения самого Кампорези, который заезжал в Горки вместе с Апраксиным по пути из Ольгова в Москву. Архитектор был представлен Яньковой. «А вот это... monsieur Compresgi, министр всех ольговских построек и верховный учредитель всех наших празднеств», — рекомендовал его Апраксин. «Я велела принести планы; Кампорези посмотрел, и потом пошли они осматривать колокольню и возвратились с известием, которое меня очень успокоило. «Можете еще два яруса строить, — сказал Кампорези, — и не опасайтесь: низ прочен и сдержит всякую тяжесть». Так я стала строить колокольню... и к концу осени кладка была окончена».

В настоящее время второй ярус колокольни — деревянный восьмерик.

У Яньковых в деревне был «свой живописец Григорий Озеров, который работал иконостас». Он был из дворовых людей и «умел отлично копировать. Впоследствии этого живописца Дмитрий Александрович продал с женой и дочерью Обольянинову по неотступной его просьбе за 2000 рублей ассигнациями». Так уживались у российского дворянства любовь к прекрасному и торговля творцами прекрасного. Церковь в настоящее время переоборудована под клуб, библиотеку, игротeku и спортивный зал дома отдыха, расположенного в Горках. От усадебных строений сохранились два кирпичных флигеля, сооруженные, очевидно, в первой трети XIX века. Вот и все постройки, которые сберегло время. С восточной стороны холм обрывается, и с гребня его по-прежнему открываются лесные дали изумительной красоты. Там несет свои чистые холодные воды стремительная Волгуша.

Теперь, очевидно, настало время рассказать и о внуке Елизаветы Петровны, которому мы обязаны появлением «Рассказов бабушки». Дмитрий Дмитриевич Благово родился в Москве 28 сентября 1827 года. Вскоре после своего рождения лишился отца, который скоропостижно скончался, и остался на попечении матери Аграфены Дмитриевны и бабушки. Получив под их надзором домашнее воспитание, он поступил в 1845 году на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1849 году. С 1849 по 1859 год Дмитрий Дмитриевич служил сначала в канцелярии московского военного генерал-губернатора



графа А. А. Закревского, а затем почетным директором богоугодных заведений в городе Дмитрове Московской губернии. Служба Благово оставляла ему много времени для досуга. Вращаясь в высшем московском обществе, Дмитрий Дмитриевич всегда находил возможность общаться с книгами, много читал. В эти годы он особенно близко сошелся с известными московскими библиофилами С. А. Соболевским и М. П. Полуденским. С 1853 по 1855 год включительно Дмитрий Дмитриевич безвыездно прожил в Горках. Он по-прежнему много читал, активно пополнял обширную наследственную библиотеку, которая хранилась в имении; длинными зимними вечерами слушал увлекательные воспоминания бабушки. Елизавете Петровне минуло тогда 85 лет, но она сохранила «твердую память, в особенности, когда речь касалась прошлого». Бабушка «была маленькая, худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом... Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей (1820-х годов), и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ей покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным, напротив того: невольно внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, с чувством достоинства оставила за собой право одеваться, как ей было удобно». Дмитрий Дмитриевич, человек образованный, хорошо понимал, что огромная информация, которую содержали воспоминания Елизаветы Петровны, имеет не столько семейное, сколько большое историческое значение. Он не мог позволить, чтобы все это кануло в Лету. Несколько раз внук просил бабушку диктовать ее воспоминания, но она не соглашалась и обычно говорила: «Статочное ли это дело, чтобы я тебе диктовала? Да я и сказать-то тебе ничего не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый». Тогда ему пришлось записывать украдкой, потом приводить рукопись в порядок. К счастью, Елизавета Петровна любила вспоминать о своей прошлой жизни, семейные предания и нередко, увлекаясь, повторяла одно и то же. Дмитрий Дмитриевич записывал эти воспоминания в течение 12 лет, присоединяя один рассказ к другому, проверяя и дополняя их уцелевшими семейными записками, справками из печатных источников. В результате сложилась большая рукописная книга. Но Благово не спешил печатать воспоминания. Наконец, в 1878 году «Рассказы бабушки» начал публиковать журнал «Русский вестник». В течение трех лет читатели с интересом знакомились с мемуарами Яньковой (1878, кн. 3, 4, 5, 7, 8; 1879, кн. 7, 10; 1880, кн. 4, 7). В 1880 году «Рассказы бабушки» появились в виде оттиска из «Русского вестника». В 1885 году воспоминания вышли отдельным изданием.

Но вернемся к биографии Благово. В 1861 году умирает бабушка Елизавета Петровна, а в 1865 году — мать Дмитрия Дмитриевича. Смерть близких людей он тяжело переживал. В жизни Благово произошла крутая перемена: в 1867 году он поступил послушником в подмосковный Николо-Угрешский монастырь, где провел 13 лет. В эти годы Благово опубликовал ряд исторических работ, некоторые из них изданы Обществом истории и древностей российских при Московском университете, членом которого Дмитрий Дмитриевич состоял. К наиболее заметным следует отнести «Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря» (М., 1872), «Дворцовое село Остров. Историческое описание» (М., 1875). Эти работы подготовлены по старинным грамотам и другим историческим документам. Дмитрий Дмитриевич перевел с английского на русский язык известное «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию, описанное бывшим при нем архидиаконом Павлом Алеппским» и опубликовал его в Чтениях Общества истории и древностей российских в 1875—1876 годах. В журналах «Воскресные рассказы» (1874—1876) и «Семейные вечера» (1882—1883) Благово публиковал стихотворные произведения, главным образом религиозного содержания, которые не представляют интереса для современного читателя. Свои работы Дмитрий Дмитриевич иногда подписывал псевдонимами Д. Д. Б...во или Д. Б. В 1880 году Благово перешел в Толгский монастырь близ Ярославля. Здесь он принял пострижение в монашество с именем Пимена, однако не оставил окончательно творческую деятельность: состоял членом Ростовского исторического музея. К концу 1882 года отец Пимен был уже иеромонахом, а еще через два года — возведен в сан архимандрита и в конце 1884 года получил назначение настоятелем церкви при русском посольстве в Риме. Там он и умер 9 июня 1897 года. Но осталась хорошая книга — «Рассказы бабушки» — главный многолетний труд Дмитрия Дмитриевича. Известные историки, искусствоведы, литературоведы, изучающие жизнь и быт Москвы и подмосковных усадеб второй половины XVIII — первой половины XIX века, начали ссылаться на воспоминания Янковой, как на документальный источник, вскоре после их опубликования и продолжают до наших дней. Среди них Н. И. Пыляев, который в книге «Старая Москва» (СПб., 1891), живо рисующей в основном быт и нравы города в XVIII — начале XIX века, приводит характеристику Н. Д. Офросимовой, взятую из рассказов Янковой. Эту своенравную барыню «все боялись за ее грубое и дерзкое обращение, и хотя ей все оказывали уважение, но более из страха». Офросимова была, по словам П. А. Вяземского, «воеводою на Москве, чем-то вроде Марфы Посадницы». Это та самая Офросимова, которую Л. Н. Толстой вывел в образе М. Д. Ахросимовой в романе «Война и мир». Цити-

руют воспоминания Яньковой: Ю. И. Шамурин в девятом выпуске интересного и роскошно изданного двенадцатитомника «Москва в ее прошлом и настоящем» (М., 1910 — ?), посвященного памяти историка И. Е. Забелина, характеризуя жизнь Москвы до пожара 1812 года; М. О. Гершензон в «Грибоедовской Москве» (вышло четыре издания: М., 1914, 1916, 1928, 1989), созданной на основе семейной переписки Римских-Корсаковых, рассказывая о древней столице первой половины XIX века и характеризуя героев своей книги. Ссылки на «Рассказы бабушки» неоднократно встречаются и в работах советских авторов от «Культурно-исторических экскурсий (Москва, московские музеи, подмосковные)» под общей редакцией Н. А. Гейнике (М., 1923) до капитальных исследований П. В. Сытина о Москве: «История планировки и застройки Москвы». М., 1950, 1954, 1972, т. 1—3; «Из истории московских улиц». 3-е издание, пересмотр. и доп. М., 1958. Бабушка Янькова помогла известному педагогу-краеведу А. Ф. Родину восстановить некоторые страницы богатой истории Кропоткинской и прилегающих к ней улиц и переулков. Исследование под названием «История территории Московского дома ученых и его окружения» Александр Феоктистович опубликовал в виде приложения к своим воспоминаниям («Из минувшего». М., 1965). В чрезвычайно интересной и глубокой по содержанию книге Е. В. Николаева «Классическая Москва» (М., 1975) приводится описание дворянского жилого интерьера 30-х годов XIX века, точно зафиксированное феноменальной памятью Елизаветы Петровны. С помощью ее воспоминаний Я. М. Белицкий раскрывает первые страницы истории известного особняка в бывшем Леонтьевском переулке, не забыв сказать похвальное слово и о самой Яньковой в небольшой книге «Улица Станиславского, 18» (М., 1986), изданной в популярной серии «Биография московского дома», которую с 1981 года выпускает «Московский рабочий».

Все эти книги — лишь незначительный перечень изданий, в которых имеются сведения, почерпнутые у Елизаветы Петровны Яньковой. А сколько еще увлекательного и познавательного содержат «Рассказы бабушки» для исследователей московской старины и любознательных читателей, интересующихся прошлым нашей столицы!..

Шесть лет искал я эту книгу. Несомненно, приобретение «Рассказов бабушки», да к тому же в хорошо сохранившемся издательском переплете, было редкой удачей, так как даже в знаменитом собрании Н. П. Смирнова-Сокольского, которое хранится ныне в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, книга имеется лишь в любительском коленкорovém переплете. А ведь Николай Павлович всегда старался подобрать издания в идеальном состоянии. Значит, эту книгу в лучшей сохранности приобрести ему не удалось. С того дня, когда библиофильское счастье

улыбнулось мне, прошло почти четверть века, но я больше не встречал «Рассказы бабушки» в букинистических магазинах. Когда эта статья уже была написана, мне стало известно, что в 1989 году книга переиздана в Ленинграде.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Кузьмин А. Василий Татищев. Кн. обозрение, 1986. № 21. С. 15.
- <sup>2</sup> Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. М., 1972, Т. 3. С. 128.
- <sup>3</sup> Там же.
- <sup>4</sup> Там же. С. 129, 202.
- <sup>5</sup> Снегирев В. Л. Московское зодчество: Очерки по истории русского зодчества XIV—XIX веков. М., 1948. С. 274.
- <sup>6</sup> Соколов П. И. Историческое описание торжества, происходившего при заложении храма Христа Спасителя на Воробьевых горах... 1817 года, 12 октября. М., 1818. С. 47—48.
- <sup>7</sup> Снегирев В. Л. Указ. соч. С. 274.
- <sup>8</sup> Там же. С. 276.
- <sup>9</sup> Воксалы впервые возникли в Англии в середине XVII века. Название получили по одноименному поместью близ Лондона, которым владел Вокс де Бронте, устраивавший в своем владении балы, спектакли, фейерверки. В Европе воксалы получили распространение в XVIII в. В Москве первое из подобных заведений появилось в конце 60-х гг. XVIII в. Его открыл антрепренер Мельхиор Гроти в саду графа П. Н. Трубецкого, возле Донского монастыря, арендованном для этой цели.
- <sup>10</sup> Церковь Ильи пророка Обыденного построена в 1702 г., трапезная — в 1818 г. Церковь перестроена в 1866—1868 гг., и тогда же сооружена колокольня по проекту архитектора А. С. Каминского. Расположена между 2-м и 3-м Обыденскими переулками, близ Остоженки. Охраняется государством.
- <sup>11</sup> Церковь Божьей Матери иконы «Неопалимой Купины» сооружена в 1680 г.; стояла во 2-м Неопалимовском переулке, близ Смоленского бульвара. Уничтожена в начале 1930-х гг.
- <sup>12</sup> Церковь святых Бориса и Глеба на Арбатской площади первоначально построена в 1527 г. Этот древний храм был сломан, а на его месте архитектор К. И. Бланк соорудил в 1763—1767 гг. другую церковь, которая являла собой прекрасный образец елизаветинского барокко отличной сохранности. Снесена в 1930 г.
- <sup>13</sup> Церковь Живоначальной Троицы «в Зубове» сооружена в Троицком (ныне Померанцев) переулке, у пересечения с Пречистенкой (ныне Кропоткинская), в 1642 г.; трапезная — середины XIX в. Церковь имела самую высокую в Москве великолепную шатровую колокольню, выстроенную в 1651 году. Памятник разрушен в 1932 г.
- <sup>14</sup> Церковь Рождества Пресвятой Богородицы «в Кудрине» сооружена в 1617 г.; достраивалась и перестраивалась с утратой некоторых древних частей до 1856 г. Стояла близ Новинского бульвара (ныне улица П. И. Чайковского), на уровне домов Ф. И. Шаляпина, что на противоположной стороне улицы Чайковского. Уничтожена в 1930-х гг.
- <sup>15</sup> Церковь Смоленской Божьей Матери первоначально была построена не позднее 1689 г. близ пересечения Плющихи со Смоленской улицей. На ее месте в

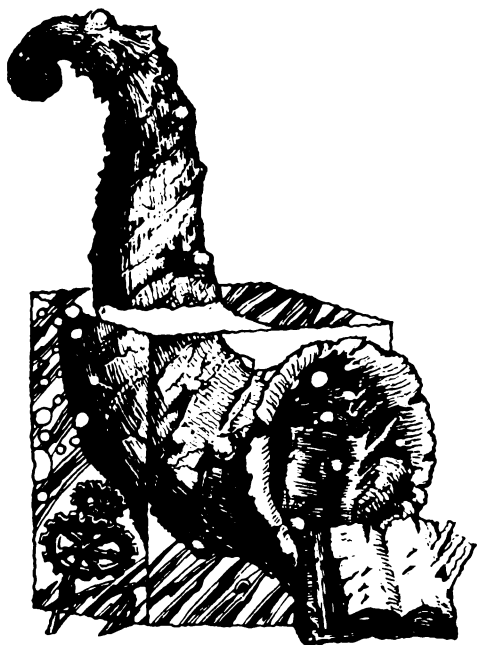
первой половине XIX в. соорудили новый храм, который тоже не сохранился.

<sup>16</sup> Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы «на Бережках» основана в 1413 г. На ее месте в XVII в. воздвигли новый храм (трапезная и колокольня построены в 1832 г.), который стоял на территории, образованной пересечением Ростовских переулков, близ Ростовской набережной Москвы-реки. В 1930-х гг. церковь обезглавлена, а в 1960-м — сломана.

<sup>17</sup> Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. Спб., 1903. С. 419.

# НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

*Николай Ильин*  
*ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БИБЛИОТЕКАРЯ*



## Николай Ильин

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БИБЛИОТЕКАРЯ

#### Публикация, предисловие и комментарии Сергея Шумихина

Николай Николаевич Ильин (1885—1961) с 1922 года находился на библиотечной и музейной работе. Ни библиофилом, ни библиоманом он, по собственному признанию, не стал, книгу ценил преимущественно со стороны содержания, знал же и любил ее по-настоящему. Н. Н. Ильин оставил после себя неопубликованные труды, хранящиеся ныне в ЦГАЛИ СССР. Это работы по генеалогии русских литераторов, биография писателя пушкинского времени Н. Ф. Павлова и несколько томов воспоминаний, озаглавленных «Жития моего описание»<sup>1</sup>, фрагменты которых предлагаются вниманию читателя.

Значение мемуаров для исторической науки общепризнано. И все же, вероятно, никто так остро и, так сказать, квалифицированно не ощущает ценность подобных свидетельств прошлого, как историк-архивист. Например, В. Д. Бонч-Бруевич, возглавляя в предвоенное десятилетие Государственный Литературный музей и активно собирая личные архивы, побуждал многих своих корреспондентов к написанию мемуаров. Отраднo, когда чувство ответственности перед потомками, выразившееся в стремлении запечатлеть черты ушедшей жизни, сочетается у автора с литературными способностями и природной интеллигентностью. Н. Н. Ильин этими качествами обладал. Кроме того, воспоминания написаны человеком, много лет работавшим с чужими рукописями, следовательно, лучше кого-либо понимавшим важность своего труда.

Для «Альманаха библиофила» отобраны фрагменты воспоминаний, наиболее близкие к тематике издания — работа в библиотеке Московского Румянцевского музея, впоследствии — Библиотеке им. В. И. Ленина, археографические экспедиции за находившимися в опасности книжными сокровищами бывшего имения князей Вяземских Остафьева и Троице-Сергиевой лавры в Загорске, служба в Государственном Литературном музее. Содержание полного текста «Жития...» значительно шире — оно включает и детство, и гимназические годы в Нижнем Новгороде, учебу на историко-филологическом факультете Московского университета, работу добровольцем-санитаром во время первой мировой войны и многое другое. Интересующихся отсылаем к публикации Е. Е. Гафнер и А. В. Кутищевой в 5-м выпуске сборника материалов ЦГАЛИ «Встречи с прошлым»<sup>2</sup>.

Как и любые мемуары, воспоминания Ильина субъективны. Из описания работы библиотек и музеев в 1920—1930-е годы сквозь портреты их ведущих сотрудников просвечивает иронично-язвительный, часто скептический характер автора. Ильин очень наблюдателен и зорко подмечает все те реалии «живой жизни» (по выражению В. В. Вересаева), которые из источников более официального характера, как правило, выпадают. Кстати, давно подмечено, что наиболее интересные мемуары оставили нам люди именно с таким складом характера. Бессмысленно выяснять, является ли общая субъективность мемуаров их достоинством или же, напротив, недостатком. Она — неотъемлемое видовое, генетически присущее этому роду исторических источников качество; более того, сама субъективность несет в себе некий источниковедческий потенциал. Характеристики тех или иных событий или лиц у Ильина в не меньшей степени служат характеристикой личности автора — весьма колючей, но симпатичной.

Другое дело, когда речь идет об ошибках памяти, фактических неточностях. Это тоже самая обыкновенная для воспоминаний вещь, но тут публикатор обязан, насколько это возможно, исправить в примечаниях ошибки мемуариста.

Публикация отрывков из «Жития моего описания» не дублирует публикацию во «Встречах с прошлым»; некоторые текстовые совпадения допущены в минимальном количестве, чтобы не нарушать связности повествования. Сохранены заголовки глав, принадлежащие Ильину; нумерация же глав снята. Купюры обозначаются отточиями в угловых скобках. В необходимых случаях конспективно излагается содержание опущенных частей текста.

## МОСКОВСКИЙ ПУБЛИЧНЫЙ И РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

В очертаниях Пашкова дома на Моховой улице архитектурный стиль Екатерининской эпохи достигает предельной степени величия и выразительности. Чудесный памятник отошедшей в вечность дворянской Москвы, подобно многим другим созданиям русского зодчества, остается как бы безродным, ибо утверждение, будто творцом его был русский зодчий Баженов, оспаривается. После Отечественной войны 1812 года в покоях дворца Пашковых помещался Благородный пансион, где воспитывались В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, А. И. Тургенев, М. Ю. Лермонтов и ряд других известных России лиц. Публичный и Румянцевский музей с его картинной галереей, этнографическими коллекциями и обширной библиотекой, по значению претендовавшей на 3—4-е место среди книгохранилищ царской России, обосновался в Пашковом доме лишь в 60-х годах прошлого века. Еще в 1914 году библиотека вытеснила оттуда в другое, специально построенное по соседству, помещение картинную галерею. Спустя с небольшим 10 лет та же участь постигла и этнографическое отделение музея. Книги, наводнившие до отказа Пашков дворец и позднейшие к нему пристройки, казалось, вот-вот хлынут наружу. {...} Ядром библиотеки послужили дорогие и редкие книги XV—XVIII веков, русские и иностранные, из собрания графа Румянцева. «От государственного канцлера графа Н. П. Румянцева на благое просвещение» — гласит надпись золотыми буквами над входом в огромный, двухсветный, в два яруса окон «Румянцевский» зал, где в высоких шкафах была расставлена эта библиотека. Позднее в состав библиотеки музея вошли, как пожертвования по завещанию, обширные книжные собрания известных русских библиофилов Вильегорского, Норова, Погодина, Скребицкого, Солдатенкова, Соболевского, Тихонравова и других, которые в некоторой своей части дублировали друг друга. С 1862 года сюда стало поступать от издателей по одному экземпляру каждой книги, прошедшей предварительную цензуру. Закон об «обязательном экземпляре» выполнялся неохотно: нередко присылались экземпляры испорченные, плохо сброшюрованные, с недостающими страницами. Добиться исправного экземпляра было нелегко, но все же возможно. Другое дело, когда провинциальные издательства вовсе уклонялись от доставки



обязательного экземпляра. За отсутствием средств обнаружить это было далеко не легко. Поэтому подбор русских изданий до 1862 года был просто случайный, более поздних — далеко не полный.

На дом книги не выдавались, порча и хищение их шли через читальный зал. Сдавая груды книг (число их не было ограничено), можно было взамен похищаемой подсунуть другую, так как проверка ограничивалась подсчетом корешков, и обман обнаруживался позднее, при расстановке книг на места, когда отыскать и уличить виновника было скорее делом случая. При выходе из читального зала был, правда, контроль, но это не препятствовало исчезновению не только книг обычного формата, но и фолиантов. (...) Сотрудники музея пользовались правом брать книги на дом. Для этого каждый снимал с полки нужную ему книгу и уносил ее с собой, сделав лично соответствующую запись в огромной, наподобие бухгалтерского гроссбуха, тетради, которую затем, по видимому, никто не просматривал. Когда в глубокой старости умер бывший главный библиотекарь Румянцевского музея С. О. Долгов, человек уважаемый и безусловно честный, при приеме оставленной им личной библиотеки обнаружилось свыше 900 томов книг, взятых им в разное время на свое имя из библиотеки и обратно не возвращенных по забывчивости и русской небрежности. За полувековое существование библиотеки множество книг было заставлено, т. е. поставлено не на свое место и в случае надобности не могло быть найдено и выдано читателю. Основная же масса книг, т. е. фундаментальная библиотека, имела только алфавитный каталог, составленный по старинке, на манер прусских библиотек. Несмотря на самоотверженную работу сотрудников вроде Н. Ф. Федорова, связавших всю свою деятельность с библиотекой, последняя отнюдь не могла похвалиться благоустройством и порядком. Для этого не хватало ни рабочих рук, ни средств. Казенные суммы на содержание музея отпускались ничтожные. Штат служащих, включая директора, библиотекарей, хранителей, библиотечных служащих, канцелярских и хозяйственных служащих и охрану, не превышал одного-двух десятков человек. Библиотечный персонал не в силах был справиться с обработкой текущих поступлений: брошюры, листовки, афиши и другой мелкий печатный материал в каталог не вводился, а складывался в груды в ожидании лучших времен и пожирался грызунами.

Вознаграждение штатных сотрудников было нищенское, и в музей поступали или лица, нуждавшиеся в книгах для собственных занятий наукой, предаваться которым можно было и в служебные часы, или оригиналы, вкладывавшие в это дело целую жизнь, на взгляд со стороны — чудачки, «не от мира сего».

Несмотря на недочеты в книжном составе и работе библиотеки Румянцевского музея, много поколений русской интеллигенции,

проведших студенческие свои годы в Москве, с глубокой благодарностью вспоминают читальный зал на Знаменке, а позднее — в Ваганьковском переулке, широко и гостеприимно открывавший свои двери для всех без исключения желающих заниматься наукой.

Октябрьская революция, разрушая повсюду старые правительственные, сословные, общественные и частные учреждения, столкнулась с тем, что многие из них имели собственные обширные библиотеки. Немало книг уцелело после разгрома помещичьих усадеб. Новые вершители судеб на местах подозрительно относились к очагам старой культуры <...>. Дурман, исходивший от книжных масс, отпечатанных по старой орфографии, казалось, грозит распространиться и заразить победоносный пролетариат. Проще и надежнее было бы сжечь все прежние книги. Кое-где в глухих углах дымились уже костры. Но эта тенденция встретила противодействие в центре, и стихийное истребление старых книг было приостановлено<sup>3</sup>. Над беспризорными книжными массами распространилась эгида новой власти: из разграбленных имений в городские центры потянулись возы и грузовики с русской и иностранной литературой XVIII—XIX столетий, груженной навалом, словно картофель. В городах книги сваливались грудой до потолка в пустых залах каменных помещений, в деревянных сараях: что оказывалось свободным. В Петербурге, переименованном позднее в Ленинград, образовался Государственный книжный фонд из нескольких миллионов томов изданий, русских и иностранных. Публичная библиотека черпала из этого фонда преимущественно уникальные экземпляры и иностранные раритеты, так как в книгах обычного типа она не нуждалась, получая обязательный экземпляр, доставлявшийся ей с начала XIX века, да и казенных средств на содержание и комплектование она имела достаточно.

Иное дело библиотека Румянцевского музея с ее случайным составом и скудными средствами. Ленин, когда-то занимавшийся в читальном зале музея, интересовался судьбой библиотеки и разговаривал об ее устройстве с новым директором Анатолием Корнелиевичем Виноградовым, неглупым и даже талантливым человеком, но слишком уже примитивным и грубоватым, как бы топорным. Бывший ученый секретарь музея, вскоре после Октября он сумел занять место князя В. А. Голицына. На посту директора Виноградов был недурным администратором — хозяином кулацкого типа, приобретателем, стяжателем, собирателем. Прекрасно разбиравшийся в людях Ленин поручил ему заложить фундамент будущей библиотеки, которая позднее была преобразована в Государственное книгохранилище Союза Советских Республик. <...>

На правах читателя я посещал Румянцевский музей еще в 1902 году, когда действовал так называемый старый читальный зал, вход в который был со Знаменки. Прямо против входной

двери была нижняя площадка лестницы, ведущая в Румянцевский и читальный залы. Направо от нее была продолговатая комната с вешалками для верхней одежды посетителей; дверь налево вела в анфиладу из 4—5 комнат с массивными сводчатыми потолками, по рисунку оконных прорезов с железными решетками напоминающих полуподвальное помещение. Здесь находилась тогда канцелярия музея, переведенная позднее в принадлежащий музею дом на Моховой улице. На 2-м этаже над прежней канцелярией был расположен старый читальный зал.

В 1921 году в анфиладу комнат налево от входа помещался Отдел общей регистратуры (т. е. хронологического инвентаря). Рабочие столы 4—5 сотрудников регистратуры ютились, впрочем, в одной комнате; остальные, за исключением первой, были завалены горами книжного фонда. Первая была разделена книжными шкафами на две части. Обращенная к окнам половина служила проходом в другие комнаты; в темной стояли большой диван, обитый кожей, несколько кресел и стол. Здесь, как и прежде, разогревались самовары, а служащие пили чай и курили. Зимой это было подобие клуба, где застывшие от стужи научные сотрудники коротали урочные часы. Дым самовара расстилался в воздухе густой зловонной пеленой. Лиц нельзя было различить: слышались голоса, смех, шуршанье шагов о веревочный ковер. Тепло от самовара и дыхания собравшихся, кипятков, мягкий диван и возможность поболтать манили сюда и не одних курильщиков. <...>

В Отделении рукописей прочно и бессменно сидел некий Г. П. Георгиевский, цепко державший в своих руках фактическую монополию на опубликование рукописных материалов из собраний музея. Подписанные его именем не всегда грамотные публикации можно встретить в разных научных изданиях, журналах и сборниках на протяжении почти 40 лет. Георгиевский, как дракон, охранял доступ к неиспользованным рукописям музея от сторонних лиц. <...> Рассказывали, как некая Л. В. Крестова, занимавшаяся в Рукописном отделе музея, случайно увидела на одном из столов подлинную рукопись дневника А. О. Смирновой, которую тщетно разыскивали тогда так называемые «пушкинисты», опубликовавшие только записки ее дочери. Крестова проследила незаметно, куда Георгиевский спрятал эту ценную рукопись, и, спустя некоторое время, подняла официально вопрос о подготовке ее к печати. Тогда Георгиевский категорически заявил, что требуемой рукописи в собраниях музея нет и не было, и, только когда Крестова указала точно, где она хранится, Георгиевский нехотя уступил настойчивому требованию директора музея выдать рукопись для работы.

«В разговорах друг с другом некоторые пожилые служащие употребляли местоимение «ты». Странно было, что их лицам придавало сходство выражение важности, неподвижной и загадочной. Позднее мне разъяснили, что все эти персонажи причисляли

себя к антропософам. В пору занятий своих философией об этом течении я не слышал, а в дальнейшем же никакими течениями не интересовался. (...) Типичным представителем этой высшей касты был заведующий Отделом редких книг Н. П. Киселев. Его докторальный тон сначала изумлял, затем раздражал, а в конце концов только забавлял. О сущих пустяках он вещал с видом жреца и самые потертые истины произносил, как пророческое откровение. Была, однако, сфера, в которой Киселев был действительно непогрешим, словно римский папа в делах церкви. Сведения его в области редкой антикварной книги были поразительные. Это был не простой знаток-коллекционер или практик-любитель, а ученый-исследователь, владевший литературой предмета. Рассказывают, будто ходкий М. И. Щелкунов составил первое издание своей книги «Книгопечатание» исключительно на основе пояснений, которые мимоходом делал Киселев своим помощникам, устраивая в 1922 или 1923 году книжную выставку по истории книгопечатания. (...) Говорили, что влечение к книжным раритетам носит у Киселева оттенок маниякальности. Однако впоследствии, когда я имел случай ознакомиться с составом его личной библиотеки, свидетельствующим о своеобразных теоретических интересах ее хозяина, я убедился, что подозрение это лишено оснований. Библиомагия представляет нечто другое: это настоящее психическое заболевание. В 30-х годах я заведовал Загорским филиалом Ленинской библиотеки. Во время служебных наездов в Москву в 1934 году я познакомился с новым временным сотрудником книжного фонда библиотеки неким Андреевым, невзрачным на вид человеком лет 30, показавшимся мне страстным книжником. При виде редких книг лицо у него преображалось, становилось сосредоточенным и вместе возбужденным: глаза светились, как у хищного зверя. Образованный сотрудник, понимавший толк в книгах, казался ценным приобретением, и заведующий книжным фондом Воскресенский охотно возобновлял с ним договоры. Так прошло с лишком 3 года. Неожиданно, по каким-то причинам, у Андреева сделали обыск, во время которого обнаружилось такое количество похищенных им из фонда книг, что за ними пришлось посылать полуторатонный грузовик. Кража в таких масштабах ради коллекционирования — явный признак психической болезни.

(...) В рассказе о Румянцевском музее первой половины 20-х годов настоящего столетия нельзя не вспомнить ученого секретаря (...) Н. Ф. Гарелина. Сын известного иваново-вознесенского фабриканта, заброшенный в Пашков дом капризом революции, Гарелин нашел здесь деятельность по своему вкусу и влечению. Связь с книгой у Гарелина была родовой традицией. Предок Н. Ф. Гарелина в 60-х годах прошлого века основал в Иваново-Вознесенске городскую общественную библиотеку. Сам Н. Ф. Гарелин с юношеских лет интересовался книжным и издательским делом

и в бытность свою в Германии изучал его в лейпцигской книжной фирме Хирземана. Знания его в книжном деле были многосторонними и глубокими, более близкими к жизни, чем у Н. П. Киселева. Гарелин был одним из основателей так называемого «Общества друзей книги», объединившего в 20-х годах виднейших московских библиофилов. Содержание его докладов на собраниях Общества свидетельствовало об изысканности вкуса, свойственной лишь тонким специалистам. Человек мягкий и деликатный, он умел, когда это требовалось, быть настойчивым. <...> Однако его мягкость в отношении подчиненных ставила его нередко в неловкое положение. <...> Женившись на вдове с двумя дочерьми, Гарелин для содержания семьи в это трудное время работал дни и ночи. Слабое здоровье было подорвано, и в январе 1926 года Гарелин не вынес скарлатины. Провожая его на кладбище, все чувствовали, что образовавшуюся пустоту нельзя будет заполнить. Так это и оказалось.

<...> При поступлении в музей я был зачислен в отдел регистратуры и, получив через некоторое время от И. А. Солодкова необходимые инструкции, был посажен в дальнюю комнату анфилады за регистратурой, чтобы разбирать и регистрировать находившиеся там книги. Книги были по преимуществу иностранные, из библиотек графини Паниной, графа Шереметева, князя Орлова-Давыдова, собирателя эротики Пашуканиса и других, капитальные издания XVI—XIX веков, вроде *Patrologia Migne*'я, *Monumenta Germaniae* Пертца, *Grande Encyclopedie* Дидро и Д'Аламбера и т. п., роскошные ботанические, зоологические, архитектурные атласы, альбомы художественных гравюр, собрание актов исторических и юридических; первые издания авторов итальянских, испанских, французских и немецких на латинском и национальных языках по философии, истории, географии, естествознанию, архитектуре и искусству, частью фолианты в пергаменте и свиной коже, большинство в кожаных переплетах с золотым тиснением. Всего около 6—8 тысяч томов хранились даже не в штабелях, а навалом в грудах по всему полу комнаты в полнейшем беспорядке. От тяжести верхних слоев часть книг была повреждена, помята, порвана, переплеты надорваны или отстали вовсе.

Не без труда освободив на полу возле окна небольшую площадку для рабочего столика и стула, я засел за работу. При разборе книг я составлял по возможности комплекты и, зарегистрировав, бережно складывал отработанный материал в соседней комнате в штабель, чтобы книги более не портились и не рвались. Работал я с большим увлечением. Проходившие через мои руки прекрасные книги произвели на человека неискущенного глубокое впечатление. Библиофилом, ниже библиоманом я, правда, не сделался и продолжал ценить книгу преимущественно со стороны

содержания, но зато яснее стал различать в ней памятник культуры, зеркало понятий, быта и реальных возможностей эпохи, определившей ее бытие.

⟨...⟩ Мне пришлось перейти на работу в другое место. Требовалось безотлагательно перевезти в Пашков дом собрание книг бывшей московской епархии, помещающееся в Епархиальном доме в Лиховом переулке у Петровских ворот. Это была богатейшая из русских библиотек этого типа. В составе 150 000 ее томов особую ценность имели антикварные книги-инкунабулы, палеотипы, эльзевиров, альдины, первенцы русской печати XVI—XVIII веков. Московский Совет передал библиотеку целиком, вместе с последним ее хранителем, Вячеславом Никандровичем Самуиловым, настаивая на немедленном их вывозе. На эту работу были мобилизованы научные сотрудники мужского пола — С. Н. Колосов, С. И. Арсеньев, В. О. Нилендер, В. Д. Пятницкий и др. Операция эта при тогдашних темпах работы потребовала нескольких месяцев. За ней последовала переброска по тому же адресу 40 000 томов медицинской библиотеки бывшего Общества русских врачей, помещавшейся на Арбате. Во всех этих работах я принимал непосредственное участие, и регистрация книг в помещении рядом с регистратурой прервалась.

Привезенные в Пашков дом книги по-прежнему складывались в беспорядочные груды в старом читальном зале и образовали там ту книжную гору, о которой я говорил выше.

Вскоре, однако, выяснилось, что комнату, где я до того работал, и вообще все помещение прежней канцелярии вместе со старым читальным залом предполагается переделать в новое пятирусное железное книгохранилище, для чего сводчатый потолок нижнего этажа, на который опирался пол старого читального зала, будет разобран. Перестройка эта была вызвана настоятельной необходимостью. ⟨...⟩ Ленин лично утвердил смету на постройку нового железобетонного книгохранилища, взял от директора Виноградова письменное обязательство, что намеченная работа действительно будет выполнена. Принимая во внимание технические возможности, дать подобное обязательство было не так уж просто. Предстояло прежде всего освободить предназначенные для перестройки помещения, т. е. старый читальный зал и находившиеся под ним комнаты, от хранившихся там громад книжного фонда. Работа велась с лихорадочной поспешностью и в процессе ее выработалась окончательно оригинальная система хранения фонда. Основная масса книг из прежнего помещения была перебросана в небольшую церковку во дворе музея и свалена в ящиках, мешках, ⟨...⟩ как дрова, навалом, чуть ли не до купола. Не только часть церкви, предназначенная для молящихся, но амвон и алтари были забиты книгами до отказа, так что проникнуть туда было невозможно иначе, нежели карабкаясь на гру-

ды книг, с опасностью если не для жизни, то для обуви и одежды. Крохотная паперть была завалена ящиками с книгами так, что открыть дверь как следует было нельзя и приходилось протискиваться, как в щель.

Тысяч до 50 единиц, и в том числе много художественных изданий и альбомов, было переброшено в здание бывшей картинной галереи, от которой оставалась лишь картина А. А. Иванова «Явление Христа народу», и размещено в длинном узком коридоре, находившемся направо от входа, у брандмауэра. Книги здесь были уложены около глухой стены штабелем около пяти метров длины, двух метров ширины и трех метров высоты. Бетонный пол здания облегченного типа, отстроенного в 1914 году, не был рассчитан на такую огромную тяжесть и стал выгибаться кораблем. Штабель угрожающе накренился. Для предотвращения катастрофы вокруг наружной части штабеля, по указанию архитектора музея Моркова, была спешно построена клетка из прочного леса, опирающаяся на противоположную стену. Книги все же продолжали оседать, и напряжение на клетку было таково, что за целостью ее приходилось зорко следить.

60 тысяч томов медицинской библиотеки были свалены в груды в одном из свободных залов нижнего этажа картинной галереи. Книжным фондом была забита комната, где раньше стояли вешалки для одежды посетителей старого читального зала, налево от входа со Знаменки; пространство под лестницей вестибюля того же подъезда, самая лестница, все углы Румянцевского зала, хоры нового читального зала, где позднее был устроен так называемый «специальный читальный зал»; груды фонда лежали в проходах и свободных углах действующих книгохранилищ, были распаханы на полках вперемешку с действующей библиотекой и т. д. Все это покрывалось простынями пыли и являло зрелище полного хаоса, по существу, довольно преступного.

⟨...⟩ В ту зиму 1922/23 года получила принципиальное признание моя более чем скромная ученость. Музей внес меня в список сотрудников, предоставляемых для квалификации в ЦЕКУБУ (Центральную комиссию по улучшению быта ученых). Не ожидая от этого прока, я не справлялся о результатах. Вдруг меня спрашивают, почему уже третий месяц я не беру раздаваемого ученым «академического пайка». Съестные припасы сразу ринулись лавиной: за 3 месяца около двух пудов мяса, трех кукурузной муки, почти полпуда сливочного масла, сахар, рис... Три четверти мяса пришлось раздать, остальное я потребил сам на равных основаниях с мышами, которых около меня развелось великое множество. Одновременно с пайком я стал получать «дополнительное академическое обеспечение», составлявшее по рангу моей учености что-то вроде 3 рублей в месяц по довоенному курсу 1914 года, а кроме того, ближайшей же весной с половины ап-

реля 1924 года провел бесплатно полтора месяца в доме отдыха ЦЕКУБУ в «Узком», как называлось имение князей Трубецких, где умер В. С. Соловьев. Кормили отлично, и публика в большинстве была безобидной и не чванная. <...>

В Узком я имел случай встретиться впервые с Ольгой Ивановной Поповой, старшую сестру которой, Евгению, я знал еще гимназисткой в Нижнем Новгороде; вторая ее сестра Татьяна одновременно со мной подвизалась в Румянцевском музее. Эта последняя, маленькая особа, по существу добрая и безобидная, отличалась строптивостью и прямоотой нрава и всегда кого-нибудь распекала, вступаясь за поправленную справедливость. В Узком за общим столом я заметил вблизи от себя небольшую темноглазую фигурку в коричневом платье, испытующе озирающуюся кругом. <...> Оказалось, что это была не гимназистка, а научный сотрудник архива Московского Исторического музея О. И. Попова, словом, ученая женщина, в потенции автор печатных трудов; что в эту пору много времени и исследовательского темперамента было ею затрачено, чтобы доказать, будто некрасовская «русская женщина» М. Н. Волконская, живя в Сибири, изменяла своему мужу с декабристом Поджио. Это исследование позднее было напечатано<sup>4</sup>. Но лишь по прошествии многих лет, когда война с гитлеровской Германией была закончена, стало известно, что это исследование О. И. Поповой читалось и за рубежом. Следуя из эмиграции к месту, назначенному ему для жительства, через Москву, внук М. Н. Волконской не преминул отыскать О. И. Попову, работавшую тогда в архиве Государственного Литературного музея. Представившись, он прямо спросил Ольгу Ивановну, для чего та, не имея веских оснований, решилась опорочить незапятнанное имя его бабки и происхождение сына последней. Ольга Ивановна Попова с достоинством отвечала, что она действовала исключительно в интересах научной истины, и повторила все соображения, высказанные в упомянутой ее статье. Волконский резко возразил, что всего этого, по его мнению, слишком мало, и в доказательство происхождения своего от декабриста Волконского сослался на явное фамильное свое сходство с последним. О. И. Попова и тут не растерялась и посоветовала собеседнику не волноваться, а радоваться своему происхождению от такого «яркого и оригинального человека, как Поджио, тем более что С. Г. Волконский ничем не выделялся».

Единственный свидетель этого ученого диспута Н. В. Арнольд уверяет, что, уступая неотразимости последнего аргумента, Волконский, махнув рукой, ретировался со словами: «Сами вы яркая и оригинальная личность!»

<...> Зимой 1925 года Московский Публичный и Румянцевский музей прекратил свое существование и обратился в Публичную библиотеку имени В. И. Ленина. Известная надпись: «От го-



сударственного канцлера графа Н. П. Румянцева на благое просвещение» — впрочем, сохранилась, равно как и портрет «казанской помещицы» в Румянцевском зале<sup>5</sup>.<...>

## КНИЖНЫЙ ФОНД И «КОШКИН ДОМ»

В 1926 году в составе Отдела хранения Ленинской библиотеки книжный фонд был выделен в особый подотдел, и во главе его был поставлен я.

Книги, числом далеко перевалившие за миллион томов, уже ряд лет лежали горами неразобранные и создавали в библиотеке лишь беспорядок и тесноту. Читатель вместо нужной ему книги получал иногда дефектный экземпляр или даже «отказ» за неимением в действующем каталоге библиотеки, а между тем исправный экземпляр или даже несколько их лежали в горах неразобранного фонда, откуда извлечь что-либо не представлялось возможным.

Какие именно книги имелись в фонде и чего там не было — никто хорошенько не знал. Между тем на девятом году революции отношение к старой дореволюционной книге, превалирующей в фонде, изменилось. Возникший постепенно ряд так называемых исследовательских учреждений нуждался в ней для своих работ. Одновременно старая книга получила и рыночную ценность. Разговоры о том, что в Ленинской библиотеке книжные громады являются мертвым капиталом, попадали прямо в цель. В фонде Ленинской библиотеки было примерно 25—30 % книг, уже имевшихся в ее каталоге в достаточном для нее числе экземпляров, а следовательно, вовсе ей ненужных. Эти сотни тысяч дублетов могли быть переданы в другие библиотеки и разгрузить занимаемые ими помещения.

При таких условиях дальнейшее пребывание в аморфном состоянии накопленных книжных громад ничем более не оправдывалось. Волей-неволей администрации библиотеки пришлось озаботиться приведением их в известность и порядок, удобный для использования по прямому назначению. С этой целью мною, совместно с ученым секретарем библиотеки Н. Ф. Гарелиным, была выработана система обработки фонда, слагающаяся из следующих последовательных процессов:

1. Разбор наличного печатного материала для составления комплектов книг и периодических изданий и расстановка их по формату на стеллажах.

2. Составление на них опознавательных карточек с временным шифром и общей оценкой сохранности данного экземпляра.

3. Отбор части фонда, необходимой для пополнения библиотеки, и отдельно дублетов.

4. Расстановка тех и других на полках (по шифрам).

5. Подбор отдельно карточек «на пополнение» и на «дублеты» в алфавитные каталоги.

Для выполнения каждого из этих процессов, совместно с тем же Гарелиным, была разработана подробная инструкция, как в дальнейшем показала практика, — целесообразная. Главная трудность заключалась в том, что фонд был разбросан по всей библиотеке и не имел своих помещений для работы и хранения, кроме двух, явно недостаточных. Одним из них была небольшая церковь во дворе библиотеки, вся сплошь заваленная грудями книг. Для освобождения на полу ее площади для сооружения первого ряда стеллажей пришлось лежащие на нем штабелем книги поднять выше, на соседнюю книжную гору. В расчете на максимальное использование помещения стеллажи были чрезмерно высокими, а проходы между ними слишком узкими. Расстановка и подбор книг производились с помощью специальных лестниц и были весьма затруднительны. Все же, когда лежащие на полу церкви книги были разобраны и расставлены, осталась запас свободных полок, явно, впрочем, ничтожный в сравнении с огромными книжными залежами, оставшимися по-прежнему в разных углах библиотеки.

Второе помещение фонда — бывшая комната для хранения верхней одежды читателей, внизу, при входе со Знаменки в старый читальный зал. С открытием в 1914 году нового читального зала комната эта служила для хранения изданий Румянцевского музея, лежащих в ней в связках на низких деревянных стеллажах. Комната эта ряд лет стояла запечатанной. Проникавшие туда им одним ведомым путем штатные кошки Румянцевского музея устроили здесь для себя нечто вроде уборной, доказательством чему служил долго не выветривавшийся запах. В бесплодной борьбе с четвероногими оккупантами вахтер музея Василий Тихонович Райский еще до передачи помещения фонду посылал уборщиц для работы в «Кошкин дом». Под этим именно названием помещение перешло в распоряжение фонда и сделалось чем-то вроде его канцелярии. Здесь стоял мой письменный стол, стояли ящики с каталогами и запертые шкафы с материалами. Работа же сотрудников проходила в разных частях библиотеки, где находился обрабатываемый ими фонд.

Штат сотрудников фонда состоял, кроме меня, из четырех человек, в том числе один технический служащий, и явно не соответствовал его заданию. Считая среднюю норму выработки на одного человека по всем процессам 30 томов в день, как опыт показал, вполне реальную, т. е. в год (за вычетом выходных дней и отпуска) дававшую около 9000 томов, или на четверых сотрудников, включая меня, 36 000 томов в год, легко установить, что на разбор всех трех с половиной миллионов томов, которые насчи-

тывались в фонде вместе с Загорским филиалом и библиотекой Генерального штаба, потребовалось бы около 100 лет.

Призадумавшись над этой перспективой, администрация библиотеки пыталась найти способ ускорить дело. Ежегодно к концу лета изыскивались откуда-то сверхсметные суммы на разбор фонда, которые должны быть израсходованы до конца к 15 сентября. Это давало возможность приглашать для разбора фонда 25—30 временных служащих на поденной оплате, преимущественно из числа студенческой молодежи, искавшей заработка к началу учебного года.

Студенчество в эти годы общеобразовательной подготовкой не отличалось, и организовать его работу с наименьшим количеством брака было далеко не легко. Кроме того, благодаря жесткому сроку окончания всей работы и разбросанности и тесноте помещений приходилось строить ее по системе конвейера, что требовало от руководителя большого напряжения и затраты физических сил.

Таким путем летом 1926 года удалось разобрать 30 000 томов, поступивших в фонд из библиотеки Общества русских врачей, и 10 000 томов выделенных при этом дублетов передать в Новосибирский университет. В следующем году были ликвидированы груды книг, засорявших помещение бывшей картинной галереи, отведенное под Музей книги.

⟨...⟩ Несмотря на усилия работников «Кошкина дома», груды неразобранного фонда не уменьшались, а росли. В фонд вновь поступали новые собрания из разных источников: книги из имени Юсуповых Архангельское, библиотеки Вяземских из имени Остафьево. ⟨...⟩ Мы отобрали в городах Зарайске и Борисоглебске свезенные туда из окрестных имений иностранные, по преимуществу, книги, привезли по отбору книги из библиотеки Катковского лицея, 6-й Московской гимназии, Театрального общества и т. д.; сверх того, в особом порядке поступила библиотека Генерального штаба, вывезенная из Петрограда при немецком наступлении и лежащая в ящиках в помещении бывшего Охотничьего клуба.

## ВЕНЕРА В ДНИ СЛЕТА ПИОНЕРОВ

Летом 1929 года я был неожиданно вызван из отпуска на службу, и директор Ленинской библиотеки отдал мне распоряжение спешно вывезти из подмосковного музея Остафьево имеющиеся там книги, около 50 000 томов<sup>6</sup>.

Остафьево — имение современника и друга Пушкина князя П. А. Вяземского — представляло собой одну из любопытнейших усадеб начала XIX века. Последний перед революцией владелец имения граф П. С. Шереметев<sup>7</sup> сохранил его в том виде, как оно

было при Вяземских. Обращенное после Октябрьской революции в музей, Остафьево содержалось в относительном порядке вплоть до 1928 года, когда часть подмосковных музеев была закрыта. С этого момента на Остафьево начались покушения со стороны учреждений, собиравшихся использовать в своих целях самое помещение музея. Однако сделать это было не так просто, благодаря особенностям его архитектуры. Два одноэтажных каменных флигеля, симметрично расположенных по обеим сторонам главного здания, соединялись с последним широкими открытыми верандами. Нижний этаж главного здания состоял из обширных, насквозь проходных двухсветных зал; верхний был по длине перегороден пополам и с одной стороны представлял подобие широкого светлого коридора, с другой — ряд небольших жилых комнат, сообщающихся друг с другом. Отопить громадное здание было трудно, а использовать под школу, дом отдыха или санаторий — неудобно. Зимой музей бездействовал, но держался: одни рукописи были вывезены Централхивом<sup>8</sup>.

Свидетель славного прошлого, столь же красноречивый как и безмолвный, музей имел интерес бытовой и мемориальный, значение историческое и историко-литературное. Здесь жил и писал свою «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин; окна его комнаты выходили в парк, где не раз ходил со своими друзьями А. С. Пушкин; сюда наезжали декабристы, представители родословной знати, дипломаты, сановники, разнообразные деятели литературы, науки и искусства.

Образ жизни Вяземских был барский и открытый, без пышности и расточительности. Об изысканных умственных интересах и утонченных вкусах говорило все, начиная от таинственной символики масонской комнаты, рыцарских доспехов на манекенах и стенах, множества мужских и женских лиц в париках и пудре, выглядывающих из позолоченных рам, живописных портретов особ царской фамилии, героев Отечественной войны 1812 года, предков, друзей и знакомых и вообще замечательных людей, ослепительных русских красавиц кисти мастеров русских и западных, изваяний из мрамора, бронзовых бюстов и фигур, художественных панно, дорогих гобеленов, стильной мебели русской и заграничной работы, замысловатых часовых механизмов, множества изящных вещиц, фарфоровых, серебряных, золотых и хрустальных, затейливых табакерок, расписных ваз, резных и лепных фигурок и других художественных безделушек, которыми побывавшие за границей Рюриковичи украшали свои резиденции.

О размахе умственной жизни свидетельствовала огромная библиотека по философии, истории, литературе, географии, архитектуре, естествознанию и другим наукам, составленная из книг на всех европейских языках, частью в пергаменте и коже. Высокие книжные шкафы стояли в простенках всех комнат. На кореш-

ках изданий XVIII века тускло блесло золотое тиснение. Раритетов встречалось немало: инкунабулы, эльзевиров, альдины, фолианты роскошных изданий, художественные альбомы с произведениями знаменитых граверов. Впечатление музей производил сильное и не скоро забывающееся.

В июле 1929 года под Москвой на несколько дней потребовалось помещение для ночлега трех, кажется, тысяч пионеров, прибывающих на слет. Судьба Остафьева была решена. Тщетно администрация музея доказывала, что свернуть его в десятидневный, как предписывалось, срок невозможно, что большая часть экспонатов этим обрекается на гибель: никто не хотел и слушать. Мне было предписано принимать книги все целиком по счету, упаковывать в мешки и отправлять гужом в Москву в адрес Ленинской библиотеки; если же времени и тары не хватит, то книги вязать шпагатом в пачки и грузить на подводы навалом. Кроме моего помощника — В. Н. Самуилова, в Остафьево поехал технический сотрудник отдела — комсомолец Колосков, а для сопровождения обоза с книгами до Москвы обещано было прислать еще двух-трех младших служащих из числа старых, проверенных сотрудников.

Администрация Остафьевского музея была настолько подавлена ожидающей его участью, что встретила нас неприязненно, как могильщиков своего любимого детища.

Труд на нашу долю выпал немалый. С 7 часов утра мы работали до наступления сумерек. Одновременно с нами по ликвидации музея действовала другая организация, более многолюдная и шумная. Она спешно укладывала в ящики мелкие экспонаты, сдирала со стен канделябры, зеркала, картины, панно, gobelены и другие украшения. При мне прямо на бильярд, на котором, возможно, некогда играл Пушкин, была опущена с потолка пятипудовая медная люстра, сброшена с пьедестала и разбита в куски прекрасная мраморная группа, изображающая сатира в погоне за нимфой, и т. д. Не буду вдаваться здесь в подробности, ибо выдающиеся моменты этой напряженной работы были засняты для потомства фотографом, специально для этой цели командированным МОНО (т. е. Московским отделом народного образования). Фотограф был прекрасный, с художественным вкусом и юмором — и снимки его дополнят то, о чем я умолчу.

Упаковка книг подходила к концу, и накануне их вывоза я к вечеру уехал в Москву, чтобы вызвать людей для сопровождения обоза. Между тем в мое отсутствие в Остафьево разыгрались крупные события. Во главе организации, подготовлявшей помещение для пионеров, стояла здоровенная толстая бабища, кажется, бывшая прачка, которая, несмотря на рвение, не в состоянии была закончить свое дело к сроку силами одной своей команды... Решено было прибегнуть к содействию местной милиции, отделе-

ние которой помещалось где-то поблизости. Группа милиционеров, человек 10—12, взялась аккордно, за хорошую по тому времени плату, в продолжение одной ночи окончательно очистить главное здание от музейного имущества, чтобы на следующий день можно было расставлять уже койки.

Когда на другой день утром я вернулся в Остафьево, встретивший меня Самуилов сказал вполголоса: «Посмотрите-ка, что здесь делается!?» Открыв дверь из флигеля на веранду, я замер от удивления. На протяжении этой веранды под открытым небом бесформенной кучей лежала мебель и остальное имущество музея. Милиционеры выполнили свое обязательство к сроку, но им пришлось действовать, как при выгрузке дров, т. е. сваливать вещи друг на друга, как попало. Около трети имущества было попорчено и погибло: часть стильной мебели и хрупких вещей поломаны, большие гипсовые фигуры, стеклянные дверцы шкафов и витрин побиты, полотна картин порваны и помяты, оставшееся целым отдано во власть стихий: будет светить солнышко — останется целым и невредимым, разразится ненастье — погибнет. Несколько впереди хаотической груды лома туловищем вперед лежала гипсовая копия Венеры Милосской, поверженная ниц. Отбитая голова богини, опираясь на подбородок и как бы приподнявшись, укоризненно смотрела пустыми своими глазами на стоящую в дверях флигеля кучку людей. Часам к 4-м дня, только что груженные книгами подводы успели скрыться на повороте за лесом, и я готовился пойти на поезд, как к флигелю, запыхавшись, подбежала заведующая Остафьевым, уехавшая накануне в Москву хлопотать в последний раз о спасении музея. «Передайте всем немедленно — распоряжение о ликвидации музея отменено!» — радостно сообщила она<sup>9</sup>.

## НАЧАЛО ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Преобразование Румянцевского музея в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина совпало с увольнением директора А. К. Виноградова и назначением на его место лица, известного в литературе и истории Октябрьской революции как Владимир Иванович Невский, настоящее имя которого было Феодосий Иванович Кривобоков. До революции он служил некоторое время юрисконсультom в правлении Сибирской дороги. В социал-демократическую партию Невский вступил давно и участвовал вместе с Лениным в организационных съездах большевиков за рубежом. Во время Октябрьского переворота Невский фигурирует в ответственной роли комиссара путей сообщения, но не прошло и 10 лет, как он спустился по служебной лестнице до должности директора Ленинской библиотеки. (...) Невский был

слишком искренний и горячий человек, чтобы быть администратором, для чего у него не хватало ни твердости, ни гибкости. Это был старой памяти русский интеллигент в оболочке революционера-большевика. Благожелательный и отзывчивый по натуре, он никому из подчиненных не мог отказать даже в том, чего выполнить был не в силах. Поэтому на обещания его было трудно полагаться.

Юрист по образованию, с наклоном к публицистике более, нежели к истории, Невский фактически был первым историком ВКП(б) и составил этот труд скорее по собственным воспоминаниям и рассказам участников и очевидцев событий, нежели по документам. В 1920-х годах он читал курс истории ВКП(б) в университете, и его книга под этим названием выдержала, помнится, не одно издание. В эту пору Невский много работал в только что организованном «Историко-революционном архиве»<sup>10</sup> и часто выступал от имени редакции с вводными статьями при публикации архивных документов историко-революционного значения. Его статьи с оценкой с точки зрения ВКП(б) публикуемых материалов были написаны литературным языком и легко читались.

Следует, впрочем, отметить, что устные выступления Невского были не в пример ярче его писаний. Это был темпераментный митинговый оратор, овладевавший любой аудиторией. Звучный и гибкий голос, страстная убежденность речи, редкое умение найти созвучные слушателям посылки для выводов — покоряли даже лиц чуждой ему идеологии и политической направленности. Во время общих собраний в библиотеке изнывающие от доморощенных щиперонов сотрудники облегченно вздыхали, когда слово брал Невский.

Проведенные им новые штаты библиотеки предусматривали повышение платы сотрудникам. Содержание их с введением новой валюты оставалось, правда, малым, но уже не самым малым в Москве. На вновь утвержденные вакансии сотрудников вступили преимущественно члены ВКП(б) и Союза коммунистической молодежи.

(...) К началу 30-х годов ресурсы книжного рынка внутри страны истощились, и цены на старую книгу заметно поднялись. Между тем неразобранные книжные фонды Ленинской библиотеки к этому времени не убыли, а возросли, достигнув приблизительно трех с половиной миллионов томов, в том числе нескольких сот тысяч не выделенных еще дублетов, для библиотеки ненужных и представляющих теперь большую товарную ценность. Опасность, что весь собранный книжный фонд, лежащий метрвым капиталом, сразу уплывет целиком на сторону, казалась реальной. Необходимо было форсировать его разбор.

Однако правительство, выкинувшее тогда лозунг «режима экономии», не давало на это ни штатов, ни кредитов. В целях сокращения расходного бюджета много учреждений, находившихся

ся до того на иждивении казны, были переведены на самоокупаемость или, как тогда говорили, хозрасчет. Увлечение хозрасчетом затронуло рикошетом и Ленинскую библиотеку, где заместитель директора по хозяйственно-административной части Евгений Иванович Руднев, как бывший бухгалтер, мыслил финансовыми категориями. Было решено перевести на хозрасчет разбор книжного фонда, добывая средства для него путем передачи выделяемых дублетов. На Воздвиженке некогда был букинистический магазин, через который бывший Румянцевский музей продавал на комиссионных началах свои дублеты. Возникла мысль восстановить этот закрывшийся магазин и повести дело *en grand*. Я был приглашен в заседание дирекции, и, когда Е. И. Руднев предложил мне заняться разработкой деталей этого плана, я, опасаясь, что при существующем положении дело грозит уголовщиной, отвечал, что по недостатку опыта и при отвращении к торговым операциям взяться за это дело не смогу.

Администрация библиотеки, одумавшись, сама отказалась от своего первоначального плана. Подвернулся, однако, изобретательный ум, который нашел иной вариант изыскания средств на разбор книжного фонда. Библиотека заключает договор с «Международной книгой», которая обязывается предоставлять ежегодно по 75 000 рублей на разбор книжного фонда с тем, чтобы в виде компенсации получить право на отбор в счет этой суммы для своих операций из выделяемых дублетов что ей заблагорассудится. На эти средства можно было держать 25 человек специально приглашенных служащих, которые в год разберут около 200 000, а в пятилетку миллион томов фонда, с выделением дублетов для «Международной книги». Комбинация казалась блестящей. Над вопросом же, что таким путем из нашей и без того отсталой страны уплывут безвозвратно большие культурные ценности, всерьез тогда не задумывались.

Автор комбинации, бывший заведующий библиотекой Политехнического музея, Павел Сергеевич Воскресенский, только что выпущенный из Бутырок после 9 месяцев заключения, без особых для себя последствий, был человек ловкий, опытный в отношениях с деловыми людьми. Мне же перспектива быть на поводу у заправил «Международной книги» мало улыбалась. Это была, в сущности, та же книжная лавочка на Воздвиженке, но в роли не контрагента, а хозяина. Достаточно искушенным дельцом я себя не чувствовал, в чем и вынужден был откровенно сознаться Рудневу. После этого мы без труда договорились, что во главе всей операции в целом станет П. С. Воскресенский; за мною же останется по-прежнему руководство разбором фонда и выделением дублетов.

Тридцатые годы были эпохой настолько же трагической, насколько и героической. Судьба Ильина повторила судьбу сотен тысяч представителей второго



и третьего поколений российской интеллигенции. В своих воспоминаниях Ильин рассказывает дальше о том, как в сентябре 1930 года он был арестован по так называемому «делу историков», — существовавшей якобы организации, действовавшей в интересах восстановления монархии в России и возглавлявшейся из Академии наук в Ленинграде С. Ф. Платоновым. Вместе с Ильиным были арестованы работавшие в Библиотеке им. Ленина С. В. Бахрушин, Ю. В. Гогье, Д. Н. Егоров, И. И. Полосин, А. И. Яковлев и их ученики — Н. М. Дружинин, Л. В. Черепнин и др. (С. Ф. Платонов и Д. Н. Егоров умерли в ссылке, остальные вернулись к научной работе).

Труды их являются неотъемлемой частью отечественной исторической науки. Ильин был сослан на Урал, в город Кудымкар, откуда вернулся в Москву в январе 1932 года. Он снова поступил на службу в Ленинскую библиотеку, но через 10 месяцев, во время проводившейся «паспортизации населения», ему отказали в выдаче московского паспорта и велели выехать за пределы 100-километровой зоны от столицы. Оставив в Москве семью, Ильин перебрался в Тверь (Калинин), где остановился на квартире кооператора и библиотекаря Николая Оттовича Широкого. Надо было подыскивать себе место работы.

⟨...⟩ В поисках работы я забрел в Тверскую общественную библиотеку и замер от неожиданности. От самого входа налево от лестницы вдоль глухой стены на протяжении всей площадки длиной до 8 аршин возвышался аршина на 3 плотный штабель из переплетов от книг, изъятых согласно инструкции по чистке библиотек и по собственному усмотрению местных работников просвещения. Самые книги были уничтожены или сданы в перемол на бумагу, а переплеты из плотного картона сбережены для будущих надобностей библиотеки. По корешкам с золотыми обрезками можно было судить, что изымались комплекты больших старых журналов, иностранная литература XVIII—XIX веков в подлинниках и переводах и т. п.

Из Москвы я привез с собой отношение в Тверской архив от издательства «Литературное наследство» с просьбой допустить меня к разысканию для упомянутого издательства имеющихся в архиве материалов, относящихся к М. Е. Салтыкову-Щедрину, который был одно время тверским вице-губернатором. В архиве меня встретили весьма вежливо, но, когда я заполнил обычную анкету, сразу же сухо объявили, что требуемых материалов в архиве вовсе нет.

Н. О. Широкому насчитывалось лет 30—35, но кое-какие знакомства среди остатков старой местной интеллигенции у него были. Так, он был знаком с Бакуниными и бывал у них в Прямухине, изредка встречался с престарелыми сестрами видного деятеля крепостной реформы Унковского. Об этих людях он сообщил мне кое-что весьма интересное. Через него я познакомился с известным поэтом Аполлоном Коринфским, доживавшим тогда вместе с женой свои дни в Твери, в забвении и большой нужде.

Однажды к моему хозяину зачем-то явился на редкость красивый старик, несмотря на явную свою дряхлость, державшийся

чрезвычайно прямо и одетый в сильно поношенное, но когда-то щегольское пальто и итальянскую с большими полями шляпу. «Аполлон Аполлонович Коринфский», — представил его мне Николай Оттович. Седая выющаяся шевелюра обрамляла высокий лоб гостя. Его пышные длинные усы, подстриженная по-ассирийски борода были белы, словно снег, и почти элегантны. Но выразительные когда-то большие голубые глаза смотрели теперь безжизненно и тускло и делали все лицо похожим на маску. Единственный проблеск чувства мне удалось уловить в его погасшем взгляде, когда Коринфский заговорил о заветном своем желании занять место на литературных мостках Волкова кладбища. Стихов Коринфский более не печатал. После Октябрьской революции в его поэзии не нашлось нот, созвучных ей. Единственным источником существования «бывшего поэта» была нищенская пенсия, которую он сумел выхлопотать, доказав свой многолетний литературный стаж. По временам ему удавалось получать корректуру из имевшейся в Твери типографии, где набиралась местная газета. Но с развитием бумажного кризиса этот заработок стал реже.

Коринфский учился когда-то в Симбирской гимназии и был одноклассником В. И. Ленина. Кто-то надумил поэта написать воспоминания о товарище своих школьных лет, обещая пристроить их в местной газете. Но из-под пера Коринфского воспоминания эти вышли столь бледными и бессодержательными, что печатать их не решились. Второй раз я встретил Коринфского на рынке, несколько взволнованного. Еще в 1926 году он сделал 100-рублевый «целевой» взнос на молоко, но до сих пор ни капли его не получил. Вчера он узнал, что деньги можно взять обратно, и торопился это сделать. С этими словами Коринфский скрылся из моих глаз навсегда.

⟨...⟩ В конце июля пришло извещение о разрешении мне вернуться в Москву. Не знаю, сыграло ли здесь роль мое письмо к П. Г. Сидовичу или ходатайство В. И. Невского, которому я был крайне нужен для замены уходящего в отставку заведующего Загорским филиалом Ленинской библиотеки К. М. Попова.

## ЗАГОРСКИЕ БЫЛИ

Август 1933 года. Монастырский посад Троице-Сергиевой лавры переименован в память моего нижегородского знакомого Володьки Лубоцкого, сложившего под кличкой Загорский свою голову на посту секретаря Московского комитета ВКП(б) во время взрыва в Леонтьевском переулке.

Монастырь давно закрыт. Монахи расплозились: одни — куда глаза глядят, другие проследовали в среднеазиатские владения, или ближе к Полярному кругу, третьи — томятся в каменных

мешках, с упорством призывая на новую власть громы земные и небесные; иные просто умерли.

Жизнь в стенах лавры замерла. Не бухают басистые колокола, не доносятся из открытых церковных дверей звуки стройных молитвенных песнопений, не нарушают с шумом убежища от мирской суеты пестрые толпы богомольцев, прибывших к преподобному, не шныряют всюду бойкие послушники, не плывут по аллеям, величаво опираясь на посох, бородатые старики в черных клобуках и мантиях. Рака с мощами пр[еподобного] Сергия давно вскрыта, и найденные в ней останки выставлены для назидания в антирелигиозном музее, которым объявлена лавра.

Первые годы революции сюда наезжали частенько экскурсии рабочих и школьников из Москвы, но и это постепенно приелось. Появляется изредка в лавре старозаветная фигура и, в ужасе озираясь вокруг, усердно крестится на закрытые храмы. Печать мерзости и запустения повсюду. От изгнания монахов до образования музея был период, когда разнообразный люд, вселившийся в кельи, сумел растащить монастырскую движимость, мебель, утварь и реликвии, имеющие утилитарную ценность, а ее не имевшие — попросту уничтожить. Воспроизведение уголков отошедшего в вечность быта, предпринятое музеем наспех, без достаточных средств, напоминало убогую подделку. В патриарших, например, покоях, взамен расхищенной расставили немало мебели из других монастырских помещений. Из ризницы и соборов, в связи с изъятием ценностей из церквей, вывезено много предметов культа из золота, украшенных драгоценными камнями, чем издавна славилась лавра. Величайшая художественная ценность — Троица, кисти мастера Рублева, передана в Московский Исторический музей<sup>11</sup>. Старинные фрески в соборе потрескались и осыпались от сырости, ибо с 1918 года ни один собор не отапливался, не ремонтировался, не проветривался. Их огромные каменные своды начинали разрушаться. Один из соборов был обращен в склад строительных материалов и был наполнен бочками с известью, дегтем и варом, канатами, листовым железом, плитами асфальта, ящиками с гвоздями и пр. В небольшой часовенке внутри лавры торговали квасом и тощими бутербродами. В стене наглухо замурованной гробницы Годуновых зияет огромная брешь, которую сделали сгоряча для обследования, не погребены ли с представителями этой династии драгоценности. Кладбище внутри лавры с могилой И. С. Аксакова и других упразднено, и надгробия, опрокинутые, валялись в разных углах. В первый же приезд я обратил внимание, что какой-то дюжий малый дробит молотом надгробную плиту, превращая ее в щебень. То же продолжалось и днем позже. Осталось загадкой, почему энергия этого человека была направлена на мрамор, когда кругом стен лавры лежали груды булыжника. Музеем заведовал тогда сумасшедший, через

несколько месяцев навсегда водворенный на Канатчикову дачу<sup>12</sup>. Стены исторической крепости, отражавшей татар и поляков, разрушались, никем не охраняемые. Кирпич бойниц осыпался и растаскивался обывателями на временные печи; деревянные навесы, двери и лестнички — на топливо. Когда-то щегольской белый корпус Московской Духовной академии смотрел жалобно грязными заплатами «остекленных фанерой» разбитых окон; штукатурка стен почернела от дыма торчащих из оконных форточек железных труб временных печурок; местами она вовсе осыпалась, обнажая дрань и войлок. Половина двустворчатой наружной двери давно сломана, и по всему зданию зимой и осенью гуляет ветер. Здесь ютится теперь педагогический техникум, и в аудиториях, где читали Горский, оба Голубинских и Ключевский, слышны истины другого порядка.

Разбитыми стояли окна верхнего этажа академической библиотеки, двухэтажного здания у лаврской стены, против академии. Собрание свыше 400 000 томов книг по богословию, философии, истории, литературе и другим гуманитарным наукам, по составу и значению занимавшее седьмое место среди научных библиотек царской России, теперь бездействует и медленно разрушается.

С упразднением академии ее библиотека была передана Румянцевскому музею и вместе с монастырской библиотекой Троицкой лавры сделалась Загорским филиалом Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина. Функционировал филиал более чем слабо, обеспечивая небольшую группу местных музейных работников и преподавателей педагогического техникума. Летом, когда библиотекарь пользовался двухмесячным отпуском, филиал стоял закрытым. Зимой же читальный зал не работал, так как с 1918 года помещение не отапливалось; абонемент для выдачи книг на дом открывался на час-полтора всего два раза в неделю. Осенью и особенно весной в нижнем этаже большого каменного здания скоплялось столько сырости, что штукатурка с потолков осыпалась, мебель на клею распадалась на составные части, книги отставали от переплета, корешки их, словно инеем, покрывались плесенью, бумага гнила и обращалась в труху. Попытки вентилировать помещение сводились к тому, что летом несколько раз открывалась на 2—3 часа часть окон, и ощутительных результатов, разумеется, не давали. Много расставленных внизу журналов и рукописных диссертаций было попорчено грибом сырости окончательно.

Зато на втором этаже все книги были в целости, благодаря проказам мальчуганов, которые, играя на монастырской стене, стреляли в верхние окна библиотек из рогаток. Служивший уже 35 лет на этом месте в академии и продолжавший теперь, как дракон, охранять свое сокровище престарелый библиотекарь

К. М. Попов выскакивал на звон разбитых стекол наружу, но его брань и бессильные угрозы только воодушевляли шалунов. Камней и настойчивости у них было больше, нежели стекол для ремонта в запасе у Попова. Волей-неволей ему пришлось махнуть рукой. Зимой в здании был мороз, как снаружи, а весной и летом через разбитые окна вентиляция действовала непрерывно, и следов сырости на стоящих в верхнем этаже книгах не оставалось.

Вне стен лавры в Сергиевом Посаде былого изобилия и многолюдства не стало. Приток богомольцев приостановился. Странноприимные дома, монастырская и частные гостиницы и номера, бесчисленные комнаты для ночлега паломников в обывательских домиках получили иное назначение. Не дымят снаружи у дверей пузатые самовары, не уничтожаются в «блинницах» на торговой площади у стен лавры груды жирных со сметками, творогом, грибами, сметаной, икрой и другой благодатью блинов; не переливается в утробы богобоязненных людей чистая, словно слеза, монополька, чередуясь с подозрительными шустовскими изделиями, под рыбку, подовые пироги, расстегаи, кулебяку и прочую снедь, опричь птичьего молока; не разносятся в воздухе ароматы ухи и селянки. Блинами на Руси объедались единожды в год, на масленицу; у Сергия же преподобного круглый год была масленица. Всего, чего теперь уже нет, ни в сказках не скажешь, ни пером не опишешь!

Частная торговля воспрещена. Население сплошь кооперировано. В потребительских магазинах, смахивающих на пустой грязный сарай, в продаже плохо пропеченный хлеб, тюлька, сухая вобла, засоренный горох, колесная мазь, чайный напиток, зубной порошок, суррогатный кофе в разноцветных упаковках и т. п. На рынках ассортимент товаров несравненно разнообразнее, но продавцы и покупатели рискуют оказаться в кольце облавы, так как ведется борьба со спекуляцией.

Жизнь в крохотных деревянных домишках как-то сжалась, стала скудней; прежних доходов нет; расчетливо и скупно проживается накопленное годами. Потребности сократились.

⟨...⟩ По приезде в августе 1933 года в Загорск я прежде всего расспросил К. М. Попова о причинах оставления им места в библиотеке. Попов объяснил мне, что местные учреждения, особенно педагогический техникум, давно добивались ликвидации филиала, чтобы занять его помещение; теперь же, когда вопрос о переброске книг в Москву окончательно решен, ему, Попову, не хочется принимать участия в разрушении дела, которому он посвятил 35 лет своей жизни. Действительно, через короткое время после моего назначения пришло распоряжение директора Ленинской библиотеки о вывозе книг.

Снимаемые с полок книги подсчитывались и упаковывались в запломбированные мешки, на подводах отвозились на станцию

железной дороги и отправлялись в Москву в адрес книжного фонда Ленинской библиотеки.

Перевоска полумиллиона книг по Загорску и Москве при дороговизне гужевого транспорта должна была обойтись недешево. Однако удалось войти в соглашение с организацией по постройке в Загорске оптико-механического завода («СтройЗОМЗ»), довольно часто отправлявшей порожняком в Москву грузовые машины за материалами, чтобы эти машины захватывали с собой из Загорска мешки с книгами и доставляли их в помещение фонда Ленинской библиотеки. Кроме платы за перевозку груза, «СтройЗОМЗ» заручился негласным обещанием директора Ленинской библиотеки, что та не окажет активного противодействия попытке с его стороны занять помещение филиала, когда оно освободится от книг. Согласиться на это условие было тем легче, что библиотека не была заинтересована в судьбе филиала. Предполагалось, что он поступит в распоряжение Загорского музея, в ведении которого была охрана лавры и коменданту которого я сдавал ключи запечатанного помещения библиотеки по окончании моего рабочего дня. Музей, в свою очередь, за новыми помещениями не особенно гнался, так как не мог содержать в порядке и те, которые у него были.

Отношения с музеем с самого начала были благожелательные. Напротив, техникум с места в карьер занял враждебную позицию. При первой же погрузке книг в открытые двери библиотеки ворвалась группа воспитанников во главе с педагогом, который, кривляясь, заявил требование, чтобы я в срок очистил здание и немедленно же выдал им книги, которые они отберут. Предложив с требованиями обращаться непосредственно к директору Ленинской библиотеки, я попросил непрошенных гостей немедленно же очистить помещение, что было ими исполнено с бранью и угрозами.

По формулярам читателей обнаружилось, что многие из абонентов, в том числе воспитанники и преподаватели техникума, не возвращают взятых ими книг по нескольку месяцев и даже более года. Испросив у директора Ленинской библиотеки разрешение на закрытие личного абонемента и выдачу книг только в порядке междубиблиотечного обмена, т. е. лишь библиотекам государственных учреждений для использования в их читальных залах, я немедленно же разослал абонентам повестки с предложением вернуть взятые книги к определенному сроку с указанием на ответственность по закону в случае невыполнения. Таким путем удалось вернуть часть взятых книг; остальное же пропало, так как многие абоненты по тем или иным причинам оставили Загорск. В число абонентов филиала вступили антирелигиозный музей, институт игрушки, педагогический техникум и еще два-три местных учреждения. Одновременно с книгами на

грузовых машинах вывозились в Москву в разобранном виде библиотечные шкафы и прочее оборудование.

Вся эта операция вполне благополучно закончилась к осени 1936 года.

Когда верхний этаж был совершенно освобожден, «СтройЗОМЗ», вывезший накануне на своих машинах остатки находившегося там имущества библиотеки, рано утром, сорвав печать, занял под свою канцелярию пустое помещение, сообщающееся с наружным ходом лестницей. Составив при участии представителей музея соответствующий акт, я направил его директору Ленинской библиотеки, а копию — в загорскую милицию. Этим дело и ограничилось. Хода дальнейших перевозок новое соседство не нарушило. За два года работы в Загорске я сохранил за собой московскую комнату, где жила моя семья, и прописку, в Загорске же я снимал себе на казенный счет небольшую комнату, куда на лето приезжала и моя семья.

Не желая приобщаться к загорским отношениям, я всячески избегал знакомиться и сближаться с местными жителями, и если не уезжал после работы в Москву, то сидел дома один за книгой. Жизнь текла однообразно, но время летело быстро. Изредка спокойствие нарушалось наездами представителей «Международной книги» Коновалова и Шика вместе с преемником моим по заведованию фондом П. С. Воскресенским. Воскресенский, как общалось выше, заключил с «Международной книгой» договор, по которому последняя субсидировала значительной суммой разбор фонда, с тем чтобы из выделяемых дублетов ей предоставлялось все нужное. В зависимости от коммерческих соображений контрагента устанавливалось, какую часть филиала следует вывезти в Москву для разбора в первую очередь. Для обмена на золотую валюту за границей «Международная книга» интересовалась, кроме уникальных изданий, всякого рода религиозной литературой, богатейшей коллекцией которой располагал филиал. <...>

К осени 1936 года работа моя в Загорске подходила к концу. Библиотечные шкафы и мебель, за исключением поломанной безнадежно, — также вывезены. Остатки книг упакованы в запломбированные мешки и ждут транспорта. За день-два до отъезда я зашел зачем-то в местный исполком и попрощался мимоходом с секретарем. «А как же книги?» — спросил он с удивлением. — «Книги я все целиком вывез в Москву». — «Как же вы могли это сделать тайком, без ведома исполкома, который является их хозяином?» — грозно спросил властитель. Тут уже мне пришлось, в свою очередь, высказать удивление, как исполком в продолжение двух почти лет не замечал того, что открыто делается у него на глазах: вывезти полмиллиона томов не шутка! Что же касается права местной общественности на данное книжное имущество, то по этому поводу надлежит адресоваться к директору Ленин-

ской библиотеки, по поручению которого я действовал. Был ли исполнен этот совет — не знаю, но «задний ум» загорских властителей развернулся во всем блеске. Исполком йскони почитал до-революционную книгу вредным хламом и во избежание греха стремился от нее избавиться. Неожиданно в этом неизбежном мировоззрении образовалась брешь: возникло течение, допускавшее между новой и старой культурой относительную преемственную связь. Прежняя книга, вчера еще гонимая, презираемая и в качестве макулатуры сдававшаяся на перемол, получила рыночный спрос и ценность. Естественно, что и секретарь Загорского исполкома спохватился, но было уже поздно.

Придя на другой день утром к опустевшему зданию библиотеки, я обнаружил, что моя печать сорвана, замки дверей взломаны и в самом помещении копошатся какие-то люди, складывая грудями чьи-то мешки. Мешки с библиотечными книгами, подготовленные к вывозу, в полной сохранности и отгорожены барьером из сломанной мебели. Оказывается, ночью нижний этаж здания был захвачен явочным порядком под склад «Заготзерна». В милиции, куда я не замедлил представить копию акта о случившемся, меня спросили только, целы ли мои книги, и на утвердительный ответ заметили спокойно: «Тогда чего же вам волноваться?» При таких условиях волноваться, конечно, было незачем.

Разочарованный в несбывшихся надеждах на помещение и книги, педагогический техникум устроил мне шумные проводы, организатором которых был уже знакомый кривляющийся педагог. Возглавляемая им группа воспитанников при встрече окружила меня, осыпая упреками, будто бы я обездолил местную науку, вывезя принадлежащие ей по праву книги. Но совесть моя была совершенно чиста. Давно убедившись, что техникуму требуется всего 200—300 томов общераспространенных книг, которые без ущерба можно было бы ему передать, я неоднократно советовал заведующему учебной частью техникума обратиться с просьбой к директору Ленинской библиотеки непосредственно или через меня. Я добивался у них списка нужных им книг; они же хотели сами отобрать из имеющихся налицо то, что им приглянется. Допустить кого-либо к подобному отбору книг без особого разрешения директора я, разумеется, не мог. Время шло, педагоги медлили, по моему мнению, потому, что сами не знали хорошенько, что им нужно.

Между тем переброска книг в Москву продолжалась. В результате техникуму передано всего три-четыре десятка книг, в большинстве находившихся уже в их руках по абонементу.

Перед окончательным отъездом в Москву я совершил обряд, имевший лишь символическое значение: передал Загорскому музею ключи от здания бывшей библиотеки Московской Духовной академии.



⟨...⟩С осени 1936 года я⟨...⟩ давал уроки по введению в библиотековедение и библиографию на «Курсах книговедения имени Карла и Розы», подготовлявших служащих для книжной торговли. Книговедение и книжную торговлю здесь преподавали опытные книжники Г. И. Поршнева и Б. Ф. Хржановский, дававшие тон постановке дела. Занятия продолжались до весны 1937 года; затем курсы, кажется, закрылись. В ближайшие затем годы, заходя в книжные магазины Москвы, я иногда встречал там за прилавком своих бывших учеников, которые приветливо со мной раскланивались. Но это давало лишь моральное удовлетворение; денежное же вознаграждение за занятия на курсах было незначительное.

Через несколько дней после того, как договорные отношения с Библиотекой имени Ленина у меня оборвались, бывший помощник Невского Е. И. Руднев, ведавший тогда приведением в порядок фондов Государственной Книжной палаты в складе на Якиманке, в помещении храма Иоакима и Анны, предложил мне принять на себя учет работы бригады из 40—50 временных служащих, разбиравших фонд. Работа была временная и вознаграждение мизерное, но рассуждать не приходилось — и я принялся щелкать косточками на счетах. Жена просиживала ночи за корректурой, и мы кое-как перебивались. Наконец, в конце мая, я неожиданно получил открытку с приглашением прийти на Рождественку, в рукописное отделение Государственного Литературного музея для переговоров о работе. Заявление было мною подано давно, и я считал его безнадежным. Между тем, как я узнал позднее, администрация музея наводила обо мне справки по месту прежней службы в Ленинской библиотеке. Делалось это не официальным путем, а через знакомых сослуживцев, поэтому ответ последовал благоприятный, и с начала мая я уже работал в Литературном музее.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Началом Государственного Литературного музея были так называемые «выставки» на темы: «Чехов», «Горький», позднее, кажется, «Маяковский», развернутые Библиотекой имени Ленина в залах бывшей картинной галереи Румянцевского музея. Выставлялись, кроме принадлежавших библиотеке автографов данного писателя, издания его сочинений и кое-какие иллюстрации, а на выставках «Чехов», «Горький» — фотографические снимки с постановок их пьес в Московском Художественном театре. Под руководством Н. Э. Лейтнекера экспозиция в духе «переверзевщины» и формализма была порой странной. Например, на выстав-

ке «Горький» недалеко от входа стояли стенды с таблицами, долженствовавшими отразить в цифровых показателях эволюцию литературного стиля писателя в разные периоды его творчества. Вперемешку с фотографиями артисток Художественного театра это невольно напоминало витрину модной парикмахерской с образцами куафюр и расценками.

По возвращении своем с острова Капри в Москву Горький посетил посвященную ему выставку<sup>13</sup>. Несмотря на устроенный ему парадный прием, писатель выглядел хмуро и удовольствия не высказал.

На общем фоне Библиотеки имени Ленина подобные выставки казались чужеродным придатком. С Невским тогда уже не считались — и без его ведома заведовать ими был назначен бывший управляющий делами Совета Народных Комиссаров в Октябрьские дни Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич<sup>14</sup> <...>

В дореволюционную эпоху Бонч-Бруевич был журналистом марксистского толка, слыл большим знатоком русских, раскола и сектанства. Его капитальные «Материалы» по этим вопросам в нескольких томах свидетельствуют об энтузиазме их собирателя. В наших сектах и расколе он усматривал протест русского народа не только против церковной казенщины, но и против самодержавия. В этом смысле по его докладу была принята резолюция на II съезде РСДРП в 1903 году. В эпоху «культы личности» Бонч-Бруевич был, что называется, «не у дел», участвовал в разных ученых комиссиях — архивной, литературной, писал журнальные статьи. В публичных выступлениях о прошлом Бонч-Бруевич касался осмотрительно только деятельности самого Ленина и своих личных отношений с ним, не задевая шкотливых тем.

С его назначением выставки были переведены в особняк на Моховой, где до того ютился Кабинет библиотековедения, с 1933 года преобразованный в Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики, называвшийся с 1935 года Государственным Литературным музеем<sup>15</sup>.

Экспозиция музея должна была обнимать всю русскую литературу от ее зарождения и до наших дней. На приобретение экспонатов для музея — рукописей, автографов и изобразительных материалов — было отпущено одновременно, кажется, 400 000 рублей<sup>16</sup>. Помимо средств, отпускаемых государством, на те же цели шли прибыли от организованных при музее подсобных предприятий: фотолаборатории и переплетной мастерской, принимавших также и заказы со стороны. Сюда же обращалась прибыль от изданий музея. Много здесь выручалось от продажи открытых писем с портретами писателей. Приостановившийся с начала мировой войны выпуск подобных изданий повел к исчезновению их из продажи. Прекрасно отпечатанные в типографии Гознака открытки музея имели успех.

Бонч-Бруевич был организатор с инициативой и практическим смыслом; из сопротивления он черпал новые силы для борьбы на пути к намеченной цели. С помощью своих связей, общественных и литературных, он умел открывать как в Москве, так и в провинции тайники, где лежали под спудом в частных руках нужные ему рукописные материалы, и не успокаивался до тех пор, пока они не делались собственностью музея, в большинстве случаев за бесценок.

С каким мастерством вел Бонч-Бруевич переговоры с продавцами рукописей, в большинстве тогда нуждавшимися, — указывает такой, например, случай. Некто К. при встрече со мной выразил негодование, что Ленинская библиотека оценила всего в 700 рублей обширный эпистолярный архив его деда с автографами ряда, правда, второстепенных деятелей журналистики. «Я предпочитаю, — заключил он, — ходить в рваных сапогах, нежели передать архив скифам и невеждам!» Взглянув на ботинки собеседника, я оценил его гражданское мужество. Недели через три встречаю К. на Моховой у станции метро. Сияет... Оказывается, ему, наконец, удалось устроить архив в надежные руки, где понимают его значение и ценность, — в Литературный музей. На вопрос — сколько же за него уплатили, последовал ответ — 600 рублей. В сходном положении оказывалось большинство продавших Бончу свои рукописи. Чему приписать здесь сговорчивость: красноречию Бонча или собственной вопиющей нужде — сказать, конечно, трудно.

Были, однако, лица, обвиняющие Бонч-Бруевича в скарденности и даже вымогательстве. А. И. Л. рассказывала мне лично, как она принесла Бончу две небольшие записки на французском языке — неопубликованные автографы А. С. Пушкина. Бонч принял ее у себя в кабинете, долго и внимательно рассматривал записки через лупу, затем, молча положив их под стекло на письменном столе, предложил посетительнице получить в кассе музея 300 рублей и встал в знак того, что аудиенция закончена. Та остолбенела. Тогда Бонч пояснил ей хладнокровно, что подготовленным постановлением Совнаркома все автографы А. С. Пушкина объявлены национальной собственностью, поэтому за них нельзя уплатить ни гроша; что 300 рублей — не более как щедрое возмещение расходов по их доставке. Протесты и упреки ни к чему не привели, и Л. удалилась, унося с собою, взамен автографов, 300 рублей.

Спустя 25 лет Л. вспоминала об этом с раздражением. Дело в том, что постановление Совнаркома, на которое ссылался Бонч, так и не было издано.

Следует, однако, отметить, что порицавшие Бонча за скупость держались своей связи с ним и в случае надобности с новыми предложениями рукописей обращались не в Ленинскую библиотеку, а к нему.

Кроме того, оценка предлагаемых рукописей производилась не единолично Бончем, а особой «оценочной комиссией» под его председательством, в состав которой входило несколько наиболее квалифицированных сотрудников музея и среди них известный ученый архивист Н. П. Чулков.

В период своего руководства музеем, с 1933 по 1940 г. включительно, В. Д. Бонч-Бруевич сумел составить рукописное собрание в три с половиной миллиона единиц архивного хранения. В составе его образовались фонды русских писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Д. В. Григоровича, А. Н. Островского, Н. А. Некрасова, А. И. Герцена, Н. П. Огарева и т. д.

К архивной обработке поступающих обширных рукописных собраний Бонч-Бруевич привлекал иногда их прежних владельцев на договорных началах или даже вводя последних в штат музея. Так, В. В. Чертков в должности научного сотрудника музея составлял каталог проданного им архива издательства «Посредник», руководимого его отцом, известным толстовцем В. Г. Чертковым. В такой же должности С. А. Клепиков описывал коллекцию русского лубка, переданную в собственность музея. Архив поэта Фофанова разбирала его дочь. Н. В. Арнольд работал на договорных началах над материалами своего семейного архива, относящимися к его предку — русскому сатирику XVIII века Сергею Никифоровичу Марину́. В. Д. Удинцев, племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка, работал над рукописями этого последнего и т. д. Естественно, что эти лица работали старательней и с большим интересом, нежели могли работать люди, взятые со стороны.

Таким образом, среди сотрудников музея, штатных и договорных, появились знакомые фамилии Тургеновой, Бакуниной, Барсуковой, Оленина и др.

Время от времени в музее читались и обсуждались доклады, посвященные русским писателям XVIII и преимущественно XIX века; советских писателей, исключая Вл. Маяковского и Николая Островского, темы докладов не затрагивали. Доступ на заседания был по пригласительным билетам. С докладами выступали и в прениях участвовали: М. А. Цявловский, С. М. Бонди, Н. О. Лернер, М. Д. Беляев, Б. П. Козьмин, Л. В. Крестова, Н. П. Кашин, М. О. Долинин, А. Н. Лесков, А. И. Толстая, В. Д. Кузьмина, Н. Н. Гусев, О. И. Попова, Д. И. Шаховской, Н. В. Голицын и другие, в большинстве — остатки уходящей в прошлое культуры, пытавшиеся в 20-х годах свить себе гнездо в блаженной памяти «Институте слова».

Рукописи хранились не в здании музея на Моховой, где, кроме выставочных залов, находилась дирекция и другие отделы, а на Рождественке, в особом помещении, где раньше был какой-то магазин. Здесь вперемежку стояли шкафы с рукописями и ящиками карточного каталога и рабочие столы для сторонних исследо-

вателей и сотрудников отдела. Было тесно, людно и беспорядочно.

В мае 1937 года, когда я приступил к работе, заведующим на Рождественке был Степан Ильич Синебрюхов, старый книжник-кооператор, работавший до того ряд лет в издательстве «За друга». Это был самоучка, завершивший свое образование в Народном университете Шанявского и вполне справлявшийся со своими немудреными обязанностями. Тихий и работающий, он, вообще говоря, был человек благожелательный и безобидный, но, как большинство самоучек, страдал иногда от ущемленного самолюбия и в разговорах на литературные темы с дипломированными специалистами легко раздражался. Его, видимо, раздражала досада, что знания, собранные им по крупицам и с трудом, тем дались без усилий в систематическом виде. Выйдя из равновесия, он долго не успокаивался и брюзжал. Составлением каталога ведала Наталья Александровна Дилевская. Имя сестер Дилевских отмечено в революционной хронике 1905-го и последующих годов. Одна из них, Вера, была женой Вениамина Свердлова, брата моего нижегородского товарища по гимназии Якова; другая — женой Н. Н. Авдеева, моего товарища по университету. Н. А. Дилевская была человек прямой и умный, без дамских причуд и ужиться с нею было нетрудно. Мы изредка встречались и после оставления мною службы в музее. Во второй половине 40-х годов я проводил сначала Веру, а затем Наталью Дилевских на кладбище. Закрылась навсегда одна хорошая страница прошлого.

Иное дело — В. В. Чертков. Говорили, что он не наследовал ни аристократической внешности, ни ума и талантов отца, а лишь его неприятные свойства и притом в карикатурном виде. Рассказывали такую, например, его выходку. На Рождественке рядом с большой комнатой, где работали исследователи и сотрудники, был узкий коридор, куда они выходили покурить. Курение сопровождалось разговорами, которые порой затягивались. Курящие сменяли друг друга, а клубы дыма проникали в соседнюю небольшую комнату, где отдельно от других работал Чертков. Будучи сыном толстовца, Чертков, словно черт ладана, боялся табачного дыма. Но один в поле не воин. Однако Чертков думал иначе. Глядя на часы, он стал точно отмечать у себя на бумаге, сколько каждый сотрудник, поименно, тратит времени на курение и разговоры. Составив такие таблицы за несколько дней и подведя итоги, он представил свою статистику Бонч-Бруевичу в доказательство нерадивости сотрудников, тратящих много рабочего времени на курение. Неизвестно, что сказал ему Бонч, но все оставалось по-прежнему, и о проделке Черткова мы узнали лишь стороной. <...>

Консультантом отдела состоял опытный архивист Н. П. Чулков, работавший до того много лет в архиве Министерства иностранных дел. Среди ученых он был известен как большой знаток

русской генеалогии. Память у него была феноменальная. Это был живой генеалогический справочник. <...>

В обширном карточном каталоге отражались не только творческие автографы писателя, его письма и документы, но ненапечатанные отзывы о его сочинениях и биографические данные о нем, содержащиеся в мемуарах и переписке других лиц. Поэтому при описании рукописей приходилось внимательно их просматривать и раскрывать полностью имена упоминаемых в тексте их реальных лиц из окружения писателя. Если рукопись была опубликована полностью с именованным указателем к ее тексту, то взамен карточек на упоминаемых лиц давалась библиографическая справка относительно этой публикации. От каталогизаторов, следовательно, требовалось знакомство с окружением писателя и умение ориентироваться в генеалогических и библиографических справочниках: короче говоря, кроме архивной необходима была общая культурная подготовка, а также живой интерес и навык к подобному рода изысканиям. Во главе с Н. А. Дилевской каталогизаторы А. В. Аскарьянц, Л. Ф. Филимонова, Н. А. Бабелян, Н. П. Потоцкая и другие работали с увлечением: первая над материалами, относящимися к Герцену и его друзьям, вторая — к Гаршину и его эпохе, третья — к Блоку и символистам и т. д.

На основе этих материалов они готовили оригинальные статьи для сборников «Звенья», издаваемых при музее. Здесь же готовились к печати «Летописи Государственного Литературного музея», тематические сборники научных публикаций рукописных материалов музея, как-то: «Декабристы», «Глеб Успенский», «Архив опеки Пушкина» и др. Над этим работали на договорных началах исследователи со стороны, в большинстве те же лица, которые участвовали в заседаниях на Моховой. «Бюллетени Государственного Литературного музея», содержавшие научное описание наиболее крупных фондов музея («Славянофилы», «Д. В. Григорович», «И. С. Тургенев», «Н. С. Лесков» и др.), составляли на договорных началах сотрудники музея во внеслужебные часы. Заработок этот был подспорьем к небольшому штатному окладу. Поэтому, отработав обычные 6 часов, служащие задерживались на Рождественке еще на 2—3 часа.

Из сторонних лиц, работавших по договору, на Рождественке чаще других можно было встретить Н. В. Арнольда, занимавшегося каталогизацией бумаг П. И. Бартенева, редактора-издателя журнала «Русский архив». Одновременно он занимался подготовкой к печати «Летописи» Гослитмузея «Сергей Никифорович Маршн», по материалам семейного архива своего отца, потомок С чисто военной подготовкой, но с влечением к ли труду, Арнольд на четвертом десятке лет жизни с го дебри генеалогических изысканий, занимавших видно работе. Это не мешало ему с чисто кадетским усер

дываться к ручкам молодых женщин и нашептывать им в уши всяческий вздор. Галантные эскапады его были, однако, совсем безобидны: говорили, шутя, что он одинаково помешался на Маринэ и Марине, сотруднице музея с хорошеньким личиком. Не знаю, чем кончилось его увлечение Мариной, но изучение генеалогии Маринá причинило ему немало бед. С началом войны с Германией совпало окончание срока действия его паспорта. Чиновник отделения милиции, взяв его старый паспорт, заинтересовался, почему у него такая странная фамилия. Любитель генеалогии с готовностью пояснил, что такова была фамилия его предков — тевтонских рыцарей. Явившись в назначенное время в то же отделение милиции, Арнольд получил новый паспорт. В нем в графе «национальность» значилось «немец». Уверения, что ряд поколений его предков жили в России и числились русскими подданными и симбирскими дворянами, были бесплодны: доказательств на руках у него не было. Арнольд с женой и маленьким ребенком в качестве «немцев» были высланы в Караганду на жительство. Положение ссыльного там было отчаянное. Ребенок погиб. На посланную Арнольдом в архив г. Ульяновска (Симбирска) просьбу выдать официальную справку о его предках через 8 месяцев последовал ответ, что в Ульяновском загсе никаких сведений об Арнольдах нет. Спустя еще несколько месяцев эти сведения отыскал лично среди документов архива симбирского дворянства знакомый Арнольда — М. Д. Беляев, живший тогда в Ульяновске в эвакуации. В результате этого после окончания войны, по ходатайству Бонч-Бруевича, Арнольду было разрешено вернуться в Москву. (...)

Появлялся по временам на Рождественке и А. С. Глинка-Волжский, человек нервный и болезненно раздражительный. Работал он не в общем зале, где было тесно и людно, а в комнате Черткова, который выдавал ему подготовленные хранением материалы, а в конце работы принимал их обратно. Однажды в тихой комнатке Черткова начался шум, раздались возбужденные голоса, и в дверях появился бледный как полотно Владимир Владимирович и, дрожа от волнения, не мог вымолвить ни слова. Оказалось, что для Глинки подготовили не тот материал, какой было надо, и когда он заявил об этом Черткову, тот грубо возразил, что подбирать материал — не его дело. Глинка обидел его тон. Завязался крупный разговор. Глинка в раздражении предупредил, что волновать его опасно, так как нервы его настолько возбуждены, что приходится носить при себе нитроглицерин. Чертков, слыхавший, что фашисты начинают нитроглицерином бомбы, решил, что Глинка озит взорвать его на воздух.

Изредка навещались также Н. П. Кашин, М. А. Цявловый, Д. И. Шаховской, П. С. Шереметев, В. С. Мамонтов, О. Лернер<sup>17</sup> и др.

Помещаясь в стороне от главного здания музея и соприкасаясь по работе лишь с Отделом комплектования, Рождественка держалась особняком и посещала Моховую лишь в дни общих собраний — производственных и иных, и мало интересовалась тем, что там творится. <...> Но конец Рождественки все же близился. На Моховой во дворе здания музея к началу 1940 года освободился двухэтажный флигель, в котором до революции жила прислуга домовладельца. Здесь в верхнем этаже разместили кое-как рукописи, а внизу каталог и рабочие столы сотрудников и сторонних посетителей. В новом помещении было холодно и неуютно. Отапливалось оно слабо, в щели на полу и в оконные рамы сильно дуло, низ стены побелел от инея. Теснота была та же, и те же порядки. Сближения с остальным коллективом музея не произошло. <...> Единственным приобретением для перебравшихся с Рождественки была возможность быть в курсе музейных дел.

Выступление представителя Музейного отдела Наркомпроса на годовом производственном совещании сотрудников содержало ряд резких выпадов по адресу руководства музеем. Обнаружилось, что среди коммунистической ячейки оно находит себе сочувствие и поддержку. Дальнейшие перипетии кампании против Бонч-Бруевича мне неизвестны.

Через несколько месяцев Бонч-Бруевич был освобожден от обязанностей директора, сохранив должность главного редактора изданий Литературного музея<sup>18</sup>. Назначенный на его место бывший цензор Главлита по фамилии Боев сразу же приступил к проведению реформ, в результате которых старейшие сотрудники музея Н. А. Дилевская, С. И. Дараган, Н. А. Успенская, П. А. Оленин и некоторые другие оставили службу. <...> Другим мероприятием нового директора была передача рукописных фондов музея в Главное архивное управление. На Моховой эти фонды хранились в тесном и слабо окартауливаемом помещении, по соседству с жилой квартирой. Кроме того, в 1940 году в Европе шла война. Полчища Гитлера оккупировали Францию и готовили вторжение на Британские острова. Несмотря на соглашение с Гитлером <...>, война с Германией была неизбежна, и национальные ценности спешно эвакуировались из столицы в укромные места. Литературному музею было предписано сдать свои рукописные фонды на хранение и для эвакуации в Главное архивное управление, организовавшее тогда это дело в широком масштабе<sup>19</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> ЦГАЛИ СССР, ф. 1337 (Собрание воспоминаний и дневников), оп. 3, ед. хр. 48.

<sup>2</sup> Записки старого библиотекаря (Н. Н. Ильин. «Жития моего описание»). Публ. Е. Е. Гафнер, А. В. Кутищевой // Встречи с прошлым. М., 1984. Вып. 5. С. 104—116.



<sup>3</sup> Имеется в виду принятый в июле 1918 г. декрет СНК РСФСР «Об охране библиотек и книгохранилищ», подписанный В. И. Лениным.

<sup>4</sup> Попова О. История жизни М. Н. Волконской // Звенья: Сб. материалов и док. по истории лит., искусства и обществ. мысли XIX века. М.; Л., 1934. Т. 3—4. С. 21 — 128.

<sup>5</sup> Библиотеке Румянцевского музея 24 января 1924 г. было присвоено название «Российская библиотека имени В. И. Ленина». 6 февраля 1925 г. она получила свое современное название — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

<sup>6</sup> Ошибка Ильина: описываемые события происходили не в 1929 г., а летом 1930 г.

<sup>7</sup> Последним владельцем Остафьева был отец П. С. Шереметева — Сергей Дмитриевич Шереметев (1844—1918).

<sup>8</sup> С. Д. Шереметев еще в конце XIX в. перевез бумаги т. н. «Остафьевского архива князей Вяземских», изданием которых он занимался, в свое родовое имение Михайловское Подольского уезда. Оттуда этот выдающийся по своему объему и историко-культурному значению архив был вывезен в 1921 г. Центрархивом; в настоящее время он хранится в ЦГАЛИ.

<sup>9</sup> В дневниках П. С. Шереметева, сохраняющихся у его наследников, говорится, что приказ об отмене распоряжения о ликвидации Остафьевского музея в 1930 г. привез из Москвы уполномоченный по делам культуры Мосгорисполкома, некто Паршин.

<sup>10</sup> Имеется в виду выходивший с 1921 г. как орган Истпарта ЦК ВКП(б) журнал «Пролетарская революция», где, кроме Невского, сотрудничали А. С. Бубнов, П. Н. Лепешинский, Н. И. Подвойский, Ф. Ф. Раскольников и другие авторы.

<sup>11</sup> Ныне рублевская «Троица» находится в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

<sup>12</sup> Канатчикова дача — психиатрическая лечебница под Москвой.

<sup>13</sup> Мемуарист повторяет распространенное заблуждение: на самом деле А. М. Горький жил на Капри только в 1906—1912 гг., а в 1924—1928 гг. жил в Сорренто, откуда и приехал в Москву на празднование своего 60-летия.

<sup>14</sup> Литературный музей Библиотеки им. В. И. Ленина в июле 1934 г. был слит с созданным Бонч-Бруевичем за год до того Центральным музеем художественной литературы, критики и публицистики. Новый музей, возглавленный Бонч-Бруевичем, стал называться Государственным Литературным музеем.

<sup>15</sup> Гослитмузей получил в свое распоряжение особняк на Моховой (ныне в нем музей М. И. Калинина) только в 1936 г.

<sup>16</sup> Эта сумма преувеличена: СНК РСФСР вначале выделил музею 100 000 рублей для покупки литературных материалов на внутреннем рынке и 3000 рублей золотом для подобных приобретений за границей; впоследствии же музей получал ежегодно примерно по 75 000 рублей на пополнение своего собрания.

<sup>17</sup> Здесь Ильин допускает явную аберрацию памяти: Н. О. Лернер умер в Ленинграде в 1934 г., поэтому видеть его в 1936 г. мемуарист не мог.

<sup>18</sup> Увольнение Бонч-Бруевича с поста директора ГЛМ состоялось в марте 1940 г.

<sup>19</sup> Накануне Великой Отечественной войны, в мае 1941 г., в системе ГАУ НКВД СССР был образован Центральный государственный литературный архив (с 1954 г. называется Центральный государственный архив литературы и искусства СССР). Фонды Гослитмузея 1933—1941-х гг. в настоящее время хранятся в составе его собрания.

Приносим благодарность Н. К. Квятковской за сведения, содержащиеся в примечаниях 6 и 9.

---

## *Николай Гумилев*

### ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

В узких вазах томленья умирающих лилий.  
Запад был медно-красный. Вечер был голубой.  
О Леконте де Лиле мы с тобой говорили,  
О холодном поэте мы грустили с тобой.

Мы не раз открывали шелковистые томы  
И читали спокойно и шептали: не тот!  
Но тогда нам сверкнули все слова, все истомы,  
Как кочевницы звезды, что восходят раз в год.

Так певучи и странны, в наших душах воскресли  
Рифмы древнего солнца, мир нежданно большой,  
И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в кресле  
Резкий профиль креола с лебединой душой.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

### ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕСТОВ (р. 1928)

Известный советский поэт и прозаик, автор более пятидесяти книг для детей и взрослых. Особое место в его работе занимает исследование творчества Пушкина.

### ЭМИЛЬ КАРЛЕБАХ (р. 1914)

Прогрессивный немецкий журналист, один из создателей антифашистской газеты «Франкфуртер рундшау». Вице-президент Международного комитета узников Бухенвальда. Неоднократно бывал в СССР, опубликовал книгу о поездках по Советскому Союзу. Живет в ФРГ.

### ЯН ЯНОВИЧ ПАЗАР (р. 1919)

В 1941 году окончил факультет языка и литературы Московского городского пединститута. Участник Великой Отечественной войны. Переводчик с латышского и английского языков. Работает в букинистическом отделе «Академкниги».

### ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ПАНОВ (р. 1909)

Член Союза писателей СССР с 1934 года. Автор романов «Други верные», «Весна и осень», «Река в лесу», «Горячие стены», ряда сборников о людях труда.

### ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ ЮНИВЕРГ (р. 1945)

Старший научный сотрудник НИО редких книг (Музей книги) Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Автор статей по истории книжного дела России конца XIX — начала XX века, опубликованных в научных и общественно-политических журналах.

### ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ (р. 1935)

Литератор. Автор статей и публикаций, связанных с поисками и находками редких книг русских и советских писателей.

### ИВАН ИВАНОВИЧ КАРАБУТЕНКО (р. 1948)

Кандидат филологических наук, доцент Литературного института им. Горького. Автор работ, посвященных творчеству Бодлера, Маларме, Тулуз-Лотрека, Сальвадора Дали, Марины Цветаевой.

### ДМИТРИЙ МИРОНОВИЧ МОЛДАВСКИЙ (1921—1987)

Известный советский критик, литературовед, фольклорист. Автор многих книг, среди которых такие, как «Товарищ смех», «Радуга — семь цветов», «Александр Прокофьев». Автор многих статей о русской советской литературе.

### АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КУЛАГИН (р. 1958)

Кандидат филологических наук, преподаватель Коломенского педагогического института. Автор статей о творчестве Пушкина.

### СЕРГЕЙ ЭМИЛЬЕВИЧ ТАСК (р. 1952)

Драматург, сценарист. Переводчик англо-американской и французской литературы.

### ЛОЛА УТКИРОВНА ЗВОНАРЁВА

Кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР. Автор сборника статей о творчестве русских, белорусских и узбекских писателей и книжных графиков «Твои создатели, книга». Статьи переводились на арабский, болгарский, немецкий и английский языки.

**СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛИЦЫН** (1909—1989)

Известный советский писатель, автор многих книг о человеке в его взаимосвязях с природой, таких как роман «Лёд и пламень», повести «Беркуты над степью», «Лесная быль» и др.

**ГАРОЛЬД ДАВИДОВИЧ ЗЛОЧЕВСКИЙ** (р. 1936)

Кандидат технических наук. Библиофил. Автор статей о памятниках культуры и архитектуры Москвы и редких книгах, посвященных столице.

**НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИЛЬИН** (1885—1961)

Бывший сотрудник Румянцевского музея (ныне Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина), библиотеки Троице-Сергиевой лавры, Литературного музея.

## SUMMARIES

### VALENTIN BERESTOV Poetry Begins with Kind Feelings

The interview with the popular Soviet poet and prose writer, author of over 50 books for children and adults contains his recollections of the early years of his creative career, his reflections on the specific features of children's literature and also the impressions of his encounters with Korney Chukovsky and other renowned Soviet men of letters. His reminiscences about the poet Anna Akhmatova merit special attention.

### DMITRI MOLDAVSKY "Viy" in the Context of 18th century Mythology

Tracing the origins of the name Gogol gave to one of his characters, the author of this essay discovers a close tie between the writer's poetics and the mythology of the 18th century.

### SERGEI GOLITSYN The Forest Sprite and His Old Woman From Reminiscences by a Moscow Oldtimer

The writer describes his meeting with Mikhail Prishvin, the well-known author and nature-lover, and his first wife Evfrosinia Pavlovna.

### LYDIA ANTIK My Father's Recollections

The story is about Vladimir Moritsevich Antik, the founder and owner of Polza Publishers in Moscow.

### YAN PAZAR Booklover Mavrushin

Yan Pazar, a bibliophile who has for many years worked in the second-hand book section of a large bookstore, tells, in a lively and entertaining manner, about the many booklovers he has known in person.

### VICTOR PANOV The Patriarchate Library and Some of the Others

The future destiny of this unique library possessing old manuscripts and rarities has, among numberless other state matters, always been within the range of Lenin's attention. He visited it twice after the government moved from Petrograd to Moscow. The names of many outstanding people who make the pride of Russian culture, are closely bound to this priceless collection.

### LEONID YUNIVERG A. S. Suvorin's Library

Although the contradictory figure of Suvorin, an established book connoisseur, publisher, journalist and playwright has been rather exhaustively presented in literature, this article sheds some new light on his bookpublishing and bookselling activity. The description of his famous library will, no doubt, leave any of the readers indifferent.

### VALENTIN LAVROV Keep Vigil over Your Sacred Love

A story of a rare collection of books about Moscow and the person who owns it.

**IVAN KARABUTENKO**  
**A Book That Is No More**  
**“Vindication Memoirs” of Jeanne de Valois**

This book was burnt two hundred years ago as a dangerous writing. Its appearance and, most probably, its disappearance as well, have a direct bearing on the «Necklace Case», the mystery around which has inspired many such famous writers as Johann Wolfgang von Goethe, Alexander Dumas, Nikolai Kuzmin, Francois René de Châteaubriand, Thomas Carlyle, the Goncourt Brothers and Stephan Zweig.

**SERGEI TASK**  
**Visiting Nabokov**

Rozhdestveno, Vyra, Batovo — these places in Russia are connected with the name of Nabokov. The story, written as a result of an expedition undertaken by the author, abounds in new detail about the famous writer's life and the destinies of the people that were close to him.

**EMIL KALERBACH**  
**Books Have a Life of Their Own**

The idea that books have their own destinies is fully confirmed by the history of a copy of Hegel's Philosophy of Nature that has gone through all the peripeties of Nazi rule in Germany. The cover bears the number — 4186 — written in hand; it belonged to the author of the present essay, a former prisoner in the Buchenwald Nazi concentration camp.

**HAROLD ZLOCHEVSKY**  
**The Moscow of Bygone Days**

The author presents a rare book encompassing a large historical period from the times of Peter the Great to the middle of the 19th century. The book is entitled **The Tales of My Granny: Reminiscences by the Family's Five Generations Taken Down and Compiled by Her Grandson D. Blagovo, St. Petersburg, 1885, Published by Suworin.**

**NIKOLAI ILYIN**  
**The Story of My Life**  
**Excerpts from What Has Been**

Reminiscences by one of the oldest workers of the Rumyantsev Museum (later the State Lenin Library), a man of exceptional erudition and endowed with a gift for observation, a keen memory and the talent of a story-teller.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Книга и жизнь

<i>Валентин Берестов. Поэзия начинается с добрых чувств. Беседу вела Клара Хромова . . . . .</i>	6
<i>Эмиль Карлебах. Книги имеют свою судьбу. Перевел с немецкого Ал. Яковлев . . . . .</i>	23

### Библиотеки и библиофилы

<i>Юрий Ерофеев. Дрессировщик книг . . . . .</i>	30
<i>Ян Пазар. Книжник Маврушин . . . . .</i>	33
<i>Виктор Панов. Патриаршая и другие . . . . .</i>	51
<i>Леонид Юниверг. Библиотека А. С. Суворина . . . . .</i>	91
<i>Валентин Лавров. «Храня священную любовь...» . . . . .</i>	103
<i>Лидия Антик. Вспоминая отца. Предисловие Л. Юниверга . . . .</i>	116

### Поиски и находки

<i>Иван Карабутенко. Книга, которой не существует. «Оправдательные мемуары» Жанны де Валуа . . . . .</i>	128
<i>Дмитрий Молдавский. «Вий» и мифология XVIII века . . . . .</i>	143
<i>Сергей Таск. В гостях у Набокова . . . . .</i>	155

### Пушкиниана

<i>Анатолий Кулагин. «Честь имею препроводить к Вам...» Книга из библиотеки А. С. Пушкина . . . . .</i>	172
---	-----

### Резцом и кистью

<i>Лола Звонарева. Слово обретает плоть. Заметки о творчестве Владимира Носкова с отступлениями — монологами самого иллюстратора . . . . .</i>	182
--	-----

### Дела минувшие

<i>Сергей Голицын. Берендей и Берендеевна . . . . .</i>	212
<i>Гарольд Злочевский. Москва давно прошедших дней . . . . .</i>	220

### Наши публикации

<i>Николай Ильин. Из воспоминаний библиотекаря. Публикация, предисловие и комментарии Сергея Шумихина . . . . .</i>	262
---	-----

**В поэтической рубрике***Николай Гумилев*

Оборванец . . . . .	28
Читатель книг . . . . .	180
Однажды вечером . . . . .	297
Коротко об авторах . . . . .	298
Резюме на английском языке . . . . .	300



## **АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА**

Выпуск двадцать седьмой

Редактор издательства С. Г. Егорова

Художественный редактор Н. Д. Карандашов

Технический редактор В. Л. Юняев

Корректор В. А. Коротаяева

**НК**

Сдано в набор 26.09.89. Подписано в печать 18.06.90. А 09988. Формат 60×90/16.  
Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0+1,0  
Усл. кр.-отт. 42,5. Уч.-изд. л. 20,11 + 0,97. Тираж 25 000 экз. Изд. № 4867.  
Зак. № 559. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150014, Ярославль,  
ул. Свободы, 97.